

ЮРИИ
СЯКОВЛЕВ

ГДЕ
НАЧИНАЕТСЯ
НЕБО



ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ

ГДЕ
НАЧИНАЕТСЯ
НЕБО



ИЗБРАННОЕ

МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1982

Художник Б. КЫШТЫМОВ

НЕМНОГО О СЕБЕ

Каждый день моего детства был связан с мамой. Озабоченная и радостная, спокойная и печальная, она всегда была рядом. Она вела нас с сестрой через трудную жизнь, создавая на нашем пути теплое, незамерзающее течение. В последний раз я видел маму на запасных путях Московского вокзала, у воинского эшелона. Я был подстрижен под машинку, но форму еще не получил. Это было в ноябре 1940 года, за полгода до начала войны. Мне было тогда восемнадцать лет.

Мама погибла во время блокады Ленинграда летом 1942 года. Я был далеко от Ленинграда. Моя младшая сестра осталась одна.

Есть люди, которые удивительно скрупулезно помнят свою жизнь. Их память высвечивает в далеком детстве стройную цепь существенных и несущественных событий. Не берусь соперничать с ними. Мое детство хранится в моих рассказах. Оно звучит в них, как эхо. То громче, то слабее. Многие свои незабытые переживания я передал и продолжаю передавать героям своих рассказов.

Очень хорошо помню запах свежего кумача. Стою на сцене вместе с другими ребятами и, запинаясь от волнения, произношу слова торжественного обещания: «Я — юный пионер Советского Союза...» Потом мне повязывают красный галстук, и я вдыхаю в себя неповторимый, радостный запах кумача. Тогда еще не было шелковых пионерских галстуков...

Я 4803010102—290 544 -82
М101(03)82

© Состав. Оформление.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1982 г.

Помню морозный декабрьский день, когда весь Ленинград вышел на улицы и замер в скорбном молчании. Самый любимый ленинградцами человек — Сергей Миронович Киров — погиб от руки врага... Еще помню приезд в Ленинград испанских детей — маленьких республиканцев. Мы встречали их в порту. Они спускались по трапу, держа у правого плеча сжатый кулак. И мы тоже сжимали кулаки и подносили их к плечу: «Рот фронт! Но пассаран!». Некоторых детей сносили с корабля на носилках: они были ранены.

Так надвигалась война. Сквозь время и сквозь страны она грозно и неумолимо приближалась к нашей земле, к нашей жизни. Моя юность связана с войной, с армией. Шесть лет я был рядовым солдатом.

Война была одна, но у каждого человека — своя военная дорога. Не все дороги прошли через всю войну... Многие обрывались задолго до Дня Победы. Я был зенитчиком, и наша шестая батарея стояла под Москвой, у деревни Фуники. Враг был еще далеко от Москвы, а мы уже вели бой. Каждый день были налеты вражеской авиации. Рвались бомбы. Свистели осколки. Мы были на местах. Мы вели огонь. Когда сам стреляешь, не так страшно. Наша батарея стояла перед противотанковым рвом, и наши пушки были без колес: у нас не было возможности отступить и не было мысли об отступлении. С каждым днем фронт приближался. В самый критический момент немцы были от нас в нескольких километрах. И между нами и гитлеровцами не было ни одного пехотинца. В эти дни я подал заявление в партию.

Мы знали, что из-за леса вот-вот выползут немецкие танки. На брустверах наших оружейных дворики лежали ящики с бронебойными снарядами. Неожиданно через наши головы ударили «катюши». Началось наступление наших войск.

И еще я писал стихи. Первое стихотворение я написал еще в школе. На смерть Пушкина.

Война превратила мои детские упражнения в страсть. Я почувствовал, как велика сила поэзии, когда она вплотную соприкасается с жизнью.

Писал стихи, когда удавалось и где удавалось. Чаще ночью, при свете коптилки, сделанной из снарядной гильзы. Иногда пристраивался рядом с сапожником в его кро-

хотной землянке. Всю войну был активным военкором газеты «Тревога». В газете часто печатались мои стихи, очерки и материалы о боевом опыте зенитчиков. Помню, как-то после войны в одной статье в «Правде» были приведены стихи неизвестного солдатского поэта:

Пройдут года, и вот однажды вечером
Вдруг спросит дочка, перестав играть:
«А верно, мама, ты была ефрейтором,
И не боялась из ружья стрелять?»

Ты дочку приласкаешь и пригреешь.
Посадишь на колени и тогда
Расскажешь ей про нашу батарею,
Про всех про нас, про трудные года...

Расскажешь ей, как мерзла на разведке,
Как исправляла линию в метель.
Покажешь ей со звездочкой беретку
И старую, потертую шинель.

А дочка тихой и серьезной станет,
Потертую пилотку теребя.
И вдруг пилотку на себя натянет,
Чтоб быть хоть чуть похожей на тебя.

Это были мои стихи. Они были напечатаны в нашей фронтовой «Тревоге». Война вывела меня на ближние подступы к литературе.

Есть события, которые время делает более значимыми и зримыми, поворачивает новыми неожиданными гранями. Такова война для тех, кто пережил ее. Может быть, потому о войне я и начал писать через много лет после того дня, когда отгремел салют Победы.

В Литературный институт имени Горького я пришел еще в солдатской шинели. Через несколько лет в «Знамени» появились циклы моих армейских стихов, тепло напутствуемых Николаем Семеновичем Тихоновым. Тогда же началось мое знакомство с Михаилом Аркадьевичем Светловым. Несколько лет он был моим добровольным наставником. Моим мастером в детской поэзии была Агния Львовна Барто. Она же выступала моим оппонентом, когда я защищал диплом в институте. Институт окончил

в 1952 году, уже будучи автором нескольких книг, членом Союза писателей. Старая шинелька, которую я еще долго носил после армии, сносилась. Военная жизнь осталась позади. Началась новая жизнь.

Моя первая книга называлась «Наш адрес». Она вышла в 1949 году в Детгизе — в издательстве, которое стало для меня родным домом и сыграло немалую роль в моей жизни. «Наш адрес» — была детской книгой:

Наш адрес необычный:
Живем мы за рекой,
У площади Черничной,
В просезде Земляничном.
На улице Грибной

Моя вторая книга называлась «В нашем полку». В ней были собраны взрослые стихи — стихи об армии, о вчерашней войне. С первых своих шагов в литературе я писал для взрослых и для детей, о детстве и о войне — о том, что сам пережил и что знал. И с тех пор остаюсь верен этим горизонтам жизни.

В детстве я не отличался трудолюбием. Трудолюбивым меня сделала поэзия, позднее — проза. Для меня литература была и остается не только работой, но и страстью, которая взяла верх над всем остальным.

Как я жил? Сотрудничал в газетах и журналах и ездил по стране. Был на строительстве Волго-Донского канала и Сталинградской ГЭС, в колхозах Винницкой области и у нефтяников Баку, участвовал в учениях Прикарпатского военного округа и шел на торпедном катере по пути дерзкого десанта Цезаря Куникова; стоял ночную смену в цехах Уралмаша и пробирался плавнями Дуная с рыбаками, возвращался к руинам Брестской крепости и изучал жизнь учителей Рязанской области, встречал в море флотилию «Слава» и бывал на погранзаставах Белоруссии. И встречался с ребятами в школах, библиотеках, детских домах — во всех уголках страны. И всегда стремился не «собирать материал», а пожить жизнью своих героев.

В 1960 году в «Огоньке» появился мой первый рассказ «Станция Мальчики». Это был переходный момент в моей творческой жизни. Я стал прозаиком.

Нет, я не изменил поэзии. Поэтические образы переко-

чевали из стихов в рассказы, а ритмы стихов сменили ритмы прозы. Не мыслю себе рассказа без внутреннего ритма, без строгого построения, без поэтической атмосферы.

Кто был тем стрелочником, который вдруг перевел в моей жизни стрелку с пути поэзии на путь прозы? Может быть, мой замечательный сосед («по лестнице» Рувим Исаевич Фраерман и его поразительная «Дикая собака динго»?.. Или просто пришло время: «Года к презренной прозе клонят...» Рассказы я пытался писать и раньше и даже выпустил две тоненькие книжки («Пост номер один» и «Созвездие паровозов»), но по собственному суровому счету все началось со «Станции Мальчики». Вслед за этим рассказом появился рассказ «Мальчик с коньками», ставший верным спутником многих моих книг.

В жизни писателя всегда большую роль играет поддержка журнала, газеты, издательства. Сознание того, что кто-то ждет твои произведения, радуется твоим удачам, хочет помочь тебе встретиться с читателями, имеет большое значение. В моей новой «прозаической» судьбе такую роль сыграл «Огонек», а затем «Известия».

Я всегда любил животных: собак, лошадей, коров. И кошек. И зверей, которые сидят в клетке, но которых так мучительно хочется погладить и почесать за ушком. В последнее время у меня появилось немало (но и немного!) рассказов, связанных с животными. А все началось с того, что в доме сперва появилась одна собака: Динго — Доня, Донюшка. Потом — тринадцать щенков. Потом из тринадцати с нами осталась Эгри — Люля, Люлечка. Эти две собаки как бы открыли мне путь ко всем зверям. Потом был Зной. А теперь рядом со мной огромный и прекрасный Гвидон. Я глубже и сильнее стал любить мир живых существ. В моей жизни собака — новый, с ее помощью открытый, горизонт жизни. Новая запевшая струна. Новые переживания, страдания и радости. Я убежден, что тот, кто любит собак или других животных, как правило, больше любит людей.

Есть писатели, которые стесняются называться «детскими». Я — детский писатель и горжусь этим званием. Я люблю своих маленьких героев и своих маленьких читателей. Мне кажется, что между ними нет границ и я как бы одним рассказываю о других. В детях я всегда стараюсь разглядеть завтрашнего взрослого человека. Но и взрослый

человек для меня начинается с детства. Я не очень-то люблю таких людей, которых невозможно представить себе детьми. Мне кажется, что в настоящем человеке до последних его дней сохраняется драгоценный запас детства. Самое чистое и самое самообытное в человеке связано с детством. А мудрость, ум, глубина чувств, верность долгу и многие другие замечательные качества взрослого человека никогда не вступают в противоречие с его неприкосновенным запасом детства.

Я уверен, что так же думал и Лев Кассиль.

Дом Льва Абрамовича Кассиля был для меня и для моих друзей-писателей своего рода университетом, а хозяин дома — нашим учителем, наставником, вдохновителем. У Кассиля мы учились не только писать, мы учились писательскому отношению к жизни. Некоторые считают, что писатель должен изучать жизнь. Это неверно. Не изучать, а жить. Жить, не отстраняясь от людских забот, тревог, трудностей. Быть не зрителем, а активным участником. Кассиль был для меня больше, чем учитель, и больше, чем друг...

В 1972 году мне исполнилось пятьдесят лет. Меня наградили орденом Трудового Красного Знамени.

Но жизнь писателя измеряется не годами, а книгами.

И вот на моем столе лежит основательный томик в красном тесненном переплете «Золотой библиотеки» — «Багульник». Сюда вошло все лучшее, что я написал к этому времени. «Багульник» — не только итог моей работы, но и символ моего представления о людях, моих открытий: сухие, невидные прутьки багульника могут неожиданно расцвести нежными цветами. Мои герои — мои бесценные прутьки багульника!

Всю жизнь я занимаюсь поиском героев. И они помогают мне своими удивительными судьбами.

Старые артисты Мгебров и Чекан рассказали мне о своем сыне Коте — о маленьком ленинградском Гавроше и помогли мне воссоздать картину героического времени. Так появились повесть и фильм «Был настоящим трубачом».

Аркадия Обранта я не застал в живых, но его воспитанники помогли мне воскресить удивительную военную историю, когда юные танцоры ленинградского Дворца пионеров из блокадного города приехали со своим учите-

лем на фронт и дали там три тысячи концертов. Так родилась повесть «Балерина полтитотдела» и фильм «Мы смерти смотрели в лицо». Жизнь замечательной героини войны Клавдии Ильиничны Шаликовой легла в основу повести «Девушка из Бреста» и фильма — «Колыбельная для мужчин». Юные участники обороны Брестской крепости, ныне взрослые люди, помогли мне написать повесть и сценарий фильма «Дочь командира». Подвиг ленинградского школьника, комсорга класса, Гены Кегелиса воплотился в повесть «Трудная коррида»... Этот перечень можно продолжить.

Когда была война, то казалось, что испуганные взрывающимися птицами улетели на другую планету и никогда не вернутся. Но нет, не улетели птицы на другую планету, не увяла трава, не пересохли реки. И кроме тишины после выстрела, когда человек прислушивается к своей боли, есть ласковая тишина леса, когда слышишь свое сердце. Но почему голос зарянки напоминает мне сверлящий свист пули, а треснувшая сухая ветка настораживает, как поступь врага?

Нет на свете ничего страшнее забвения. Забвение — ржавчина памяти, она разъедает самое дорогое.

Я не могу не писать о войне, хотя от минувших грозных лет меня отделяет все больший и больший пласт времени. Я как бы остаюсь в строю. И когда на проверке звучит мое имя, отзываются мои военные книги: «Где стояла батарея», «Реликвия», «Позавчера была война», «Колыбельная для мужчин», «Жить нам суждено»...

И все-таки самое интересное, самое важное время для писателя — сегодняшний день, со всеми его проблемами, тревогами и радостями. И появляются короткие повести о сегодняшних ребятах и юношах — о тревожном, трудном возрасте, когда решается участь будущего человека («Девочка, хочешь сниматься в кино?», «Травести», «Автопортрет», «Трудная коррида», «Дочь преферансиста», «Иван-виллис»...).

Я много езжу по свету. Но результатом этих поездок пока явились лишь два рассказа: «Учитель истории» (Югославия) и «Воспоминания о корове» (Америка). Мне не очень-то пишется на чужой земле. Единственно, что настоящему чувствую в зарубежных поездках — острую любовь к Родине и мучительную тоску по ней.

Большое место в моей жизни занимает работа в кине-

матографе. У меня за спиной несколько полнометражных художественных фильмов: «Пушик едет в Прагу», «Первая Бастилия», «Всадник над городом», «Мы с Вулканом», «Красавица». С большим увлечением я работаю на студии мультипликационных фильмов. «Белая шкурка», «Умка», «Бабушкин зонтик», мне думается, — самые удачные из мультфильмов, снятых по моим сценариям.

Есть вещи, которые на первый взгляд не кажутся в одном ряду. Любовь к родной природе, к земле, ко всему живому, что пробивает себе путь к жизни, — эта любовь кажется очень далекой от войны, от подвигов, от смерти. Но добро должно быть сильным, мужественным, оно должно быть под надежной защитой — только тогда оно победит и восторжествует. Вот почему мои рассказы о войне, и рассказы о детях, и рассказы о четвероногих друзьях стоят в одном ряду, дополняют друг друга и служат одному делу.

Когда я смотрю на большую могучую реку, меня всегда интересует робкий, едва заметный ручеек, который дает ей начало. И я пришел к простой истине, что любовь к Родине начинается с любви к матери. А человек начинается с его отношения к матери. И все лучшее, что в человеке, достается ему от матери.

Юрий Яковлев

БАГУЛЬНИК ● РЫЦАРЬ ВАСЯ ● ГДЕ
НАЧИНАЕТСЯ НЕБО ● ДРУГ КАПИТАНА
ГАСТЕЛЛО ● ЧАСОВОЙ ПЕТРОВ ● ГДЕ
СТОЯЛА БАТАРЕЯ ● ОН УБИЛ МОЮ СОБА-
КУ ● СОБИРАЮЩИЙ ОБЛАКА ● А ВО-
РОБЬЕВ СТЕКЛО НЕ ВЫБИВАЛ ● СКРИП-
КА ● УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ ● ДЕВОЧКИ
С ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА ● БАМБУС ●
ЗАБОР С ГОЛУБЫМ ГЛАЗОМ ● САЛЮТ ●
РЕЛИКВИЯ ● СЫНОВЬЯ ПЕШЕХОДОВА ●
РАЗБУЖЕННЫЙ СОЛОВЬЯМИ ● ПИСЬМО
МАРИНЕ ● ВРАТАРЬ ● ПОСЛЕДНИЙ
ФЕЙЕРВЕРК ● ЦВЕТОК ХЛЕБА ● СА-
ПЕР ● БАВАКЛАВА ● ВСАДНИК, СКАЧУ-
ЩИЙ НАД ГОРОДОМ ● УМКА ● Я ИДУ
ЗА НОСОРОГОМ ● МОЙ ЗНАКОМЫЙ БЕГЕ-
МОТ ● СЕМЕН ПОЛОСАТЫЙ ● ПРОДАЕТ-
СЯ СТАРАЯ ЛОШАДЬ ● В ГОСТЯХ У СО-
БАКИ



и вызывающе зевал на уроках: зажимивал глаза, отвратительно морщил нос и открывал пасть — другого слова тут не подберешь! При этом он подвывал, что вообще не лезло ни в какие ворота. Потом энергично тряс головой — разгонял сон — и уставлялся на доску. А через несколько минут снова зевал.

— Почему ты зеваешь?! — раздраженно спрашивала Женечка.

Она была уверена, что он зевает от скуки. Расспрашивать его было бесполезно: он был молчалиником. Зевал же потому, что всегда хотел спать.

Он принес в класс пучок тонких прутьев и поставил их в банку с водой. И все посмеивались над прутьями, и кто-то даже пытался подмести ими пол, как веником. Он отнял и снова поставил в воду. Он каждый день менял воду.

И Женечка посмеивалась.

Но однажды веник зацвел. Прутики покрылись маленькими светло-лиловыми цветами, похожими на фиалки. Из набухших почек-узелков прорезались листья, светло-зеленые, ложечкой. А за окном еще поблескивали кристаллики уходящего последнего снега.

Все толпились у окна. Разглядывали. Старались уловить тонкий сладковатый аромат. И шумно дышали. И спрашивали, что за растение, почему оно цветет.

— Багульник! — буркнул он и пошел прочь.

Люди недоверчиво относятся к молчаливкам. Никто не знает, что у них, молчаливков, на уме: плохое или хорошее. На всякий случай думают, что плохое. Учителя тоже не любят молчаливков, потому что хотя они и тихо сидят на уроке, зато у доски каждое слово приходится вытягивать из них клещами.

Когда багульник зацвел, все забыли, что Коста молчаливик. Подумали, что он волшебник.

И Женечка стала присматриваться к нему с нескрываемым любопытством.

Женечкой за глаза звали Евгению Ивановну. Маленькая, худая, слегка косящая, волосы — конским хвостиком, воротник — хомутиком, каблуки с подковками. На улице ее никто не принял бы за учительницу. Вот побежала через дорогу. Застучали подковки. Хвостик развеивается на ветру. Остановись, лошадка! Не слышит, бежит... И долго еще не затихает стук подковок...

Женечка обратила внимание, что каждый раз, когда раздавался звонок с последнего урока, Коста вскакивал с места и сломя голову выбегал из класса. С грохотом скатывался с лестницы, хватал пальто и, на ходу попадая в рукава, скрывался за дверью. Куда он мчался?

Его видели на улице с собакой, огненно-рыжей. Очесы длинной шелковистой шерсти колыхались языками пламени. Но через некоторое время его встречали с другой собакой — под короткой шерстью тигрового окраса перекаты-

вались мускулы бойца. А позднее он вел на поводке черную головешку на маленьких кривых ногах. Головешка не вся обуглилась — над глазами и на груди теплились коричневые подпалины.

Чего только не говорили про Косту ребята!

— У него ирландский сеттер, — утверждали они. — Он охотится на уток.

— Ерунда! У него самый настоящий боксер. С такими ходят на диких быков. Мертвая хватка! — говорили другие.

Третьи смеялись:

— Не можете отличить таксы от боксера!

Были еще такие, которые спорили со всеми:

— Он держит трех собак!

На самом деле у него не было ни одной собаки.

А сеттер? А боксер? А такса?

Ирландский сеттер горел костром. Боксер, как перед боем, играл мышцами. Такса чернела обгоревшей головешкой.

Что это были за собаки и какое отношение они имели к Косте, не знали даже его родители. В доме собак не было и не предвиделось. Когда родители возвращались с работы, они заставляли сына за столом: он поскрипывал перышком или бормотал под нос глаголы. Так он сидел запоздно. При чем здесь сеттеры, боксеры, таксы?

Коста же появлялся дома за пятнадцать минут до прихода родителей и едва успевал отчистить штаны от собачьей шерсти.

Впрочем, кроме трех собак, была еще и четвертая. Огромная, головастая, из тех, что спасают людей, застигнутых в горах снежными лавинами. Из-под длинной свалывшейся шерсти проступали худые, острые лопатки, большие впалые глаза смотрели печально, тяжелые львиные лапы — ударом такой лапы можно сбить любую собаку — ступали медленно, устало.

С этой собакой Косту никто не видел.

Звонок с последнего урока — сигнальная ракета. Она звала Косту в его загадочную жизнь, о которой никто не имел представления. И как зорко ни следила за ним Женечка, стоило ей на мгновение отвести глаза, как Коста исчезал, выскальзывал из рук, улетучивался.

Однажды Женечка не выдержала и бросилась вдогонку. Она вылетела из класса, застучала подковками по лестничным ступеням и увидела его в тот момент, когда он неся к выходу. Она выскользнула в дверь и устремилась за ним на улицу. Прячась за спины прохожих, она бежала, стараясь не стучать подковками, а конский хвост развевался на ветру. Она превратилась в следопыта.

Коста добежал до своего дома — он жил в зеленом облупившемся доме, — исчез в подъезде и минут через пять появился снова. За это время он успел бросить портфель, не раздеваясь проглотить холодный обед, набить карманы хлебом и остатками обеда.

Женечка поджидала его за выступом зеленого дома. Он пронесся мимо нее. Она поспешила за ним. И прохожим не приходило в голову, что бегущая, слегка косящая девушка не Женечка, а Евгения Ивановна.

Коста нырнул в кривой переулочек и скрылся в парадном. Он позвонил в дверь. И сразу послышалось какое-то странное подвывание и царапанье сильной когтистой лапы. Потом завывание перешло в нетерпеливый лай, а царапанье — в барабанную дробь.

— Тише, Артюша, подожди! — крикнул Коста.

Дверь отворилась, и огненно-рыжий пес бросился на Косту, положил передние лапы на плечи мальчику и стал лизать длинным розовым языком нос, глаза, подбородок.

— Артюша, перестань!

Куда там! На лестнице послышался лай и грохот, и оба — мальчик и собака — с невероятной скоростью устремились вниз. Они чуть не сбили с ног Женечку, которая едва успела прижаться к перилам. Ни тот, ни другой не

обратили на нее внимания. Артюша кружился по двору. Припадал на передние лапы, а задние подбрасывал, как козленок, словно хотел сбить пламя. При этом лаял, подскакивал и все норовил лизнуть Косту в щеку или в нос. Так они бегали, догоняя друг друга. А потом нехотя шли домой.

Их встречал худой человек с костылем. Собака терлась о его единственную ногу. Длинные мягкие уши сеттера напоминали уши зимней шапки, только не было завязочек.

— Вот, погуляли. До завтра, — сказал Коста.

— Спасибо. До завтра.

Артюша скрылся, и на лестнице стало темнее, словно погасили костер. Теперь пришлось бежать три квартала. До двухэтажного дома с балконом, который находился в глубине двора. На балконе стоял пес боксер. Скуластый, с коротким, обрубленным хвостом, он стоял на задних лапах, а передние положил на перила.

Боксер не сводил глаз с ворот. И когда появился Коста, глаза собаки загорелись темной радостью.

— Атилла! — крикнул Коста, вбегая во двор.

Боксер тихо взвизгнул. От счастья.

Коста подбежал к сараю, взял лестницу и потащил ее к балкону. Лестница была тяжелой. Мальчику стоило больших трудов поднять ее. И Женечка еле сдержалась, чтобы не кинуться ему на помощь. Когда Коста наконец приставил лестницу к перилам балкона, боксер спустился по ней на землю. Он стал тереться о штаны мальчика. При этом поджимал лапу. У него болела лапа.

Коста достал припасы, завернутые в газету. Боксер был голоден. Он ел жадно, но при этом поглядывал на Косту, и в его глазах накопилось столько невысказанных чувств, что казалось, он сейчас заговорит.

Когда собачий обед кончился, Коста похлопал пса по спине, прицепил к ошейнику поводок, и они отправились на прогулку. Отвисшие углы большого черного губа рта

собаки вздрагивали от пружинистых шагов. Иногда боксер поджимал больную лапу.

Женечка слышала, как дворничиха им вслед сказала:

— Выставили собаку на балкон и уехали. А она хоть помирай с голоду! Люди ведь!..

Когда Коста уходил, боксер провожал его глазами, полными преданности. Его морда была в темных морщинах, лоб пересекала глубокая складка. Он молча шевелил обрубком хвоста.

Женечке вдруг захотелось остаться с этой собакой. Но Коста спешил дальше.

В соседнем доме на первом этаже болел парнишка — был прикован к постели. Это у него была такса — черная головешка на четырех ножках. Женечка стояла под окнами и слышала разговор Косты и больного мальчика.

— Она тебя ждет, — говорил больной.

— Ты болей, не волнуйся, — слышался голос Косты.

— Я болею... не волнуюсь, — отвечал больной. — Может быть, я отдам тебе велосипед, если не смогу кататься.

— Мне не надо велосипеда.

— Мать хочет продать Лаптя. Ей утром некогда с ним гулять.

— Приду утром, — после некоторого раздумья отвечал Коста. — Только очень рано, до школы.

— Тебе не попадет дома?

— Ничего... тяну... на тройки... Только спать хочется, поздно уроки делаю.

— Если я выкарабкаюсь, мы вместе погуляем.

— Выкарабкивайся.

— Ты куришь? — спрашивал больной.

— Некурящий, — отвечал Коста.

— И я некурящий.

— Ну, мы пошли... Ты болей... не волнуйся. Пошли. Лапоть!

Таксу звали Лаптем. Коста вышел, держа собаку под

мышкой. И вскоре они уже шагали по тротуару. Рядом с сапогами, ботинками, туфлями на кривых ножках семенил черный Лапоть.

Женечка шла за таксой. И ей казалось, что это пламенно-рыжая собака обгорела и превратилась в такую головешку. Ей захотелось заговорить с Костой. Расспросить его о собаках, которых он кормил, выгуливал, поддерживал в них веру в человека. Но она молча шла по следам своего ученика, который отвратительно зевал на уроках и слыл молчалиником. Теперь он менялся в ее глазах, как веточка багульника.

Но вот Лапоть отгулял и вернулся домой. Коста двинулся дальше, и его невидимая спутница — Женечка — снова пряталась за спины прохожих. Дома уменьшились ростом. А спин стало совсем мало. Город кончался. Начались дюны. Женечке трудно было идти на каблуках по вязкому песку и корявым корням сосен. В конце концов она сломала каблук.

И тут показалось море.

Оно было мелким и плоским. Волны не обрушивались на низкий берег, а тихо и неторопливо наплзали на песок и так же медленно и беззвучно откатывались, оставляя на песке белую каемку пены. Море выглядело сонным и вялым, не способным к бурям и штормам.

Но бури на нем бывали. Далеко от дюн, за линией горизонта.

Коста шел по берегу, наклоняясь вперед — против ветра. Женечка сняла туфли, босиком было идти легче, но холодный влажный песок обжигал ступни. На берегу сохли развешанные на кольях сети с круглыми поплавками из бутылочного стекла, лежали лодки, перевернутые вверх килем.

Неожиданно вдалеке, на самой кромке берега, возникла собака. Она стояла неподвижно, в странном оцепенении. Большеголовая, с острыми лопатками, с опущенным хвостом.

том. Ее взгляд был устремлен в море. Она ждала кого-то с моря.

Коста подошел к собаке, но она даже не повернула головы, словно не слышала его шагов. Он провел рукой по свалывшейся шерсти. Собака едва заметно шевельнула хвостом. Мальчик присел на корточки и разложил перед собакой хлеб и остатки своего обеда, завернутого в газету. Собака не оживилась, не выказала никакого интереса к пище. Коста стал ее поглаживать и уговаривать:

— Ну поешь... Ну поешь немного...

Собака посмотрела на него большими впалыми глазами и снова обратила взгляд к морю.

Женечка притаилась за развешанными сетями, словно попалась, запуталась в них и не могла вырваться, чтобы тоже гладить собаку и говорить:

«Ну поешь... Ну поешь хоть немного!»

Коста взял кусок хлеба и поднес ко рту собаки. Та вздохнула глубоко и громко, как человек, и принялась медленно жевать хлеб. Она ела без всякого интереса, как будто была сыта или привыкла к лучшей пище, чем хлеб, холодная каша и кусок жилистого мяса из супа... Она ела для того, чтобы не умереть. Ей нужно было жить. Она ждала кого-то с моря.

Когда все было съедено, Коста сказал:

— Идем. Погуляем.

Собака снова посмотрела на мальчика и послушно зашагала рядом. У нее были тяжелые лапы и неторопливая, полная достоинства львиная походка. Следы заполнялись водой. В море переливались нефтяные разводы. Будто где-то за горизонтом произошла катастрофа, рухнула радуга и ее обломки прибило к берегу.

Мальчик и собака шли не спеша, а Женечка — следопыт Женечка — слышала, как Коста говорил собаке:

— Ты хороший... Ты верный... Пойдем со мной. Он никогда не вернется. Он погиб. Честное пионерское.

Собака молчала. Она и не должна была говорить. Она не отрывала глаз от моря. И в который раз не верила Косте. Ждала.

— Что же мне с тобой делать? — спросил мальчик. — Нельзя же жить одной на берегу моря. Когда-нибудь надо уйти.

Рыбачья сеть кончилась. И Женечка как бы выпуталась из сетей. Коста оглянулся и увидел учительницу. Она стояла на песке босая, а туфли держала под мышкой. И сквозняк, тянувший с моря, развеивал ее волосы, собранные в конский хвост.

— Что же с ней делать? — растерянно спросила она Косту.

— Она не пойдет. Я знаю, — сказал мальчик. Он почему-то не удивился появлению учительницы. — Она никогда не поверит, что хозяин погиб...

Женечка подошла к собаке. Собака глухо зарычала, но не залаяла, не бросилась на нее.

— Я ей сделал дом из старой лодки. Подкармливаю. Она очень тощая... Сперва укусила меня.

— Укусила?

— Руку. Теперь все зажило. Я йодом смазывал.

Пройдя еще несколько шагов, он сказал:

— Собаки всегда ждут. Даже погибших... Им надо помогать.

Море потускнело и стало как бы меньше размером. Потускневшее небо плотнее прижалось к сонным волнам. Коста и Женечка проводили собаку до ее бессменного поста, где неподалеку от воды лежала перевернутая лодка, подпертая чурбаком, чтобы под нее можно было забраться. Собака подошла к воде. Села на песок. И снова застыла в своем вечном ожидании...

Обратно учительница и ученик шли быстро, но, когда берег кончился, за дюнами Женечка остановилась и сказала:

— Я не могу так быстро. У меня каблук сломался.

— Мне надо бы поспеть до их прихода,— отозвался Коста.

— Тогда иди.

Коста внимательно посмотрел на Женечку и спросил:

— А как же вы?

— Я дойду не спеша.

— Может быть, вбить гвоздь? У вас есть гвоздь?

— Не знаю.— Женечка протянула ему туфлю.

Он покрутил каблук, как зуб, который шатается. И постучал камнем.

— Вот.

— Теперь лучше,— сказала Женечка, надевая туфлю.

Но шла она прихрамывая, наступая на носок, чтобы каблук держался.

На другой день в конце последнего урока Коста уснул. Он зевал, зевал, но потом уронил голову на согнутый локоть и уснул. Сперва никто не замечал, что он спит. Потом кто-то захихикал. И Женечка увидела, что он спит.

— Тихо,— сказала она.— Совсем тихо!

Когда она хотела, все было как полагается. Тихо так тихо.

— Вы знаете, почему он уснул? — шепотом произнесла Евгения Ивановна.— Я вам расскажу... Он гуляет с чужими собаками. Кормит их. Собаки всегда ждут. Даже погибших... Им надо помогать.

Зазвенел звонок с последнего урока. Он звенел громко и протяжно. Но Коста не слышал звонка. Он спал.

Евгения Ивановна — Женечка — склонилась над спящим мальчиком, положила руку ему на плечо и легонько потрясла. Он вздрогнул и открыл глаза.

— Звонок с последнего урока,— сказала Женечка,— тебе пора.

Коста вскочил. Схватил портфель. И в следующее мгновение скрылся за дверью.

Приятелями называли его тьюфом. За его медлительность, неповоротливость и неловкость. Если в классе писали контрольную работу, то ему всегда не хватало времени — он раскачивался только к концу урока. Если он пил чай, то на столе вокруг его блюдца образовывалась большая чайная лужа. Он ходил вразвалку и обязательно задевал за край стола или сбивал стул. И новые ботинки за неделю стаптывал так, словно вместе с Суворовым совершал в них переход через Альпы. Вид у него был сонный, будто он только что проснулся или собирался уснуть. У него все валилось из рук, все не ладилось. Одним словом, тьюфак.

Куртка в обтяжку, штаны плотно облегали ноги. На толстом лице выделялись три бугорка: два — над глазами, у начала бровей, а третий — между носом и верхней губой. Когда он напрягался или приходил с мороза, эти бугорки краснели в первую очередь.

Все считали, что причина его полноты — обжорство: с чего еще он такой толстый? Но на самом деле ел он мало. Не любил есть. Терпеть не мог это занятие.

То, что он тюфяк, было написано у него на лице, угадывалось в его медленных, вялых движениях, звучало в глуховатом голосе. Никто не догадывался, что скрывается под этой некрасивой толстой оболочкой.

А в его груди билось благородное сердце рыцаря. В заветных мечтах он видел себя закованным в блестящие стальные доспехи, в шлеме с опущенным забралом, на белом коне с раздувающимися ноздрями. В таком виде он мчался по свету и совершал множество подвигов, защищая слабых и обиженных. Он был безмянным рыцарем. Потому что у рыцарей обычно были звучные иностранные имена — Ричард, или Родриго, или Айвенго. Его же звали просто Вася, и это имя не подходило для рыцаря.

В мечтах из толстого и косолапого он превращался в стройного и гибкого, а в движениях появлялись ловкость и сноровка. Все его недостатки мгновенно пропадали под блистательными доспехами.

Но стоило ему подойти к зеркалу, как все возвращалось на место. И перед ним вместо прекрасного рыцаря снова возникал мешковатый мальчик с круглым толстым лицом, на котором краснели три бугорка.

В эти минуты он ненавидел себя за неподходящую для рыцаря внешность.

Кроме насмешливого зеркала, к действительности его возвращала мама. Услышав из кухни его шаги, от которых жалобно звенели стаканы, мама кричала:

— Осторожно! Слон в фарфоровой лавке!

Разве так обращаются с благородным рыцарем?

Он пробовал было поделиться мечтами с приятелем, но не встретил у него поддержки.

Услышав о доспехах, приятель покривился и сказал:

— На такого толстого никакие доспехи не налезут.

Друг и не подозревал, что ранил Васю в самое сердце.

В свободное время он бегал в музей. Здесь в просторных залах висели большие картины в тяжелых золотых рамах, а по углам стояли статуи из пожелтевшего мрамора. Он хладнокровно проходил мимо полотен великих мастеров, словно это были примелькавшиеся плакаты, и направлялся к заветному залу. В этом зале не было никаких картин. Здесь на стенах висели мечи и копья, а на полу стояли рыцари, закованные в латы.

Тайком от дежурной старушки он трогал холодную сталь доспехов и пробовал на палец, хорошо ли заточены мечи. Он медленно переходил от черного рыцаря к золотому, от золотого — к серебряному. К одним рыцарям он относился по-дружески, к другим — со сдержанным холодком. Он кивал им головой и мысленно справлялся, как прошел очередной турнир. Ему казалось, что рыцари следят за ним сквозь смотровые щели опущенных забрал и никто из них не смеется и не называет его тюфяком.

Почему природа вложила гордое сердце Дон Кихота в толстую, неуклюжую оболочку Санчо Пансы?

Он мечтал о подвигах, а жизнь его проходила однообразно и буднично. Каждое утро он нехотя свешивал ноги с постели и, подгоняемый маминым окриком: «Поторапливайся, а то опоздаешь!» — натягивал на себя штаны и рубаху. Потом он плелся к умывальнику, мочил нос — «И это называется вымылся?!» — и нехотя садился к столу. Поковыряв ложкой кашу — «Не усни над тарелкой!», — он вставал и шел в школу. Он с грохотом скатывался с одной ступеньки на другую, и во всех квартирах знали, кто спускается по лестнице. В классе он появлялся после второго звонка. Бросал тяжелый портфель и протискивался на скамью, сдвигая с места парту.

Все это он проделывал с невозмутимым спокойствием человека, привыкшего к однообразному ходу жизни и не ждущего никаких неожиданностей.

На уроках он не болтал, так как вообще не отличался разговорчивостью, но это не мешало учителям постоянно делать ему замечания:

— Рыбаков, о чем ты мечтаешь?

— Рыбаков, повтори, что я сказала.

— Рыбаков, выйди к доске и объясни решение задачи.

Он плелся к доске, задевая ногой парты, и долго сжимал в пальцах мел, словно хотел из него что-то выжать. Решая задачу, он так сопел, словно в руке у него был не мелок, а тяжелый камень, который он без конца опускал и поднимал. Он думал так медленно и тяжело, что у учительницы лопалось терпение, и она отправляла его на место.

Он садился, и парта мгновенно превращалась в боевого коня, а пухлые короткие пальцы сами начинали рисовать мечи и доспехи.

На уроках физкультуры он был предметом общих насмешек. Когда ему предлагали пройти по буму, ребята уже заранее начинали хихикать. Он делал несколько трудных шагов, потом вдруг терял равновесие, беспомощно хватался руками за воздух и наконец с грохотом прыгивал на пол. Через «коня» ему тоже не удавалось перепрыгнуть. Он застревал на черной кожаной спине и некоторое время восседал, как всадник в седле. Ребята смеялись, а он неуклюже сползал на животе на пол и шел в строй.

Ему не везло буквально во всем. Даже на школьном утреннике, где он читал стихотворение «Человек сказал Днепру», тоже вышло недоразумение. Он готовился целую неделю. Особенно хорошо у него получались заключительные строки. Он набирал побольше воздуха и с выражением произносил:

Чтоб на улице и дома
Было вечером светл о!

Когда он вышел на сцену, все «выражение» сразу пропало. Он заторопился, чтобы поскорее добраться до конца.

Но именно в конце его подстерегала неприятность. Он вдруг заволновался, задергал плечом и прочитал:

Чтоб на улице и дома
Было вечером тем н о!

Зал засмеялся. Он вздохнул и тяжело прыгнул со сцены.

Он привык к судьбе неудачника. Обычно неудачники сердятся на других, а он сердился на самого себя. Он давал себе слово измениться и начать новую жизнь. Старался быстрее двигаться, говорить почти криком и ни в чем не отставать от ребят. Но из этого ничего хорошего не выходило. Дома со стола летели чашки, в классе проливались чернила, а от резких движений его куртка лопалась где-нибудь под мышкой.

...Трудно провести границу между осенью и зимой. Бывает так, что еще не опали листья, а на землю ложится первый слабый снег. А иногда ночью подморозит, и река к утру покроется льдом. Этот лед, зеркальный и тонкий, манит к себе, и тогда радио предупреждает ребят, что ходить по льду опасно.

Но не все ребята слушаются радио. И вот на льду появляются первые смельчаки. Лед прогибается и предупреждающе трещит, но они верят, что родились под счастливой звездой. А счастливая звезда иногда подводит.

Внимание тюфяка привлекли крики, которые долетали с реки. Он ускорил шаг и, запыхавшись, вышел на берег.

Там он увидел Димку Ковалева, который размахивал руками и кричал:

— Тонет! Тонет!

— Кто тонет? — не спеша спросил тюфяк.

— Не видишь, что ли? — огрызнулся Димка. — Пацан тонет. Под лед провалился. Что стоишь?!

Другой бы тут же спросил самого Димку Ковалева: «Что же ты не поможешь ему?» Но он был тюфяком и не

догадался этого сделать. Он посмотрел на замерзшую реку и заметил маленького первоклашку, который был по пояс в воде и только руками цеплялся за край льда.

Тюфяк был толще и тяжелее Димки, но он шагнул на лед. Лед слегка прогнулся, но не треснул. Вероятно, у берега он был крепче.

Димка Ковалев оживился. Он снова стал махать руками и кричать:

— Заходи справа!.. Осторожно!.. Не топай ножищами, а то сам...

Он кричал для того, чтобы заглушить свой страх.

А тюфяк шагал по льду. Он не слышал криков. Он видел только насмерть перепуганного малыша, который не мог выговорить и слова.

Около полыньи на льду образовалась лужа. Он дошел до края и, не раздумывая, выставил одну ногу вперед. Ботинок сразу зачерпнул воду. Где-то в глубине души он понимал, что сейчас лед может треснуть и он окажется в воде вместе с посиневшим пацаном. Но это не остановило его. Он переставил вторую ногу и очутился по щиколотку в воде.

Теперь Ковалев уже не кричал и не размахивал руками, а напряженно выжидал, что будет дальше. Он видел, как тюфяк схватил малыша за руку, как стал обламываться лед.

Наконец первоклассник очутился на льду. Он шел, вцепившись окоченевшими руками в своего спасителя. Зубы его стучали, а по лицу текли слезы.

Когда они вышли на берег, Ковалев оживился.

— Ты ноги промочил, — сказал он товарищу, — беги домой, а пацана я сам доведу.

Тюфяк посмотрел на спасенного им парня, перевел взгляд на мокрые ботинки и сказал:

— Валяй!

Ковалев схватил за руку мокрого, перепуганного мальчишку и куда-то потащил его.

Тюфяк поплелся домой. Его переживания быстро притупила усталость. И теперь оставались только промокшие ноги и легкий озноб.

Дома он с трудом стянул с себя ботинки. Из них полилась вода.

— Что это? — спросила мама, недовольно глядя на перепачканный паркет.

— Промочил ноги, — растягивая слова, ответил мальчик.

— Где это тебя угораздило? — Мама пожала плечами и пошла за тряпкой.

Он хотел было рассказать маме, как было дело, но его начало клонить ко сну и одолевала зевота, и даже в теплой комнате не проходил озноб. Он не стал ничего объяснять, лег на диван и зажмурил глаза.

Неожиданно он подумал, что если бы на нем были тяжелые рыцарские доспехи, то лед сразу бы проломился и он не сумел бы спасти пацана.

Он быстро уснул.

...На другой день, когда после второго звонка он вошел в класс, там никого не было. Оказывается, все ушли наверх, в актовый зал, на общую линейку. Он бросил портфель на парту и поплелся на четвертый этаж.

Когда он вошел в зал, все уже построились большой буквой «П». Он протиснулся между ребятами и стал в заднем ряду.

В это время заговорил директор школы. Он сказал, что вчера на реке ученик Дима Ковалев спас первоклассника, провалившегося под лед, и что он, директор, восторгается смелым поступком ученика.

Потом выступала старшая вожатая. Она говорила о пионерском долге, о чести красного галстука и наконец зачитала письмо матери провалившегося пацана, в котором Димка назывался спасителем ее сына.

Стиснутый со всех сторон ребятами, тюфяк стоял у

стенки и слушал, как все хвалят Димку Ковалева. В какую-то минуту ему хотелось сказать, что Димка врет — никого он не спасал, а просто махал руками и кричал. Но от одной мысли привлечь к себе внимание ему стало стыдно, и все три бугорка покраснели.

В конце концов он и сам поверил, что Димка — герой вчерашнего происшествия: ведь он первым заметил тонущего. И когда все захлопали Димке, тюфяк захлопал тоже.

Линейка кончилась. Ребятам велели расходиться по классам. И тюфяк, подталкиваемый товарищами, поплелся обратно на второй этаж.

Он с трудом протиснулся за парту — сдвинул ее с места, — а когда начался урок, взял в короткие пухлые пальцы тоненькую ручку и в тетрадке по арифметике стал рисовать рыцаря. Этот рыцарь был фиолетового цвета, как школьные чернила.

ГДЕ
НАЧИНАЕТСЯ
НЕБО

Я встретил его после дождя на асфальте. Он шел прихрамывая, и на коленке у него была ссадина, запекшаяся, как сургучная печать. Плоские, стоптанные сандалии были похожи на черепаха. В руке он держал веревку, к которой была привязана серая тряпка. Тряпка волочилась по мокрому асфальту, и невозможно было догадаться, для чего она предназначена.

— Что это у тебя за тряпка? — спросил я, шагая рядом с мальчиком.

— Это не тряпка, — отозвался низкий голос. — Это парашют.

— Парашют?

Теперь я разглядел, что серая тряпка была маленьким куполом, а веревка оказалась стропами, скрученными жгутом. Я спросил мальчика:

— Почему ты тащишь его по мокроте?

— Так... — пробурчал он и поднял глаза.

Большие темные зрачки уставились на меня. Они из-



лучали незамутненный блеск, какой после дождя появляется у листьев, у крыш, у дороги. Белков почти не было видно — одни зрачки. Они изучали меня.

— Ты его с крыши сбрасывал? — И я кивнул на забрызганный грязью мокрый парашют.

— Нет, из окна.

— А груз какой был?

— Груз? — Он с недоумением посмотрел на меня. — Я сам... прыгал.

— Парашют-то мал для тебя.

— А где я возьму большой? — Теперь он смотрел на меня насмешливо, как на несмышленища. — За простыню высыплют по первое число. Мне и за наволочку высыпали...

Я обратил внимание, что по краям купола болтаются завязки, мокрые и тонкие. Парашют и в самом деле был сделан из наволочки и когда-то был белым. Мальчик поймал мой критический взгляд.

— Можно и с маленьким прыгать... если небо, — сказал он в защиту своего парашюта.

— Если небо? — переспросил я.

— Я ведь прыгал с первого этажа, там неба нет, — пояснил мальчик.

— А на пятом этаже есть небо?

— Я не прыгал с пятого этажа... пока.

Я покосился на коленку с алой сургучной печатью и ощутил жутковатый холодок, который бывает, когда стоишь у края пропасти или у перил высокого моста. Я потер затылок рукой и тут же поймал на себе взгляд больших темных зрачков.

— А ты никогда не прыгал с парашютом? — спросил он меня, как равного.

— Нет, — как равный, ответил я и почувствовал что-то вроде стыда перед маленьким спутником. И, чтобы окончательно не пасть в его глазах, сказал: — В твои годы прыгал... с зонтиком.

— Пробовал, — понимающе кивнул мальчик. — Зонтик наизнанку вывернулся.

Я вспомнил, что мой прыжок с зонтиком закончился так же, и про себя обрадовался:

— Вот-вот! Мне еще влетело за зонтик.

— Так ведь за все влетает, — сказал мальчик и зашаркал сандалиями по асфальту.

Некоторое время мы шли молча. Я ощущал превосходство маленького парашютиста и старался понять, откуда оно берется. Может быть, сила этого малыша в том, что он свободен от множества страхов, которые с годами приходят к взрослым людям? Вероятно, я шел слишком быстро, потому что услышал за спиной знакомый низкий голос:

— Не беги.

— Ноге больно?

— Нет, сандалины спадают.

Я оглянулся. Он стоял на асфальте и прижимал к себе мокрую плоскую сандалию. В руках у мальчика она еще больше напоминала панцирь черепахи.

— Надень, — сказал я.

— Лучше так, — отозвался мальчик и снял вторую.

Из-за редких, выдохшихся туч выглянуло солнце. Оно крепко припекало, и над асфальтом появился теплый голубоватый пар. Наверное, очень приятно ходить босиком по теплему асфальту, от которого идет пар. Наволочный парашют по-прежнему тащился за моим маленьким спутником.

— Что думаешь делать? — Я кивнул на парашют.

— Еще прыгну... Только он не действует без неба.

— А где начинается небо?

Он ничего не ответил. Задрал голову и посмотрел ввысь. Небо было глубоким и синим. Оно струилось, и обрывки тучплыли быстро, как по течению. Мальчик проводил глазами тучи, и его взгляд скользнул по макушкам высоких сосен, по конькам крыш. Взгляд опускался все ниже, ниже и оставался на маленьком парашюте.

Мальчик наклонился и поднял с земли забрызганный грязью купол. Он скрутил его, и на асфальт потекли мутные струйки воды. Он выжимал парашют, как выжимают рубаху или трусы. Потом перебросил его через плечо. Этот жест означал, что не все потеряно, что парашют, сделанный из наволочки, может еще пригодиться.

— Пока, — сказал он и быстро зашагал обратно.

У него был такой решительный вид, что я забеспокоился, не заберется ли он на высокую крышу и не сиганет ли вниз, чтобы еще раз испытать парашют, который действует только в небе?

— Постой! — крикнул я.

Он нехотя остановился.

— Ты куда?

Он уловил в моем голосе тревогу, но продолжал держать себя независимо:

— Некогда мне. Меня Игорек ждет.

— А прыгать не будешь... с крыши?

— Парашют мокрый.

Он почувствовал, что я боюсь. Ему не пришло в голову, что я боюсь за него. Он решил, что я просто боюсь. Сам по себе. Зрочки насмешливо сузились и заблестели сильнее.

Я неожиданно почувствовал, где начинается небо. Не на гребне крыши и не в синих струях, по которым плывут облака. Оно берет начало совсем близко от земли — на первом этаже или на уровне плеча. Начинается в бесстрашном сердце и простирается до тучи или до звезд, смотря куда его поднимет сердце.

— Игорек ждет. Я пойду. Ладно?

Он нетерпеливо почесывал коленку и прижимал локтем сандалии.

Я кивнул головой. Он быстро зашагал по пятнистому, просыхающему асфальту, над которым дрожал голубоватый пар. Я молча пошел следом за ним, чтобы лучше запомнить, где начинается небо.



Очень нехорошо подслушивать разговоры взрослых, а когда младшие еще норовят вставить свое словечко, это уже совсем никуда не годится. Но как быть, если ты живешь со взрослыми в одной комнате? Нельзя же все время зажимать уши руками.

Сережа терпеть не мог чужие разговоры: они мешали делать уроки и отвлекали от собственных мыслей. А когда он ложился спать, то долго не мог уснуть, если в комнате говорили. Это только чудачки превращают свои уши в звукоулавливатели и, делая вид, что спят, подслушивают.

Только один раз Сережа вмешался в чужой разговор, и из этого вышла целая история.

Это случилось в тот день, когда к папе пришел его давнишний приятель — дядя Владя. За обедом больше говорил папа, а гость серьезно и сосредоточенно занимался едой. Он так старательно обсасывал косточки, словно играл на них, как на свистульке: косточки действительно издавали

свист. При этом лоснящиеся румяные щеки налезали на глаза, закрывали их и, казалось, дядя Владя сейчас замурлыкает от удовольствия.

После обеда гость и хозяин поменялись ролями. Теперь уже Сережин папа молчал, а дядя Владя рассказывал одну историю за другой. Истории эти были разные, и только герой в них оставался один и тот же — сам дядя Владя. Оказывается, на войне он был настоящим храбрецом: первым форсировал Днепр, первым вступил на вражескую землю и лично штурмовал рейхстаг. В конце концов у Сережки сложилось впечатление, что если бы не дядя Владя, неизвестно, сколько бы времени продлилась война.

Сережа слушал папиного товарища с открытым ртом. Он видел дядю Владю в огромном танке (в маленький дядя Владя не влез бы), в самолете (в бомбардировщике) и у гремящего орудия, в клубах дыма тоже возникало кисельно-красное лицо гостя.

Наконец дяде Владе надоело рассказывать истории. Он сел поудобнее на диван и решил немного порассуждать.

— Вот у нас говорят — герои. — Дядя Владя зевнул и быстро прикрыл рот ладонью, словно боялся, что изо рта вылетит птица. — А кто они, эти герои? Взять, например, Колю Гастелло...

Услышав имя легендарного летчика, Сережа насторожился. Он даже привстал со стула. Капитан Гастелло был его любимым героем. Сережа восхищался им и переживал его гибель, словно незнакомый капитан, отдавший свою жизнь задолго до того, как Сережа появился на свет, был его близким человеком.

— Взять, например, Гастелло, — продолжал дядя Владя, — какой он герой? Ну, подбили ему машину, ну, упала она случайно на шоссе, по которому шли немецкие танки. А при чем здесь героизм?

Сережа почувствовал, что у него слабеют ноги, и он опустился на стул, словно произошло что-то ужасное, вроде

пожара или аварии. Вся Сережина жизнь перевернулась и стала бессмысленной от слов дяди Владя.

— Теперь все трубят: «герой», «герой»! — продолжал гость. — У нас вообще любят из мертвецов делать героев. А кто этому верит? Вот такие, как Сережка.

Дядя Владя кивнул на мальчика. И тут Сережа потерял власть над собой. Он забыл, что не полагается вмешиваться в разговор старших. Он решил, что дядя Владя просто ошибся и надо ему скорее все объяснить.

— Гастелло был настоящим героем. Он сам... — начал было Сережа.

Но дядя Владя перебил его:

— Ну вот, полюбуйте. «Настоящий герой»! Это мы, старые фронтовики, знаем, кто настоящие герои. Мы... да что там говорить!

Гость махнул рукой, сунул в рот папиросу и стал ее обсасывать, как косточку.

Сережа сидел как побитый. Он представил себе лицо капитана Гастелло. Строгое лицо героя было бледным, а глаза закрытыми. Герой не видел кисельной рожи дяди Владя и не слышал его слов. Он не мог постоять за себя. И Сережа почувствовал, что не имеет права сидеть сложа руки, что он обязан встать на защиту погибшего героя.

— Капитан Гастелло — герой! Все равно герой!

Сережа прокричал эти слова, потому что, когда кричишь, голос не такой тоненький.

— Сережа! — строго оборвала его мама. — Дяде Владе видней. И вообще...

— Нет, — вдруг оживился гость, — ему видней! Это он прошел от Волги до Шпрее с автоматом на плече. Он!

И дядя Владя ткнул в сторону Сережи указательным пальцем, словно хотел пронзить его насквозь.

Сережа опустил голову. Он понял, что ему не справиться с огромным, мясистым дядей Владей, что нужно где-то разыскать больших и сильных друзей капитана Гастелло,

которые сумели бы вступить за погибшего друга. Надо предупредить их, что у мертвого капитана появился такой опасный враг, как дядя Владя.

Никто не заметил, как Сережа тихо поднялся со стула и направился к двери. Когда старшие увлекаются своими разговорами, они быстро забывают о младших. Папа с мамой слушали, а дядя Владя, размахивая пухлыми руками, уже рассуждал о ценах на мясо.

А Сережа тем часом ехал на автобусе. Жаль, что автобус плетется, сам он добежал бы быстрее. Но путь был дальним. Уже кончился город. За окном замелькали деревья. Они бежали за автобусом и никак не могли его догнать. Наконец совсем отстали: началось поле. Сережа нетерпеливо ерзал на сиденье и привставал до тех пор, пока кондуктор не объявил:

— Следующая — военный городок.

— Ты кого ищешь? — спросил Сережу высокий летчик с круглым безбровым лицом.

Он вместе со своим товарищем, черноволосым и щуплым, уже минут пять наблюдал, как Сережа, ко всем приглядываясь, шел по военному городку.

— Кого ты ищешь? — повторил свой вопрос летчик.

Сережа остановился. Он вдруг замешкался, но взял себя в руки и объяснил цель своего приезда.

— Я ищу друга капитана Гастелло! — ответил он.

— А как его фамилия?

— Не знаю... А вы не дружили с ним?

Летчики переглянулись. Они оба были молодыми, и, когда капитан Гастелло совершал свой подвиг, каждому из них было лет меньше, чем Сереже. Круглолицый покачал головой, а щуплый спросил:

— Зачем тебе друг капитана Гастелло?

— Дядя Владя говорит, что Гастелло не герой, что у нас любят мертвецов героями делать... Он не смеет так говорить...

Больше всего Сережа боялся, что его объяснение выглядит смешно и незнакомые летчики не примут его слова всерьез. Но летчики не собирались шутить. Своим рассказом Сережа поставил их в затруднительное положение. Они посоветовались и велели Сереже ждать, а сами пошли за каким-то Петром Ивановичем. Сережа понял, что Петр Иванович и был тот, кого он искал.

Другом капитана Гастелло оказался невысокий плотный мужчина в кожаной куртке. Из-под военной фуражки, надвинутой на глаза, были видны совсем белые виски. Седина никак не вязалась с глазами, в которых — откуда оно только взялось! — поблескивало что-то озорное. Если судить по волосам, Петр Иванович был старым, а если верить его глазам — молодым. Но Сережу мало занимало это несоответствие. Он чувствовал в этом человеке силу и решимость. И ему даже показалось, что Петр Иванович немного похож на своего легендарного друга.

— Здорово! — сказал летчик и протянул Сереже руку.

Он не стал ни о чем расспрашивать мальчика. Видимо, два молодых летчика успели ему рассказать суть дела. Он только поинтересовался, где живет Сережа.

— В городе, — ответил мальчик.

Друг капитана Гастелло ниже надвинул фуражку на глаза и сказал:

— Далековато. — Но затем решительно махнул рукой. — Ладно. Едем!

Когда Сережа в сопровождении Петра Ивановича переступил порог своей комнаты, дядя Владя лежал на диване, положив на светлый валик ноги в грязных ботинках. Он спал, чуть посвистывая мясистым носом и прищмокивая губами, словно ему снилась мозговая косточка. Кроме спя-

щего гостя, в комнате никого не было. Вероятно, папа пошел в магазин, а мама хозяйничала на кухне.

Петр Иванович небрежно кивнул на дядю Владю и спросил:

— Он?

— Он,— отозвался Сережа.

Тяжелая рука летчика опустилась на плечо спящего. Дядя Владя недовольно поморщился и открыл глаза. Со сна он ничего не понял и растерянно заморгал.

— Говорят, вы здорово воевали? — спросил Петр Иванович, когда дядя Владя окончательно проснулся и сел.

— Воевал,— пробурчал он.

— А на каком фронте, если не секрет?

— Н-н-на разных,— ответил дядя Владя.— А что?

— Да нет, ничего. Просто наслышан о ваших подвигах и заинтересовался. Как ваша фамилия?

— Иволгин.

— Извините, не слышал. А вы на каких машинах летали?

— Я, я?

— Ну да, вы.

— Я в артиллерии был.

— В артиллерии,— повторил Петр Иванович, словно хотел заучить ответ дяди Влады наизусть.— А с капитаном Гастелло вы тоже в артиллерии встречались?

Дядя Владя нахмурился. Вопросы сыпались на него, как удары. Он едва успевал отбиваться — отвечать.

— При чем здесь артиллерия? Слышал о нем от товарищей.

— Вот как! — Друг капитана Гастелло задержал свой взгляд на дяде Владе, словно испытывал достоверность его слов.— А я решил, что вы с ним вместе воевали. Значит, вкралась ошибка.

Сережа стоял в стороне и внимательно следил, как Петр Иванович своими вопросами брал дядю Владю в окружение

и отрезал ему все пути к отступлению. Наконец дядя Владя спохватился и от обороны перешел к наступлению.

— А вы, собственно, кто такой? — спросил он недовольным голосом.

Но летчик, твердо стоящий перед ним, преграждал ему путь.

— Я полковник Ростов,— сказал Петр Иванович.

— Полковник Ростов,— пробормотал дядя Владя.— Герой Советского Союза, прославленный ас?

Дядя Владя покраснел. И его лицо стало похожим на красный воздушный шарик, который на ветру качается из стороны в сторону.

— Знаете? — усмехнулся летчик.

— А как же,— оживился дядя Владя.— Чай, не в тылу отсиживались!..

В эту минуту Сережа вдруг подумал, что сейчас полковник Ростов и дядя Владя поладят. И может быть, летчик возьмет сторону дяди Влады.

И мальчик крикнул:

— Дядя Владя, Петр Иванович — друг капитана Гастелло! Понимаете?

Воцарилось молчание. Дядя Владя полез за папиросой. А полковник Ростов стоял, заложив руки за спину, и рассказывался на расставленных ногах. И вдруг он вплотную приблизился к дяде Владе и холодным голосом сказал:

— Так вот что, товарищ Иволгин, не знаю, в какой артиллерии вы воевали и какие беспримерные подвиги совершали на войне. Да меня это и не очень-то интересует. Но чернить память славного сокола Николая Францевича Гастелло я вам не позволю. Если бы мы с вами были моложе, я бы вам за ваши слова... Но седым людям неудобно размахивать кулаками.

Сережа заметил, что дядя Владя слушает друга капитана Гастелло со вниманием и опаской. А когда полковник строго спросил: «Ясно?» — у дяди Влады, который чуть ли

не один выиграл всю войну, руки сами вытянулись по швам, и он ответил:

— Ясно, товарищ полковник!

— Вот и хорошо, — сказал Петр Иванович. — А то у капитана Гастелло много хороших защитников и друзей.

При этих словах он кивнул на Сережу. И сердце мальчика подпрыгнуло от радости.

Сережа проводил Петра Ивановича до самых ворот. Когда они прощались, полковник крепко пожал ему руку и сказал:

— Ты серьезный парень.

Сережа почувствовал, что сейчас они расстанутся и неизвестно, когда еще встретятся, и ему захотелось разузнать у Петра Ивановича о его легендарном друге.

Он спросил первое, что ему пришло в голову:

— Товарищ полковник... Петр Иванович, а вы не помните, капитан Гастелло был очень высокого роста?

Полковник посмотрел на Сережу и покачал головой:

— Видишь ли, я никогда не встречался с капитаном Гастелло. Я воевал на Севере, далеко от него. Мне так и не довелось с ним познакомиться.

— Значит, вы не его друг? — разочарованно спросил мальчик.

— Нет, я его друг, — ответил полковник. — Такой же, как ты. Ведь у людей значительно больше друзей, чем они думают. И друзья никогда не дадут в обиду имя тех, кто отдал свою жизнь за Родину.

...Когда Сережа вернулся домой, дяди Влади уже не было. Только на светлом валике дивана остался след от его грязных ботинок.



та ночь началась неудачно. Задул сильный северный ветер. Он леденил лицо и проникал в каждую щелочку караульного тулупа. Тулуп бесцветный и потертый, как бубен. Ветер пробил его и добрался до самых лопаток. Петров ежился, сопел, сердито отворачивался от ветра. И тут заныла старая рана. Она ныла где-то в глубине, глухо и невнятно. Ее разбудил тот же неотступный ночной ветер. Собственно, раны давно уже не было и осколок удалили из бедра в медсанбате, когда кончился бой, остались только светлый неровный рубец и боль, оживавшая в ненастную погоду.

Петрову захотелось растереть ноющее бедро, но рука налилась тяжестью, и ее трудно было сдвинуть с места. «Поноет и сама перестанет», — подумал Петров и повернулся плечом к ветру. Им овладела тяжелая, глухая усталость. Раньше он вроде не замечал ее, а сегодня ночью почувствовал, что устал от бессонницы, от холода, от тягучего хода времени.



Петров сидел на ящике у закрытых дверей магазина. Он ночной сторож. Каждый вечер приходит сюда и сидит до утра, натянув поглубже солдатскую ушанку со следом от звездочки. Соседние магазины охраняют старухи. Неподвижные, закутанные, зимой и летом в больших подшитых валенках. Петрову немного обидно, что такое важное дело, как пост, доверяют старухам. Они наверняка спят. А он, Петров, всегда бодрствует.

Один только раз за всю жизнь он уснул на посту... Это случилось в начале войны. Он стоял в стороне от огневой позиции, у артвогребка. Людей не хватало, и пост был двухсменный и круглосуточный. Петров прямо-таки изголодался по сну. А вокруг была непроглядная мгла, и было одинаково не видно — что с открытыми глазами, что с закрытыми. Он нашел какой-то закуток, и ему стало тепло. Это тепло подвело его. Предало. Он закрыл глаза и помимо своей воли забылся в сладком, липком сне. Он спал всего несколько минут. Но ему показалось, что этот сон длился очень долго и что вся батарея уже знает: Петров уснул на посту. Теперь его наверняка отдадут под трибунал. Он представил себе, как у него отбирают карабин, кинжальный штык с ножнами, медные карандашники запалов. Снимают ремень и ведут через огневую позицию. И он не может поднять глаза на товарищей... Он стоял перед артвогребком и ждал, когда за ним придут. Он не искал оправдания, а судил себя сам. Жестоко. По всей строгости. Как чужой.

Его никто не отдал под трибунал. Никто не знал, что Петров спал на посту. Пришла смена. Заспанный сержант привел его в землянку и, кивнув на топчан, сказал:

— Спи. Через два часа снова вкалывать.

Петров, как на незнакомого, посмотрел на сержанта и лег на солому.

Сегодня, кряхтя и поживаясь, не в силах растереть ноющую рану, он думал о своей позорной ночи. Ему и сей-

час было стыдно. Он все еще продолжал находиться под судом и следствием у самого себя.

Петров всю жизнь стоял на посту. Всюду, где командованию нужно было учредить пост. Стоял молоденьким красноармейцем на срочной службе и пожилым приписником на трех войнах. Он охранял людей, технику, снаряды. А теперь стережет бочки с сельдью, мешки с крупой. И нет у него никакого оружия. Только в сухом шершавом кулаке зажат жестяной свисток с горошиной.

Он снова задумался и увидел себя зеленым бойцом, молодым, необученным. Тогда его в первый раз в жизни поставили на пост. Помкомвзвода с тремя треугольниками в петлицах подвел его к длинному пустому складу для боеприпасов и, как по написанному, проговорил:

— Пост номер три. На охране и обороне находятся: склад, два огнетушителя и противопожарный инвентарь. Повтори.

И молодой Петров сбивчивым от волнения голосом стал повторять:

— «Пост номер три. На охране и обороне...»

Ему казалось, что вместе с помкомвзвода он совершает что-то необыкновенно важное и таинственное, от чего зависит безопасность страны.

— «...склад, два огнетушителя, противопожарный инвентарь...»

Он повторил все, боясь пропустить хотя бы слово.

— Склад опечатан, — предупредил его командир. — Будешь сдавать пост — чтоб печать была на месте.

Стыдно признаться, но, когда Петров остался один, ему стало страшно. Ночь обступила его со всех сторон, и ему казалось, что кто-то подстерегает его, крадется, хочет сорвать печать или похитить огнетушитель. Выставив вперед винтовку с примкнутым штыком, Петров шел к огнетушителям, в темноте пересчитывал их и бегом возвращался к дверям склада, чтобы никто не успел сорвать печать...

Что ты будешь делать с этим старым тулупом! Шерсть внутри свалялась и запросто пропускает ветер. Надо будет поговорить с завмагом, может, выпишет новый тулуп.

Петров сплюнул от досады и попытался встать, чтобы немного размяться. Но у него не вышло. Ноги не послушались. Тогда он выставил вперед нижнюю губу и стал дышать на окоченевший нос. Дыхание было пропитано махорочной горечью, но тепла в нём было мало. Его боевые товарищи, бабки-сторожихи, убрали голову в плечи и были похожи на черепах. Небось спят, старые черепахи, в овчинных панцирях. А может быть, бодрствуют. Просто клюют носом. Петров насмехался над ними, но в глубине души уважал их за то, что они, старухи, несут солдатскую службу не в пример многим молодым. Он откашлялся и снова стал обходить свои далекие посты. Он вспомнил, как задолго до войны стоял на посту у знамени в артиллерийских лагерях. Стоять полагалось по стойке «смирно», ни одного движения. А его ели комары. Они были какие-то особенно кусачие и злые. И нельзя было протянуть руку, чтобы размазать их по щеке.

А еще был случай в темную дождливую ночь. Петров услышал, как к его посту кто-то приближается.

— Стой! Кто идет?!

Никто не отозвался, а шаги зазвучали отчетливей.

— Стой! Кто идет?!

Ни ответа, ни привета. Петров для остротки лязгнул затвором и звонко крикнул:

— Стой! Стрелять буду!

А шаги звучали. И он выстрелил. В воздух. И тогда послышался удаляющийся конский топот. Это колхозная лошадь зашла в расположение части.

Когда Петров вспоминает эту историю, то всегда улыбается и ехидно подергивает щекой. Сейчас щека так замлела, что не смогла пошевелиться. И реагировала на эту смешную историю полной неподвижностью.

Тот Петров, молодой, необученный, был так далеко от этого, сидящего на ящике у магазина, что представлялся ему самому другим человеком. Сторож относился к нему снисходительно, прощал легкомыслие и огрехи. Он испытывал к молодому Петрову чувства, похожие на отцовские.

До чего сегодня трудная ночь! Поскорей бы она миновала! Который час? У Петрова никогда в жизни не было часов. Но за долгие годы своей караульной службы он научился безошибочно определять ход времени. Словно внутри у него появились часы с вечным заводом. Сегодня с этими часами творилось что-то неладное. Разладились. И старик как бы заблудился в ночи, сбился со счета. А ветер все дул и дул.

Старый тулуп стал так сильно давить на плечи, словно кто-то цепкий и тяжелый навалился на Петрова сзади, сжал его так, что перехватило дух, и стал гнуть, гнуть. И нет у старого часового сил, чтобы сбросить с себя эту страшную тяжесть. Он обмяк. Плечи опустились. Руки повисли. Веки стали медленно наползать на глаза. Петров почувствовал, что засыпает. Неужели сон подловил его, как тогда, в ненастную ночь, у артвогребка? Ну нет! Теперь Петров не тот: не сдастся предательскому сну. Главное — не дать закрыться глазам. Ни на мгновение.

Он сидел неподвижно, мучительно удерживая тяжелые веки. Эти веки весили сейчас много пудов, и от напряжения у старика даже появилась одышка. Он уже ничего не вспоминал, ни о чем не думал. Он забыл о старой занывшей ране и не чувствовал холода. Из последних сил боролся он с предательским сном, и глаза его слабо сверлили темноту.

Утром его застали неподвижно сидящим на ящике. Решили, что старик уснул. Но когда легонько потрясли его за плечо, голова в солдатской ушанке упала набок. Петров был мертв. Он отстоял свою последнюю смену и умер великой смертью солдата.

Где стояла батарея

Сперва я не понял, что заставило меня остановиться перед зданием школы и внимательно посмотреть по сторонам. Вокруг стояли новые, необжитые дома. Подошвы пешеходов не успели обшаркать асфальт, и он был свежим и пористым, как чернозем. Хотя школа стояла в новорожденном районе Москвы и я попал сюда впервые, но по каким-то неуловимым признакам мне показалось, что я давно знаю это место.

Я остановил бегущего парня, который чуть не сбил меня с ног, и спросил:

- Что здесь было раньше?
- Пустырь, — нехотя ответил он, собираясь бежать.
- А до пустыря?
- Барак.
- А до барака?

Он на мгновение задумался, метнул в меня недовольный взгляд и выпалил:

— Ничего не было!

Парень заторопился дальше, а я остался перед зданием школы. Память напряженно работала, будто решала сложную задачу со многими неизвестными. И тут мой взгляд задержался на группе старых тополей. Они стояли в конце улицы, метрах в двухстах от школы. Могучие стволы с темной ребристой корой клонились к земле, а от клейкой зелени долетал острый горьковатый аромат. Эти тополя заставили меня вздрогнуть. Возле них рухнул сбитый самолет. Один тополь обгорел. Мы его спилили. На дрова. Я вспомнил. Здесь была шестая батарея.

Я сразу представил себе огневую позицию. Четыре круглых орудийных окна, расположенных трапецией. Невысокие насыпи брустверов. И длинные зеленые стволы зенитных орудий, которые то поднимались над землей, то уходили под землю. Я представил себе низкие дымы землянок. Холодную тяжесть снарядов. Удары в медную гильзу перед боем...

В школе зазвенел звонок. Его дребезжащий звук вырвался наружу, и сразу послышался топот бегущих ног. Так мы бежали по тревоге к орудиям.

Здесь тогда не было ни школы, ни домов, ни асфальтов. Было поле. Вдалеке лес. А большие старые тополя — они и тогда были старыми — стояли на краю деревни. Еще за нашей спиной протянулся глубокий противотанковый ров. Батарея стояла впереди. Наши орудия были без колес: лафетов на колесах не хватало, а в расчеты командования не входило какое-либо передвижение орудий противовоздушной обороны. Но мы двигались. Мы с неимоверной быстротой приближались к фронту. Вернее, фронт приближался к нам. Каждый вечер в одно и то же время прилетали «юнкеры», и начинался бой. От выстрелов большие тяжелые пушки вздрагивали всем телом, как живые, а длинные стволы откатывались с поразительной легкостью. Иногда вблизи батареи падали бомбы, иногда с неба устремлялись

раскаленные нити трассирующих пуль. Фашисты огрызались.

Я медленно обошел здание школы. Деревни не было и в помине. А лес, может быть, и был, но его скрыли новые дома. Я узнавал самую землю, на которой была огневая позиция шестой батареи. Землю и небо — голубое, в редких волнообразных облаках. Небо было таким же, только рядом с облаками часто чернели клубки разрывов.

В ноябре сорок первого года фронт вплотную подошел к нашей батарее. Настал момент, когда между нами и фашистами не осталось ни одной роты, ни одного нашего бойца. Теперь немцы летали без всякого расписания — днем и ночью. В перерывах между налетами мы настороженно присматривались к лесу. Оттуда в любую минуту могли выползти немецкие танки. Что может сделать одинокая зенитная батарея против лавины танков? Но у нас на брустверах лежали ящики с бронебойными снарядами. И за нами была Москва.

Мы были очень молодыми. Мы привыкли к мысли, что кто-то старший позаботится о нас, выручит в трудную минуту, не даст погибнуть в неравном бою нам и нашим орудиям. И мы не ошиблись в своей юношеской вере. Однажды на исходе холодного дня над нами пролетели странные огненные снаряды.

Впереди раздался нарастающий грохот. Вспыхнуло небо. Это у старых тополей ударили «катюши». Они били через наши головы по немцам...

Я ходил по школьному двору и все пытался отыскать место, где стояло мое орудие. Теперь ни асфальт, ни клумбы, ни само здание школы не могли мне помешать отыскать окоп моего орудия. Я ориентировался по старым тополям и чувствовал себя уверенно. Окоп оказался под крыльцом школы.

Я стал медленно подниматься по ступеням, а навстречу мне бежали ребята. Они спешили поскорее очутиться на

улице и не обращали на меня никакого внимания. Они не знали про шестую батарею и про окоп моего орудия. Я поднялся на крыльцо и увидел себя молоденьким красноармейцем в короткой шинели с полевыми петлицами, в серой шапке из «рыбьего меха», со звездочкой над переносицей.

А дети не замечали красноармейца. Они бежали на улицу. Они не знали, что бегут по брустверу орудийного окопа.

Я вспомнил, как после победы увозили орудия. Они трудно поддавались, словно за годы войны пустили корни, вросли в землю. Круглые орудийные окопы долго стояли пустыми. Они были похожи на гнезда, из которых улетели птицы. А я еще долгое время по-своему ориентировался в Москве. Когда мне называли адрес, в уме прикидывал: «Это возле первой батареи», «это где-то в районе седьмой». Постепенно окопы, похожие на гнезда, стали исчезать. Их сровняли с землей.

Потом огневые позиции превратились в строительные площадки. Вместо стволов зениток над ними поднялись стрелы кранов. Снова стали рыть. На этот раз котлованы. Но старая карта боевого порядка полка долго оставалась в моей памяти. И часто, проезжая мимо какой-нибудь бывшей батареи, я думал: «Пушек не видно, потому что появились высокие дома, но если обойти дома...»

Теперь, стоя на крыльце школы, построенной на огневой позиции шестой батареи, я испытывал чувство неловкости оттого, что не сразу признал свое старое поле боя. Мне захотелось, чтобы отныне все знали: здесь стояла шестая батарея. Я поймал за руку пробежавшего мальчишку и спросил его:

— Ты знаешь, что здесь было раньше?

Он удивленно выкатил на меня глаза и сказал:

— Школа.

— Да нет! — почти крикнул я. — Здесь была шестая батарея. Сто второго...

Он не понял меня и спросил:

— Шестая «А» или шестая «Б»?

Я растерянно посмотрел на мальчика, и он, видимо желая помочь мне, сказал:

— Может быть, вы ищите сто вторую школу?

Мне захотелось сказать мальчику: «Я ищу не сто вторую школу, а сто второй зенитно-артиллерийский полк». Но я промолчал. Я промолчал, и мне стало стыдно своего молчания. Я сильнее сжал руку мальчика и сказал:

— Здесь стояла моя батарея. Мы били по фашистским самолетам, которые летели к Москве.

— Здесь? — Мальчик удивленно посмотрел на крыльцо и потрогал рукой перила.

— Да, да, здесь. — Я почувствовал, что он не верит мне.

Не может поверить, потому что в его представлении на этом месте всегда стояла школа. И никакой шестой батареи...

Я разжал руку. Мальчик убежал.

И я понял, что не смогу успокоиться, пока не сумею убедить этого мальчика и всех его товарищей, что здесь в годы войны стояла шестая батарея. И потому теперь стоит школа.

Он
УБИЛ
МОЮ
СОБАКУ



можно войти?

— Войди... Как твоя фамилия?

— Я Таборка.

— А как тебя зовут?

— Табором.

— Имя у тебя есть?

— Есть... Саша. Но зовут меня Табором.

Он стоял на пороге директорского кабинета, и руку ему оттягивал большой черный портфель в белых трещинках. Кожаная ручка оторвана, держится на одном ушке, и портфель достает почти до полу. Если не считать старого, облезлого портфеля, то в наружности Таборки не было ничего примечательного. Круглое лицо. Круглые глаза. Небольшой круглый рот. Не за что зацепиться взгляду.

Директор школы оглядывал мальчика и мучительно пытался вспомнить, за какие грехи вызван к нему этот очередной посетитель. Разбил лампочку или заехал кому-нибудь в нос? Разве всё запомнишь.



— Подойди сюда и сядь... Не на кончик стула, а как следует. И не грызи ногти... Что у тебя за история?

Мальчик перестал грызть ногти, и его круглые глаза посмотрели на директора. Директор длинный и худой. Он занимает полкресла. А вторая половина свободна. Руки, тоже длинные и худые, лежат на столе. Когда директор сгибает руку в локте, она становится похожей на большой циркуль, которым рисуют на доске окружности. Таборка посмотрел на директора и спросил:

— Это вы про собаку?

— Про собаку.

Мальчик уставился в одну точку: в угол, где висели плащ и коричневая шляпа.

— Я боялся, что с ней что-нибудь случится, и привел ее в школу. В живой уголок. Туда берут ужей и золотых рыбок. А собаку не взяли. Что она, глупее этих ужей?

Он проглотил слюну и с укором сказал:

— А собака — млекопитающее.

Директор откинулся на спинку кресла и пятерней, как гребенкой, провел по темным густым волосам.

— И ты привел ее в класс?

Теперь директор вспомнил, за что приглашен к нему этот возмутитель спокойствия. И ждал только подходящего момента, чтобы обрушить свои громы на эту круглую, давно не стриженную голову.

Мальчик снова проглотил слюну и, не отрывая глаз от плаща и коричневой шляпы, сказал:

— Она сидела тихо. Под партой. Не повизгивала и не чесала лапой за ухом. Нина Петровна не замечала ее. И ребята забыли, что у меня под партой собака, и не прыскали от смеха... Но потом она напустила лужу.

— И Нине Петровне это не понравилось?

— Не понравилось... Она наступила в лужу и подпрыгнула как ужаленная. Она долго кричала. На меня и на собаку. А потом она велела мне взять тряпку и вытереть

лужу. А сама встала в дальний угол. Она думала, что собака кусается. Ребята гудели и подпрыгивали. Я взял тряпку, которой стирают с доски, и вытер лужу. Нина Петровна стала кричать, что я не той тряпкой вытираю. И велела мне и моей собаке убираться вон. Но она ничего... Она не убивала мою собаку.

Таборка по-прежнему смотрел в одну точку, и со стороны казалось, что он рассказывает не директору, а плащу и шляпе.

— Всё? — спросил директор.

Таборка был у него пятый за этот день, и у директора не было никакого желания продолжать разговор. И если бы мальчик сказал «всё», директор отпустил бы его. Но Таборка не сказал «всё» и не кивнул головой.

— Нет, — сказал он, — мы еще были в милиции.

Час от часу не легче! Директор с шумом придвинул кресло к столу. Он чувствовал себя в этом большом кресле, как в костюме, который велик. Наверное, его предшественник — старый директор — был толстым, раз завел такое кресло. А он новый. Директора тоже бывают новичками.

— Как ты очутился в милиции?

Таборка не вспыхнул и не заволновался. Он заговорил сразу, без заминки:

— Моя собака не кусалась. Не то что собаки, которые живут за большими заборами и вечно скалят зубы. Их черные носы смотрят из-под ворот, как двустволки. А моя собака махала хвостиком. Она была белой, и над глазами у нее два рыжих треугольника. Вместо бровей...

Мальчик говорил спокойно, почти монотонно. Слова, как круглые ровные шарики, катались одно за другим.

— И женщину она не кусала. Она играла и ухватила ее за пальто. Но женщина рванулась в сторону, и пальто порвалось. Она думала, что моя собака кусается, и закричала. Меня повели в милицию, а собака бежала рядом.

Мальчик поднял глаза на директора: рассказывать

дальше? Директор сидел на кончике своего кресла и грудью навалился на стол. Глаза его прищурились, как будто он целился. Они не видели ничего, кроме Таборки.

— Давай дальше.

— В милиции нас продержали два часа. Мы стояли у стенки и всё чего-то ждали. Но в милиции не убили собаку. Там один, с усами, даже погладил ее и дал ей сахару... Оказывается, собаке полагается номер и намордник. По правилам. Но когда я нашел мою собаку, у нее не было ни номера, ни намордника. У нее вообще ничего не было.

— Где ты нашел ее?

— В поселке. Хозяева переехали в город, а собаку бросили. Она бегала по улицам, все искала хозяев.

— Заведут собаку, а потом бросят!

Эти слова вырвались у директора, и он вдруг почувствовал, что после них уже не сможет ударить кулаком по столу. Мальчик не ухватился за его слова. Он неожиданно возразил:

— Они бросили собаку, но не убили. А я наткнулся на нее. Отдал ей свой завтрак, и с тех пор она не отходила от меня.

— Как звали твою собаку?

— Не знаю. Ведь хозяева уехали.

— И ты никак не назвал ее?

Мальчик непонимающе посмотрел на директора.

— Ты не дал ей имени?

— А зачем?

Он наконец выпустил из рук тяжелый портфель, и тот глухо плюхнулся на пол.

— У нее было имя. Я просто не знал его. Спрашивал у ребят. Никто не помнил, как ее звали.

— Вот и назвал бы ее как-нибудь.

Мальчик покачал головой:

— Раз у собаки есть имя, зачем давать ей новое. У собаки должно быть одно имя.

Теперь Таборка смотрел на медную пепельницу, которая стояла на краю стола. Пепельница была чистой и блестящей. Вероятно, новый директор не курил.

Таборка поднял руку и почесал затылок. И директор заметил на рукаве крупную штопку. Она была похожа на решетку, которая не выпускала локоть наружу.

Мальчик неожиданно умолкал и так же неожиданно начинал говорить, словно часть мыслей оставлял при себе, а часть высказывал вслух.

— Когда я в первый раз привел собаку домой, он был в отъезде. Мама сказала: «От собаки одна только грязь!» Какая грязь может быть от собаки? От собаки одна радость. Потом мама сказала: «Я твоей собакой заниматься не буду. Занимайся сам!» Так я для того и взял собаку, чтобы заниматься самому. Моя собака была очень умной. Когда я учил наизусть стихи, она смотрела мне в глаза и слушала. А когда у меня не выходила задача, собака терлась о мою ногу. Это она подбадривала меня. А потом приехал он и выгнал собаку.

Таборка не отрывал глаз от пепельницы, а директор скрестил пальцы и положил их под щеку и не спускал с мальчика прищуренных глаз.

— Чем ему помешала собака?.. Я не мог выгнать собаку. Ее один раз уже выгоняли. Я поселил ее в сарае. Там было темно и скучно. Я все время думал о своей собаке. Даже ночью просыпался: может быть, ей холодно и она не спит? А может быть, она боится темноты?.. Это, конечно, ерунда: собака ничего не боится! В школе я тоже думал о ней. Ждал, когда кончатся уроки: ее завтрак лежал у меня в портфеле... Потом он заплатил штраф за порванное пальто и выгнал собаку из сарая. Я привел ее в школу. Мне некуда было ее деть.

Теперь слова мальчика уже не были круглыми шариками. Они стали шершавыми и угловатыми и с трудом вырывались наружу.

Собирающий Облака

— Я не знал, что он задумал убить мою собаку. Меня тогда не было. Он подозвал ее и выстрелил ей в ухо.

В комнате стало тихо. Как после выстрела. И долгое время ни мальчик, ни директор не решались прервать молчание.

Неожиданно директор сказал:

— Слушай, Табор! Хочешь, я подарю тебе собаку? Немецкую овчарку с черной полосой на хребте.

Мальчик покачал головой:

— Мне нужна моя собака. Я бы ее научил спасать утопающих. У меня книжка такая есть, как учить собак.

Директор встал со стула. Он стал еще выше, чем казался вначале. Пиджак висел на его худых плечах, как на вешалке. Может быть, его костюм тоже принадлежал когда-то старому директору. Как большое кресло.

Он подошел к мальчику и наклонился к нему:

— Ты можешь помириться с отцом?

— Я с ним не ссорился.

— Но ты с ним не разговариваешь?

— Я отвечаю на его вопросы.

— Он тебя когда-нибудь бил?

— Не помню.

— Обещай мне, что ты помирись с отцом.

— Я буду отвечать на его вопросы... Пока не вырасту.

— А что ты будешь делать, когда вырастешь?

— Я буду защищать собак.

Директор молча прошелся по кабинету и вернулся в свое неудобное кресло. А мальчик взял портфель за ручку, которая держалась на одном ушке, и пошел к двери. Когда он уходил, директор заметил, что штопка на рукаве порвалась и острый локоть вырвался сквозь решетку наружу.



Если твоя фамилия Малявкин и товарищи зовут тебя Малявкой, это еще можно пережить. Тем более, что зовут тебя так не со зла, а просто фамилия у тебя неудачная. С такой фамилией самого лучшего человека на свете будут звать Малявкой. И отца твоего тоже в детстве величали этим потешным и немного обидным именем. Говорят, что даже дедушку в незапамятные времена звали Малявкой. Но и что из этого!

Вот если тебя к тому же считают конечным человеком и если рядом с твоей неудачной фамилией поставили большой жирный минус, тогда плохи твои дела.

...Когда он приносил домой четверку, отец пожимал плечами и говорил:

— Это тебе повезло.

А когда в дневнике появлялось замечание, отец усмехался:

— Очень приятно! Чего еще от тебя ожидать!

— Так я не виноват...— пробовал было возразить Малявкин-сын.

— Ты всегда не виноват! — обрубал Малявкин-отец.

Он не желал выслушивать никаких объяснений. Он даже не ругал сына — что попусту тратить слова. Поворачивался и уходил.

От обиды лицо мальчика покрывалось красными пятнами, а к горлу подступал комок. Ему казалось, что он провалился в прорубь, хочет выкарабкаться на льдину, но руки скользят... И никто не желает помочь ему...

Этот минус появился еще в прошлом году. Класс был большой, а у Зои Назаровны не хватало времени толком разобраться во всех своих учениках. Она пригляделась, поразмыслила и в уме поставила перед каждым из них плюс или минус. Малявкину достался минус.

Она поставила этот минус в уме, для служебного пользования, но мальчик постоянно чувствовал его, словно минус был выведен в журнале против его фамилии. И его нельзя было ни стереть, ни исправить.

Когда в классе поднимался шум, Зоя Назаровна, не поворачиваясь от доски, говорила через плечо:

— Малявкин и компания, тише!

Она называла его фамилию при каждом случае, даже если он в этот момент сидел набрав в рот воды. Она считала, что Малявкин все делает ей назло. А Малявкин просто не мог сидеть спокойно на месте. Где-то внутри у него была тайная пружинка, которая беспрестанно поворачивала его голову, заставляла ерзать, приводила в движение руки. У этой пружинки никогда не кончался завод. Иногда мальчик спохватывался и старался изо всех сил удержать ее. Но стоило только забыться, как пружинка незаметно выскальзывала и снова приводила в движение голову, руки, язык.

Иногда, очень редко, Зоя Назаровна беседовала с Малявкиным.

— Ничем ты не интересуешься, — говорила она, и кончики ее губ презрительно опускались, будто кто-то тянул их за ниточки. — Ребята марки собирают, делают гербарии... Ты бы хоть спичечные коробки коллекционировал!

Малявкин переминался с ноги на ногу и усиленно крутил концы галстука. Он не решался сказать Зое Назаровне, что белые облака нельзя засушить, как кленовые листья, и нельзя наклеить в альбом, как почтовые марки. А Малявкин интересовался облаками.

Он ложился животом на подоконник, подпирал рукой подбородок и долго-долго следил за облаками, которые обязательно на что-то похожи. На слона, на верблюда или на снежные горы. Конечно, облако не может долго быть верблюдом. На твоих глазах у верблюда пропадают горбы. Животное поджимает передние ноги и так вытягивает шею, что она наконец обрывается. И вот уже нет верблюда. Он пропадает в небе, но остается в памяти. Как его наклеишь на бумажку и покажешь Зое Назаровне?

Если люди махнули на тебя рукой и не хотят разобраться в тебе, потому что кто-то поставил перед твоей фамилией минус, то у тебя есть два выхода: или самому махнуть на себя рукой, или любыми усилиями зачеркнуть несправедливый минус.

В глубине души он не очень-то рассчитывал, что с помощью учебников и тетрадей ему удастся избавиться от минуса. Он надеялся на другое средство. И когда однажды старшая вожатая объявила, что после уроков все пионеры отправляются собирать бумажную макулатуру, Малявкин почувствовал — судьба посылает ему случай доказать, что он не такой уж пропащий человек.

— Стране нужна бумага! — сказала старшая вожатая.

«Очень хорошо, что стране нужна бумага. Прекрасно, что стране нужна бумага! Тем более, что ты можешь найти

сколько угодно сырья для нужной стране бумаги». Так думал Малявкин, не переставая крутить кончики галстука. Он свернул их сначала в трубочку, потом превратил в спирали, а когда наконец оставил в покое, они повисли, как две красные сосульки. Он не слышал голосов учителей. В его груди звучали и пели на все лады зазывные слова вожатой: «Стране нужна бумага!»

После уроков все ребята вышли на школьный двор. Здесь каждому выдали сетку, похожую на рыболовную снасть. Эти сетки нужно было забросить в сотни квартир и учреждений и вытянуть их обратно на школьный двор с богатым уловом бумажной макулатуры.

Малявкин перекинул свою сеть через плечо и быстро зашагал к воротам. Было тепло, и на деревьях раскрывались почки. Из клейких золотистых чешуек выглядывали зеленые язычки листьев. И с земли казалось, что деревья покрыты зелеными многоточиями. Мягкий, подобревший ветер весны скользил по улицам. А высоко в небе он упирался в белые паруса облаков, и они плыли, меняя на ходу очертания.

На пути мальчику попался газетный киоск. Все четыре стены киоска были из стекла, и со стороны газетный домик был похож на большой старинный фонарь. В центре фонаря, на месте фитиля, находился киоскер: беловолосый и красноносый старичок. На носу у него сидели большие очки. Когда он разговаривал, то смотрел поверх очков. Очки только мешали ему.

Малявкин подошел к стеклянному домику и неуверенно спросил у киоскера:

- У вас есть старые ненужные газеты?
- Есть, — ответил киоскер.
- Можно их забрать?
- А ты думаешь, что старые газеты ничего не стоят?
- Разве старые газеты тоже стоят? — удивился Малявкин.

— Стоят. По две копейки, — ответил старичок, и глаза его так выкатились, словно собирались перемахнуть через очки. — А тебе зачем газеты? Для оклейки или для упаковки?

— Мне для макулатуры, — отозвался Малявкин.

— Для макулатуры, — повторил киоскер. — Вот оно что!

Лицо старичка засияло — зажегся фитилек. Он посмотрел на мальчика и вдруг подмигнул ему:

— Подойди-ка к двери.

Мальчик не заставил себя ждать. В два прыжка он очутился у двери киоска. Старичок приоткрыл стеклянную дверь и спросил:

— Тара у тебя есть?

Мальчик замялся. Тары у него не было. Может быть, старичок ничего не даст ему, раз нет тары? Но хозяин киоска осмотрел его с головы до ног и, обнаружив на его плече сеть, кивнул на нее:

— Подставляй сетку.

Сетка и была тарой.

Малявкин быстро стянул с плеча сетку и протянул ее старичку. И тут хозяин стеклянного газетного домика стал выгребать откуда-то куски картона, и бумажные обрезки, и мятые газеты, которые ничего не стоили, и оберточную бумагу, отслужившую свой век. Он энергично засовывал все это богатство в сетку. Не прошло и пяти минут, как сетка наполнилась до краев. Мальчик приподнял ее, и оказалось, что улов кое-чего весит. Тяжесть радовала его. Он с благодарностью посмотрел на старичка и сказал:

— Спасибо вам. Стране нужна бумага.

На школьный двор Малявкин пришел первым. От быстрой ходьбы он тяжело дышал. Фуражка с острым козырьком, похожим на грачиный клюв, съехала набок. Глаза весело блестели. А за спиной белела макулатура, разлинованная сеткой в крупную клетку.

Старшая вожатая и два старшекласника-комсомольца сидели на скамейке перед школой и поджидали сборщиков макулатуры.

— Вот, — сказал Малявкин, сваливая к их ногам тяжелую ношу. — Вот, принес.

— Молодец! — сказала старшая вожатая. — Как твоя фамилия?

В эту минуту Малявкин дорого бы отдал за красивую фамилию. Ему сейчас очень нужна была звучная, гордая фамилия. Но где он мог раздобыть ее, если отец и даже дед были Малявкины!

Вожатая ждала ответа.

— Малявкин, — тихо сказал мальчик.

Он сказал тихо, но два старшекласника переглянулись, и мальчик заметил на их лицах усмешку.

— Запиши, Саша, его фамилию, — сказала старшая вожатая. — А ты, Малявкин, свободен.

— Свободен? — спросил мальчик. — А разве больше не нужно макулатуры?

— Ты свою норму выполнил.

— А можно, я еще принесу? — Он неуверенно посмотрел на вожатую.

Вожатая пожала плечами.

— Если тебе нравится.

— Нравится, — признался мальчик и, подхватив пустую сетку, побежал к воротам, словно боялся, что вожатая раздумает и не разрешит ему идти за второй нормой.

Теперь Малявкин знал, где находится месторождение макулатуры. Он напал на золотую жилу! От киоска к киоску шагал он с сеткой за плечом. Он уже не интересовался старыми газетами, которые, как новые, стоят две копейки. Он показывал хозяевам стеклянного домика свою сетку — тара есть! — и спрашивал:

— Нет ли у вас бумажных обрезков, старого картона, бракованных газет?

Макулатура находилась. Безотказная пружинка, которая так мешала ему на уроках, теперь работала с пользой. Скорей, скорей, скорей! Стране нужна бумага! Очень хорошо, что стране нужна бумага! Значит, ты тоже нужен стране, если ты добываешь сырье для бумаги.

Во дворе около школы выросла большая белая гора. Ее наносили ребята. Бумажная гора напоминала Малявкину прохладное облако, которое сделало вынужденную посадку под окнами школы. Ветер трепал полоски легкой бумаги, и казалось, что облако живое, что оно меняет свои очертания, как и подобает настоящему облаку.

Когда он в четвертый раз собрался было в поход, старшая вожатая остановила его:

— Хватит, Малявкин. Ты и так больше всех принес. Мы о тебе в стенгазете напишем.

Малявкин опустил глаза. Зачем писать о нем в стенгазете? Пусть лучше Зоя Назаровна сотрет свой минус и пусть перестанет считать его пропавшим человеком, раз он на что-то способен. Но как все это объяснить вожатой?

Домой он пришел поздно. Он чувствовал себя счастливым. Ему казалось, что его минус погребен под большой бумажной горой. И теперь начнется новая жизнь.

Мигом вбежал он по лестнице.

— Ты что так поздно? — поинтересовалась мама.

— Мама, — ответил мальчик, и голос его звучал возбужденно и торжественно, — мама, я собирал макулатуру. Я три полные сетки...

Мама даже не дослушала его. Она сказала:

— Всякой ерундой занимаешься. Лучше бы уроки учил!

От неожиданности мальчик запнулся.

— Мама, стране нужна бумага, — сказал он упавшим голосом.

Но мама его уже не слушала. Она пошла разогревать обед.

...Каждый день по дороге в школу Малявкин останавливался перед бумажной горой. Когда было ветрено, обрывки бумаги носились по двору. Они шуршали на асфальте и плыли по лужам, как белые кораблики.

Хотя стране нужна была бумага, никто не торопился забрать драгоценную макулатуру. И надо признаться, что белая гора постепенно таяла, словно была из снега, а дни стояли теплые.

Не раз сильный ветер поднимал самый настоящий бумажный смерч. Листки бумаги стучали в окна классов, будто хотели напомнить ребятам о своем существовании. А одна бумажная полоска прилипла к стеклу и билась от ветра, как маленький тревожный флажок, подающий сигнал бедствия.

Пошел дождь. Он мочил бумажную гору. И Малявкин переживал за нее. Это была его маленькая слава. Она помогла ему сохранить веру в самого себя. На большой перемене он выбежал во двор, отыскивал где-то кусок толя и накрыл им макулатуру. Теперь она уже не была похожа на белое приземлившееся облако. Листки бумаги слиплись и потемнели.

На уроке Малявкин поднял руку.

— Что у тебя, Малявкин? — спросила Зоя Назаровна. Мальчик поднялся. Он спросил:

— А когда из макулатуры будут делать бумагу?

Зоя Назаровна пожала плечами, и невидимые ниточки медленно потянули вниз уголки ее губ.

— Когда придет время, тогда и будут делать... бумагу, — сказала она, растягивая слова: все, что относилось к Малявкину, она считала несерьезным и вздорным.

Однажды после шестого урока он сбежал со ступенек школьного крыльца и увидел, что истопник и завхоз берут охапками макулатуру и уносят ее в котельную.

«Наверное, решили спрятать ее». — подумал мальчик и проскользнул в дверь. То, что он увидел, поразило его.

Он почувствовал, что на лице выступили красные пятна.

Охапки белой бумаги бросали в топку. Как белые облака, уплывали они навстречу огню. Пламя сразу обжигало их. Облака чернели и корбились, ветер подхватывал их, и они, легкие и хрустящие, уносились в трубу.

Мальчик подумал, что черные облака вылетают наружу и плывут над городом. И что сейчас все небо в черных, обугленных облаках. Из оцепенения его вывел голос завхоза:

— Чего стоишь, Малявкин? Помогай!

— Это нельзя жесть, — почти крикнул мальчик. — Это макулатура!

— Тебя забыли спросить, — поморщился завхоз. — Ну-ка, посторонись!

Мальчик продолжал стоять на месте. Глядя в раскрасневшееся от жара лицо завхоза, он крикнул:

— Стране нужна бумага! Не жгите!

— А ну, иди отсюда! — грубо сказал завхоз. — Малявка!

Его все называли Малявкой. Но никто не хотел обидеть его этим словом. Зато сейчас привычная кличка прозвучала оскорбительно и зло. Слезы блеснули в его глазах. Но ему стало стыдно своих слез, и он быстро размазал их по скулам.

Он кинулся в школу. Он бегал по этажам и все искал, кто бы мог вступить за макулатуру. В пионерской комнате никого не было. В учебной части тоже.

В одном из коридоров он столкнулся с Зоей Назаровной.

— Ты что носишься как оглашенный? — спросила учительница.

— Зоя Назаровна, — сказал мальчик, прерывисто дыша, — Зоя Назаровна, они жгут макулатуру!

Ему казалось, что Зоя Назаровна немедленно побежит в котельную и будет спасать горящие белые облака. Но Зоя Назаровна спокойным голосом сказала:

— Так ведь пожара нет. Жгут не школу, а макулатуру.
Нет, это, конечно, не пожар. А может быть, и пожар.
Когда горит добро, горит твой труд, твоя надежда — это пожар!

— Иди домой, — сказала Зоя Назаровна и подтолкнула его к двери.

Он шел по улице, глядя себя под ноги. Ему казалось, что если он поднимет глаза, то увидит, как там, в голубом апрельском небе, плывут черные, обуглившиеся облака. Он даже почувствовал горьковатый запах гари.

Когда он проходил мимо газетных киосков, то отворачивался. Ему было стыдно смотреть в глаза старичков и старушек, похожих на фитильки больших фонарей.

«Никакой новой жизни не будет», — думал мальчик. Все его надежды уплыли вместе с черными облаками.

И вдруг кто-то окликнул его:

— Коля!

Мальчик вздрогнул от неожиданности и остановился. Его обычно звали Малявкиным или Малявкой. Может быть, это зовут не его, а другого Колю? Он поднял глаза и увидел Зою Назаровну. Для учительницы эта встреча тоже была неожиданной. Она смотрела на мальчика и молчала. Она почему-то не знала, что сказать ему, и вид у нее был растерянный. И Зоя Назаровна показалась Малявкину большой девочкой, которую вызвали к доске, а она не знает урока. Он никогда не видел ее такой. И ему правилась такая Зоя Назаровна.

А потом он поднял глаза и посмотрел в небо. Над головой плыли облака. Они были ослепительно белыми, без единого пятнышка. А одно из них было похоже на крупного слона с двумя горбами, как у верблюда. Малявкин улыбнулся двугорбому слону. И провожал его глазами до тех пор, пока слон не потерял хобот.

А ВОРОБЬЕВ СТЕКЛО НЕ ВЫБИВАЛ

Мне жалко людей, которые рано перестали верить в сказки, разлюбили зверей и птиц, забыли дорогу в детство. Они редко припадают к незамутненному родничку далекого детства, чтобы смыть копоть обыденности, золотую пыльцу корысти, разъедающую сердце, и туман самообольщения, который плотной пеленой застилает глаза. Куда охотнее люди осуждают поступки своего детства, не замечая их чистоты и цельности. Они снисходительно посмеиваются, пожимают плечами и не пытаются разглядеть в своем детстве то первозданное, кристаллическое состояние души, которое утратили с годами.

Я часто имею дело с детьми, и мое собственное детство мне кажется не таким отдаленным. И я неожиданно для себя начинаю ощущать себя не взрослым человеком, а состарившимся мальчиком. Это странное состояние, радостное и грустное одновременно, неожиданно увели-

чивает в своем значении события детских лет. И рядом со мной все чаще появляется мой школьный товарищ Семин — Марк Порций Катон Старший.

Его двойник, живший во втором веке до нашей эры в Риме, прославился тем, что всю жизнь, изо дня в день, упорно повторял: «Карфаген должен быть разрушен!»

Мой друг не требовал разрушения Карфагена, и не потому, что этот прекрасный город был разрушен римлянами задолго до его рождения (в 146 году до нашей эры), — просто он был добрым малым. Однако имя римского цензора он носил с завидным достоинством.

Эта необычная история началась с разбитого стекла. Толстое, шершавое, как бы покрытое морозным инеем, стекло в дверях директорского кабинета оказалось разбитым. И напоминало броню, пробитую снарядом. В образовавшейся брешии, как в пасти чудовища, торчали острые зубы осколков, и директор, маленький подвижный человек с розовой безволосой головой, выглядывал из этой зубастой пасти. В этот день у него был сокрушенный вид, как у человека и впрямь попавшего в пасть.

— Кто разбил стекло?

Естественно, тот, кто всегда бьет стекла: портфелем, мячом, корзинкой для бумаг, локтями. Воробьев! Если собрать все стекла, разбитые за недолгий век Воробьевым, то их хватит, чтобы застеклить новый дом. Итак, позвать сюда Тяпкина-Ляпкина, то бишь Воробьева!

Воробьев заглянул в «пасть» директорской двери:

— Звали?

— Войди! — приказали из «пасти».

Воробьев открыл дверь. Осколок стекла с легким звоном упал к его ногам. В этом звоне звучал укор.

— Ты выбил стекло? — спросил директор, поглаживая бронзовую лошадь чернильного прибора. — Ты?

— Не-е! — односложно ответил Воробьев.

Казалось бы, все ясно. Ведь никто лучше Воробьева

не знал, выбивал он стекло или не выбивал. Но, оказывается, ничего не было ясно. По крайней мере директору. Он сказал:

— Пойди подумай. Зайдешь на следующей перемене.

— Подумаю. — буркнул Воробьев, хотя думать ему было нечего. — Зайду.

На следующей перемене «пасти» в дверях директорского кабинета уже не было: ее забили фанерой. Чистой, еще не исписанной словами и словечками. Воробьев постучал в фанеру.

— Подумал? — спросил директор.

— Подумал, — соврал Воробьев.

— Ты выбил стекло?

— Не-е!

Директор ударил рукой по крупу бронзовой лошади.

— Воробьев! Хотя раз в жизни признайся чистосердечно, тогда тебе ничего не будет.

Это был деловой разговор!

— Мать вызывать не будете? — поинтересовался мальчик.

— Не будем!

Воробьев устало посмотрел на директора — верить или не верить? — и решил рискнуть:

— Я выбил... Можно идти?

— Иди, — с облегчением сказал директор и почти с любовью посмотрел на Воробьева.

А Воробьев посмотрел на директора, как на соучастника в заговоре.

На этом история с разбитым стеклом могла благополучно завершиться, если бы Семин не был в душе Марком Порцием Катонем Старшим. В тот же день мой школьный товарищ открыл дверь с фанерой вместо стекла и с твердостью, с какой его римский двойник произносил: «Карфаген должен быть разрушен!», сказал:

— А Воробьев стекло не выбивал!

— Это что еще за новости?! — Рука директора оседлала бронзовую лошадь чернильного прибора.

— А Воробьев стекло не выбивал! — повторил Семин.

— Кто же, по-твоему, выбил?

— Не знаю.

— Вот-вот, — оживился директор, — не знаешь, а говоришь! Воробьев сам признался. Понятно?

— Понятно, — ответил Марк Порций Катон Старший. — А Воробьев стекло не выбивал.

Розовая голова директора поплыла по кабинету, как воздушный шарик.

— Воробьев говорит — выбил, ты говоришь — не выбивал! Кому прикажешь верить?

— Мне! — приказал упрямый римлянин.

Директор вспыхнул:

— Позвать Воробьева!

Позвали. Воробьев пришел.

— Ты выбил стекло?

— Я, — как по-заученному, выпалил Воробьев.

— Что ты на это скажешь, Семин? — победоносно спросил директор моего школьного товарища.

— Он врёт! — ответил Семин.

— Какой ему резон врать? Если бы он отпирался, тогда другое дело. Но он признается. Не вижу логики!

— Он врёт! — повторил Семин, который видел логику.

— Отстань ты! — лениво буркнул Воробьев и тайком погрозил Семину кулаком. — Я выбил.

— Теперь ты убедился? — Директор торжествующе трепал по холке бронзового коня.

— А Воробьев стекло не выбивал!

— Во-он! — тихо сказал директор, и его розовая голова стала пунцовой.

Так была упущена еще одна возможность раз и навсегда покончить с выбитым стеклом. История продолжалась.

В классе шел сбор, посвященный сбору колосков в

подшефном колхозе. Все шумно обсуждали колоски. Спорили. Брали обязательства. Мой товарищ поднял руку.

— Обязуюсь собрать мешок колосков, — сказал он и тут же добавил: — А Воробьев стекло не выбивал!

— Какой Воробьев? Какое стекло? — растерялась вожатая. — Ведь мы говорим о колосках!

— Так я и говорю о колосках, — сказал Марк Порций Катон Старший. — А Воробьев стекло не выбивал.

— Выбил, — мрачно сказал Воробьев: он был верен уговору, держал слово.

— Ну конечно, выбил, — подхватила вожатая, — а колоски...

— Не выбивал, — стоически повторил двойник римского цензора.

— Семин, ты говоришь не на тему, — огорчилась вожатая. — Не срывай сбор, посвященный сбору...

— Я за колоски! А Воробьев стекло не выбивал!

На вечере самодеятельности Семину поручили читать стихотворение Пушкина «Вьюга». Он вышел на сцену, заложил руки за спину, привстал на носочки и объявил:

— Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Вьюга», — потом еще выше привстал на носочки и выдохнул: — А Воробьев стекло не выбивал!

Он произнес эту фразу горячо и вдохновенно, как строку пушкинского стихотворения. Зал загудел. Засмеялся. Захлопал.

А Марк Порций Катон Старший смотрел в темный зал и широко улыбался. Он думал: ребята хлопают, шумят и смеются потому, что согласны с ним. Он вдохнул поглубже и радостно стал читать стихотворение:

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя...

В зале стоял гул, шумели, но он не слышал шума, он читал с душевным жаром, и ему казалось, что пушкинские строки подтверждают его правоту. Директор, сидящий в первом ряду, поднялся со стула и пошел прочь, сказав, чтобы Семина немедленно прислали к нему.

Прямо со сцены Семина подвели к дверям директорского кабинета. К тому времени фанеру уже успели исписать и изрисовать вольностями, ее пришлось выкинуть. На ее место вставили толстое шершавое стекло, как бы покрытое морозным инеем. Семин постучал в новое стекло. Вошел.

— Долго это будет продолжаться? — спросил директор.

— Что... продолжаться? — спросил мальчик.

— «А Воробьев стекло не выбивал!»! — голосом Семина произнес директор.

Семин немного подумал и тихо сказал:

— Всегда.

Тогда директор положил обе руки на спину бронзовой лошади и сказал:

— Среди древних римлян тоже встречались чудачки. Калигула, например, мечтал сделать своего любимого коня консулом и приводил его в сенат. А цензор Марк Порций Катон Старший все речи в сенате начинал словами: «Карфаген должен быть разрушен!», но так и не дожил до того дня, когда римляне смели с лица земли этот прекрасный город. Кто же ты? — спросил директор моего школьного товарища Семина. — Калигула или Марк Порций?

И мой друг, не моргнув глазом, ответил:

— Марк Порций Катон Старший.

Он стоял перед директором в потертой курточке, в ботинках со сбитыми каблуками, маленький, щуплый, так же похожий на могущественного римлянина в просторной тоге, как бы сшитой из двух простыней. Но в своей гордой непреклонности он был похож на своего древнего двойника. Римский цензор требовал мести — мой друг хотел

справедливости, поэтому был выше цензора на целую голову.

С этого момента в нашей школе не стало Семина, а появился Марк Порций Катон Старший. Его только так и называли. А он всюду и везде — на пионерских сборах, на классных собраниях, на встречах с любимыми писателями — повторял свою неизменную истину: «А Воробьев стекло не выбивал!» Сперва на него сердились, с ним спорили. Потом привыкли и стали воспринимать его слова как шутку.

Прошли годы. Уже давно ребята из нашего класса перестали бить стекла. А самый главный стеклобой Воробьев отпустил усы — жиденькие, рыжие усишки — и очень гордился ими. Холил и лелеял... Наступил выпускной вечер. Все пришли в школу нарядные, возбужденные. Очень шумели, чтобы заглушить грусть. Все произносили речи, как взрослые. Учителя тайком смахивали с глаз слезу и говорили, что лучше нас не было и не будет. И вот тогда «среди шумного бала» неожиданно поднялся наш Марк Порций Катон Старший и сказал:

— А Воробьев стекло не выбивал!

Все засмеялись, решили, что теперь-то это шутка. И ждали, что наш римлянин тоже засмеется. Но на его лице не было лучиков смеха: глаза смотрели напряженно, а сам он был очень серьезен. И все почувствовали, что он не шутит. На прощальном вечере у него оставалась последняя возможность доказать свою чудаковатую правоту.

— Честное слово... не выбивал...

Его голос дрогнул. Пальцы на руках задвигались: он пытался сжать их в кулак, а они, как на пружинках, распрямлялись. Ребята притихли, а наш маленький директор с розовой безволосой головой спросил:

— Послушай, Семин, чего ты добиваешься?

— Правды, — сказал Семин.

— Это было так давно...

— У правды не выходит срок.

— Но правда эта выеденного яйца не стоит. Маленькая правда.

Мой друг твердо посмотрел в лицо директору и сказал:

— Правда не бывает маленькой. Правда всегда большая. Меня так дома учили. Стоит один раз изменить правде, и тогда уже не остановишься... Воробьев стекло не выбивал!

И тогда поднялся Воробьев и, прикрывая усы ладонью, словно стесняясь их, сказал:

— Не выбивал. Я в тот день в футбол гонял на соседнем дворе. А в школе меня не было.

— Кто же выбил злосчастное стекло? — вырвалось у директора.

— Если по правде, то я, — сказал длинный парень, за свой рост прозванный «Верстой».

Так закончилась эта малозаметная история. Но все собравшиеся в актовом зале вдруг почувствовали облегчение, словно после тяжелого знойного дня припали губами к холодному роднику.

Вы когда-нибудь стояли под окнами музыкального училища на мокром асфальте, в котором отражается свет больших прямоугольных окон? Идет невидимый мелкий дождь. Торопливо шагают люди. Возникают и сразу же растворяются в сырой тьме огни машин. А из освещенных праздничных окон музыкального училища доносятся приглушенные звуки разных инструментов, и дом похож на оркестр, который настраивается перед концертом.

Не спешите уходить. Не обращайтесь внимания на дождь. Сейчас что-то случится. Может быть, распахнутся окна, и вы увидите множество ребят с трубами, флейтами, барабанами. Или раскроются двери, и на дождь выйдет большой оркестр. Он пойдет через город, и сразу станет безразлично, что льет дождь и что под ногами лужи. А вы прибавьте шагу, чтобы не отстать от поющих труб и скрипок.

Мальчик шел из булочной, а хлеб спрятал от дождя под



пальто. Хлеб был теплый, он приятно грел. Словно за паузой был не обычный черный кирпичик, а живое существо.

На улице было скверно. Люди мечтали поскорее добраться до крыши, очутиться на сухом месте. А он разгуливал под окнами музыкального училища. И хлеб грел его.

У каждого окна свой голос, своя жизнь. Мальчик услышал звук, похожий на одышку. Кто-то играл на большой басовой трубе. В соседнем окне звучала неторопливая гамма: маленькая робкая рука как бы взбиралась по лесенке. Рядом ревел баян. Он растягивал ноты, словно они были на пружинах, а потом резко отпускал их.

Мальчик прошел мимо трубы, мимо рояля. Не заинтересовал его и баян. Он искал скрипку. И нашел ее. Она звучала в окне второго этажа. Он прислушался. Скрипка плакала и смеялась, она летала по небу и устало брела по земле. Все окна как бы умолкли и погасли. Светилось только одно. Мальчик стоял под ним, а дождь тек за воротник.

Неожиданно кто-то положил ему руку на плечо. Он вздрогнул и обернулся. На тротуаре стояла круглолицая девочка с двумя короткими толстыми косичками. В руке девочка держала огромный виолончельный футляр. Он был мокрый и блестел.

— Опять ждешь? — спокойно спросила девочка.

Ее голос заглушил скрипку. Мальчик недовольно поморщился и пробурчал:

— Никого я не жду.

— Неправда, — не отступала девочка, — чего ради стоять на дожде, если никого не ждешь.

— Я ходил за хлебом, — ответил мальчик, — вот видишь... хлеб.

Девочка не обратила внимания на хлеб. Она сказала:

— Ты ждешь Диану.

— Нет!

В его голосе прозвучало отчаяние. Но круглолицая стояла на своем.

— Ты всегда ждешь Диану.

Большой черный футляр от виолончели показался ему уродливым чемоданом. Ему захотелось вырвать его из рук круглолицей и бросить в лужу. Но девочка вовремя замолчала. Он не знал, что делать, и трогал рукой теплый хлеб.

— Пойдем, — сказала девочка. — Что мокнуть.

Ему ничего не оставалось, как пойти рядом с ней. Ярко освещенный дом музыкального училища растворился в дожде. Через несколько шагов девочка протянула ему виолончель:

— Понеси. А то тяжело.

Он взял в руку этот большой нескладный предмет с чемоданной ручкой и почувствовал себя удивительно неловко. Казалось, весь город знает, что ему хочется нести скрипку, а он несет виолончель. С непривычки нести виолончель было не так-то просто: она била по ногам, задевала за водосточные трубы. И его спутница вскрикивала:

— Ой, осторожно! Инструмент стоит кучу денег!

Потом она сказала:

— Я часто вижу тебя около музыкального училища.

— Я хожу за хлебом, — ответил мальчик.

— Ну да, — согласилась девочка.

Она уже не вспоминала о Диане.

— Знаешь что, — предложила она, — пойдем ко мне. Я сыграю тебе ноктюрн. Мы будем пить чай.

Он ничего не ответил. Он вдруг подумал, как было бы хорошо, если бы вместо этой круглолицей рядом была Диана. И если бы она сказала: «Я сыграю тебе ноктюрн. Мы будем пить чай».

Он бы нес ее скрипку, как пушинку, даже если бы она весила побольше, чем виолончель. Он бы с радостью слушал скучный ноктюрн и пил бы чай. А с этой круглолицей ему ничего не хотелось. Как странно, что с одними людьми всего хочется, а с другими ничего не надо.

- Так пойдем ко мне? — робко повторила девочка.
- Все равно, — сказал он.
- Вот и хорошо!

Она улыбнулась, и лицо ее стало еще круглее.

Дождь не проходил. Он обволакивал фонари, здания, силуэты деревьев. Все предметы теряли форму, расплывались. Город обмяк от дождя.

А почему он должен стоять под окнами музыкального училища и ждать Диану? Она пробегает мимо легко и свободно, словно никто не стоит под окнами и не ждет ее. Ей все равно, стоит он или не стоит. Есть он или его нет. Она стучит каблучками по камням. А эта круглолицая сама заговаривает, и не убегает, а зовет его слушать ноктюрн и пить чай. Доверяет ему виолончель, которая стоит кучу денег.

Он вдруг подобрел. Ему захотелось сказать своей спутнице что-то приятное. Нельзя же все время дуться.

- Хочешь хлеба... теплого? — спросил он.

Она кивнула головой.

Он полез за пазуху и отломил кусок хлеба. Хлеб остыл, но был мягким.

- Как вкусно! — сказала она.

Он был доволен, что ей понравился хлеб.

- Ты любишь музыку? — спросила девочка.

Он покачал головой.

— Это твой большой недостаток, — подчеркнула она, — но ничего. Я научу тебя любить музыку. Идет?

- Идет!

Все складывалось очень хорошо. Круглолицая уже не казалась ему такой круглолицей и вообще была славная девчонка. Не задавай, а такой как надо. Она уводила его от нудного дождя, от недоступной скрипки, от холодной Дианы. Больше он не будет искать окно со скрипкой, а будет прислушиваться к голосу виолончели. Надо только лучше запомнить, какой у нее голос.

— Ты хороший парень... — как бы невзначай сказала его спутница.

И он тут же согласился с ней.

Он согласился с ней и вдруг как бы запнулся. Ему показалось, что это не он шагает по дождю с большой тяжелой виолончелью, а кто-то другой. И этот другой не имеет никакого отношения к неприступному зданию музыкального училища, к его таинственной жизни, к ярким окнам, у которых свои разные голоса. Все пропало. И его самого уже нет...

В следующее мгновение он остановился. Он поставил большой черный футляр на мокрый асфальт и прислонил его к стене дома. Футляр стал похож на черную ящерицу с длинной шеей и маленькой головкой.

Потом он крикнул:

- Пока!

И побежал.

— Куда ты?.. А как же ноктюрн? — крикнула ему вслед круглолицая девочка.

Но он не оглянулся и ничего не ответил. Он бежал обратно к музыкальному училищу, к скрипке, к самому себе.



УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ



а здравствует Дубровник — древний город, стоящий лицом к морю, спиной к горам. Да здравствуют его непрошибаемые крепостные стены светлого камня, каменные мостовые и полы в домах — тоже каменные. Фонари на цепях, кованные запоры, ржавые летли и античный фонтан для питья, похожий на железную карусель. И оцинкованные флюгерки, сидящие на трубах, как голуби. И просто голуби-сизари, живущие в закоптелых бойницах. Да здравствуют якоря с потонувших кораблей, лениво развалившиеся на причале — лапастые, с чугунной серьгой в единственном ухе. И подъемный мост с противовесами — гирляндами шаров мал мала меньше. И пушка, подавившаяся в бою собственным ядром.

Мы — туристы. Всюду суем нос. За страдания сбитых, гудящих ног, за недосыпание, за голод после завтрака — булочка, джем, кофе — мы требуем вознаграждения. Мы

заглядываем в окна — как живут дубровяне? Рассматриваем сохнувшее белье — что они носят на теле? Ловим носами запахи дубровниковских кухонь — что они едят? И пьем соки из гида: а? что? почему? в каком году? при каком короле? из чего? для чего? зачем?

Наш гид с непривычки — он военный, недавно вышедший в отставку, — обалдевает от вопросов. Он ищет спасения и ведет нас по улочке, под углом 45 градусов, в гору. Его хитрость заключается в том, что от одышки трудно задавать вопросы. Но он не учитывает, что отвечать еще труднее. Идем по узкой галерее, сворачиваем влево. Попадаем в тупик. С трудом выбираемся из него. И нам в глаза ударяет оглушающая голубизна — окно в море. Квадраты лазури вправлены в ржавую решетку. Мы сразу забываем «зачем?» и «для чего?», «когда?» и «кто?». Мы дышим чистой голубиной и чувствуем, как она разливается по жилам. Мы молдеем, легчаем. И камень вокруг нас легчает. Вырастает дубрава — по-хорватски дуброва, — листья у дубов голубые, а шум их — морской.

— Трах-тах-тах! Бух! Бух!

Я оглядываюсь. В узкой улочке — стайка ребят. В руках деревянные ружья. Один мальчик в очках, с толстой книжкой под мышкой.

— Бах! Бах! Бах!

Воинственная стайка приближается.

Спрашиваю:

— Кто такие?

Отвечают:

— Партизаны!

Слово «партизаны» звучит по-хорватски так же, как по-русски.

Киваю на мальчика с книгой:

— А он?

Отвечают:

— Учитель истории.

Мальчишки вопросительно смотрят на меня: что я спрошу еще? Я не знаю, что спросить, и медленно говорю:

— Мы из Москвы. И среди нас тоже есть учитель истории.

Я пытаюсь подозвать нашего учителя, но он не отзывается. Затерялся в лабиринте древнего Дубровника. И «партизаны» тоже исчезают. Улочка пустеет.

Наш учитель истории, Иосиф Ионович, как галерный раб, прикован к кинокамере. Кинокамера мучает своего раба: заставляет его, прихрамывающего, взбираться на скалы, подсовываться под водопады, бегать, прыгать, приседать. При этом в его глазах загорается несерьезный огонек мальчишеского азарта, который не могут скрыть даже растущие кустами брови.

Я на минутку представил себе наших ребят, играющих в Иосифа Ионовича. И рассмеялся. Один. В пустой улочке.

Наш гид Рада мучительно искал средство отдохнуть от туристов и надумал привести нас в большой аквариум, разместившийся в подвале морского музея. Мы увлеклись рыбами и сразу забыли о «партизанах». Я никогда не видел плавающего ската, а он похож на подводную птицу, помехивающую большими эластичными крыльями. Он моргал поразительными глазами — не рыбьими и не птичьими, скорее — человеческими. В них застыла какая-то таинственная мысль. В глубоком бассейне, на дне, лежала черепаха. Огромный осенний лист: голова — черенок, рисунок на панцире — прожилки. С какого дерева занесло сюда этот лист? Почему от одинокой черепахи веет печалью? Панцирь спасает ее от солнца, от зубов хищников, от ударов, но не может спасти от одиночества...

И тут я почувствовал взгляд, сверлящий меня в спину, и оглянулся. У стены стояли «партизаны». Их, видимо, не интересовали ни скаты, ни другие рыбы. Они смотрели на нас. Молча. Не решаясь заговорить. Не «открывая огня». Что-то притягивало к нам дубровниковских ребят.

Потом они появились в храме, куда не попадал мистраль — теплый ветер с моря, и поэтому было прохладно.

Последний раз мы их видели на подъемном мосту. Я помахал им рукой. Они приветственно подняли над головой оружие. А мальчик в очках поднял книгу.

...Гостиница, в которой мы остановились, называлась «Лапот». Мы тут же переименовали ее в «Лапоть». Лапот на берегу Адриатического моря! В нескольких шагах от «Лаптя», за углом, был обнаружен маленький винный погребок. Три ступеньки вниз — и соленый дух моря сразу перебивался другим духом, таинственным и терпким, исходящим от потемневших дубовых бочек. Здесь хозяйничал бронзоволикий пожилой человек, который наливал вино с бескорыстным радушием и получал с нас деньги с заметным смущением, как бы извиняясь.

Вино было легким и прохладным. Оно не пробуждало безудержного веселья, а настраивало на элегический лад и служило нам и хозяину погребка переводчиком. Он оказался бывшим партизаном. Участвовал в битве на Неретве. И звали его совсем по-русски — Данила. Данила поддерживал беседу, а сам не забывал о своих обязанностях: подходил то к одной бочке, то к другой. У содержимого каждой бочки был свой вкус, свой цвет, свой запах. Улучив момент, я спросил Данилу о таинственных «партизанах» старого Дубровника.

— Ах, эти полетарцы! — воскликнул он. («Полетарцы» — по-хорватски «птенцы»). — Эти полетарцы всегда играют в партизан. В кого же им еще играть?

— Но один из них, — заметил я, — был учителем истории.

— И в Учителя истории тоже играют, — сказал Данила, и вдруг веселье в его глазах стало угасать. Глаза похолодели. — Вы слышали про Крагуевац? Там за одну ночь фашисты расстреляли семь тысяч мирных жителей. Половина расстрелянных были школьники. Там теперь стоит

памятник. Большая римская пятерка из бетона. Дети прозвали эту пятерку — памятник пятому классу... Так вот, там был учитель истории.

Разговоры моих спутников как-то сами по себе пошли на убыль. Все стали прислушиваться к рассказу Данилы. Все придвинулись к стойке, за которой он стоял, как за кафедрой. Кто-то отпил из стакана, и глоток прозвучал как выстрел.

— Так вот. Учитель истории возвращался под вечер в Крагуевац. И немецкое охранение задержало его. То ли немцы пожалели его, то ли не хотели с ним возиться. Но ему сказали: «Уноси ноги. Там тебе будет нехорошо!» — «Там мои ученики!» — возразил Учитель. «Их скоро не будет. Ни одного! Уходи!» Упрямый Учитель продолжал стоять на своем: «Я учил их. Я должен быть с ними!» Он так надоел немцам, что они решили: черт с ним, если ему хочется умереть, пусть идет!

Он боялся опоздать и всю дорогу бежал, и когда попал в Крагуевац, то еле держался на ногах. А там уже сгоняли людей в колонну. И кричали: «Шнеллер, шнеллер!» И слышался плач детей. Он был учителем в пятом классе. Он отыскал свой класс. Собрал всех своих учеников. И они построились парами, как строились, когда шли на урок. И к пятому классу пристроилось еще много детей, потому что когда рядом учитель, не так страшно.

«Дети, — сказал Учитель, — я учил вас истории. Я рассказывал вам, как умирали за Родину настоящие люди. Теперь пришел наш черед. Не плачьте! Поднимите голову выше! Идемте! Начинается ваш последний урок «истории».

И пятый класс пошел за своим Учителем.

Вино стало горьким. Мне захотелось немедленно отправиться в город-крепость, где сейчас тускло горели фонари, висящие на цепях, и ставни были закрыты. Мне хоте-

лось отыскать знакомый «партизанский отряд» и поговорить с «Учителем истории». Он был необходим отряду, как подрывник, автоматчик, гранометчик. Без него война не война. Но, вероятно, в этот час маленький «Учитель истории» спал вместе с остальными «бойцами», отправленными мамами в постель.

А утром мы двинулись дальше. В Сплит.

Автобус мчался вперед по изрезанному скалистому берегу Адриатического моря, огибая бухты, фьорды, лиманы. И слева — со стороны моря — стекла автобуса были устойчиво голубыми.

В пути ко мне подошел Иосиф Ионович и спросил, не запомнил ли я имя Учителя истории из Крагуевац. Но партизан Данила вообще не называл его имени.

— Жаль, — сказал наш учитель, — ведь его судьба очень схожа с судьбой Януша Корчака. Надо бы узнать его имя.

Но до конца путешествия так и не удалось узнать имя учителя пятого класса. Все называли его просто Учителем истории.

Вперед, туристы! Ни минуты отдыха! Неужели вы завалитесь спать, не посмотрев дворец римского императора Диоклетиана! Говорят, сохранились сфинксы (по-хорватски — сфинги) Рамзеса Третьего. Мы бросаем чемоданы.

И вдруг!

— Трах! Трах! Тах! Ба-бах!

Стайка мальчишек с деревянными ружьями. Добрень! Здравствуйте! Неужели наши дубровниковские знакомые примчались за нами, проделав путь в четыреста километров? И лица такие же. И потертые шорты. И ружья. Но главное — среди них неизменный Учитель истории: в очках, с толстой книгой под мышкой.

И все повторилось:

— Кто такие?

— Партизаны!

— А он?

— Учитель истории.

— А мы из Москвы. И среди нас тоже есть учитель истории...

И опять кинокамера увела своего раба по узким улочкам. И опять в нужный момент.

Отыскать дворец Диоклетиана оказалось не так-то просто, хотя, по описанию, он стоял на берегу моря. Остов разрушенного дворца оброс множеством домов, домишек, закутков — множеством семейных очагов. А внутренний двор заняло кафе.

Здесь-то под вечер мы и стали гостями местного фотографа. Сперва он просто подсел к нам и долго прислушивался к нашему разговору. Потом ушел и появился с несколькими бутылками вина. Он почти не говорил, только подливал нам вино и пожимал руки. На одном глазу у него была черная повязка.

И вдруг его прорвало. Он заговорил:

— Я фотограф. Моя фамилия — Лукич. Я снимаю на открытки и делаю семейные портреты. Для моей работы хватает одного глаза. Но с одним глазом можно не только фотографировать... У фотографа много общего со снайпером... Пейте, пожалуйста. Это долматское вино. Довольно неплохое... Я брал фашиста на мушку и шептал ему, как ребенку: «Сейчас вылетит птичка...» И птичка вылетала и в своем клюве уносила еще одну душу фашиста... Понравилось вам вино? Отправлять людей на тот свет не такое уж приятное занятие... Вам не нравится мое вино? Нет, нет, раз вы не пьете, я принесу вам бутылочку такого...

Он подмигнул единственным глазом и затрусил к своему ателье.

Я оглянулся. За моей спиной стояли «партизаны».

«Учитель истории» забрался на спину древнему «фингу». Я сразу узнал его по очкам и толстой книге.

Они исчезли на улочке под названием «Подожди, я первый». На этой улочке не могли разойтись два человека.

Утром мы лежали на камнях, грелись после купания. Кожа была соленой. Перед нами, на уровне глаз, полыхала живая голубизна, словно на дне моря лежало лазурное небо, без единого облачка.

И снова появились «партизаны». На этот раз они не стали прятаться, а двинулись прямо на нас, бесцеремонно перешагивая через наши ноги, внимательно оглядывая каждого из нас. Они остановились перед Иосифом Ионовичем.

— Он?

— Он.

— Лепо!

Я поднялся и стал наблюдать за ребятами. И за Иосифом Ионовичем, который сидел и улыбался ребятам. Как они нашли среди нас учителя истории? Я терялся в догадках, пока не заметил на ногах у Иосифа Ионовича старых шрамов, привезенных с войны. Они узнали его по шрамам. Они рассудили точно, что если среди нас есть учитель истории, так это тот, у кого шрамы...

Высокий черноволосый мальчик — наверно, он был у них командиром — указал на глубокий шрам и спросил:

— Это?

Иосиф Ионович сперва не понял, чего хотят от него ребята. Потом смекнул, смутился, и его глаза совсем пропали в бровях-кустах.

— Это... Я был командиром взвода. Под Волоколамском. Мы брали деревню. Я побежал первым, а немцы дали очередь с фланга... Смешно получилось. Я бегу, а очередь с фланга... Три пули... Думал, не сохраню ногу.

— Это? — мальчик-командир указал на другую отметину.

— Мина... Под Псковом был сильный минометный огонь... Каждому досталось. Но это ничего — быстро зажило.

— Это?

— Сущая ерунда, — Иосиф Ионович махнул рукой. — Пуля только задела. Санинструктор помазал йодом. И все.

Ребята переминались с ноги на ногу. «Командир» спросил:

— Болит?

Наш учитель ответил не сразу: не знал — отделаться шуткой или сказать как есть. Его глаза выглянули из кустов. Он сказал:

— Болит сердце... А это не болит... Ломит перед дождем...

Ребята молча стояли перед ним. Они не удивлялись. Все было так, как должно быть. Учитель должен первым делать то, чему он учит своих учеников. Должен бежать вперед, даже если с фланга бьет пулемет и свистят осколки мин...

Мальчик в очках и с книгой долго рассматривал Иосифа Ионовича и незаметно двумя пальцами лохматил свои жиденькие белесые брови. Глаза маленького «Учителя истории» горели, грудь поднималась и опускалась. И весь он был напряжен, словно готовился к прыжку или к отчаянному поступку, который ему предстояло совершить. Его очки были сделаны из проволоки. Под мышкой он держал старую телефонную книгу.



ДЕВОЧКИ С ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА

Умерли все. Осталась одна Таня.

Из дневника Тани Савичевой.

Ленинград, 1942 год.



Валя Зайцева с Васильевского острова. У меня под кроватью живет хомячок. Набьет полные щеки, про запас, сядет на задние лапы и смотрит черными пуговками... Вчера я отдубасила одного мальчишку. Отвесила ему хорошего лебца. Мы, василеостровские девчонки, умеем постоять за себя, когда надо... У нас на Васильевском всегда ветрено. Сечет дождь. Сыплет мокрый снег. Случаются наводнения. И плывет наш остров, как корабль: слева — Нева, справа — Невка, впереди — открытое море.

У меня есть подружка — Таня Савичева. Мы с ней соседки. Она со Второй линии, дом 13. Четыре окна на первом этаже. Рядом булочная, в подвале керосиновая лавка... Сейчас лавки нет, но в Танино время, когда меня еще не было на свете, на первом этаже всегда пахло керосином. Мне рассказывали.

Тане Савичевой было столько же лет, сколько мне теперь. Она могла бы давно уже вырасти, стать учительницей, но навсегда осталась девчонкой... Когда бабушка посылала Таню за керосином, меня не было. И в Румянцевский сад она ходила с другой подружкой. Но я все про нее знаю. Мне рассказывали.

Она была певуньей. Всегда пела. Ей хотелось декламировать стихи, но она спотыкалась на словах: споткнется, а все думают, что она забыла нужное слово. Моя подружка пела потому, что когда поешь, не заикаешься. Ей нельзя было заикаться, она собиралась стать учительницей, как Линда Августовна.

Она всегда играла в учительницу. Наденет на плечи большой бабушкин платок, сложит руки замком и ходит из угла в угол. «Дети, сегодня мы займемся с вами повторением...» И тут споткнется на слове, покраснеет и повернется к стене, хотя в комнате — никого.

Говорят, есть врачи, которые лечат от заикания. Я нашла бы такого. Мы, василеостровские девчонки, кого хочешь найдем! Но теперь врач уже не нужен. Она осталась там... моя подружка Таня Савичева. Ее везли из осажденного Ленинграда на Большую землю, и дорога, названная Дорогой жизни, не смогла подарить Тане жизнь. Девочка умерла от голода... Не все ли равно отчего умирать — от голода или от пули. Может быть, от голода еще больше...

Я решила отыскать Дорогу жизни. Поехала на Ржевку, где начинается эта дорога. Прошла два с половиной километра — там ребята строили памятник детям, погибшим в блокаду. Я тоже захотела строить.

Какие-то взрослые спросили меня:

— Ты кто такая?

— Я Валя Зайцева с Васильевского острова. Я тоже хочу строить.

Мне сказали:

— Нельзя! Приходи со своим районом.

Я не ушла. Осмотрелась и увидела малыша, головастика. Я ухватилась за него:

— Он тоже пришел со своим районом?

— Он пришел с братом.

С братом можно. С районом можно. А как же быть одной? Я сказала им:

— Понимаете, я ведь не так просто хочу строить.

Я хочу строить своей подружке... Тане Савичевой.

Они выкатили глаза. Не поверили. Переспросили:

— Таня Савичева твоя подружка?

— А чего здесь особенного? Мы одноклассники. Обе с Васильевского острова.

— Но ее же нет...

До чего бестолковые люди, а еще взрослые! Что значит «нет», если мы дружим? Я сказала, чтобы они поняли:

— У нас все общее. И улица, и школа. У нас есть хомечок. Он набьет щеки...

Я заметила, что они не верят мне. И чтобы они поверили, выпалила:

— У нас даже почерк одинаковый!

— Почерк? — Они удивились еще больше.

— А что? Почерк!

Неожиданно они повеселели, от почерка:

— Это очень хорошо! Это прямо находка. Поедем с нами.

— Никуда я не поеду. Я хочу строить...

— Ты будешь строить! Ты будешь для памятника писать Таниным почерком.

— Могу, — согласилась я. — Только у меня нет карандаша. Дадите?

— Ты будешь писать на бетоне. На бетоне не пишут карандашом.

Я никогда не писала на бетоне. Я писала на стенках, на асфальте, но они привезли меня на бетонный завод и дали

Танин дневник — записную книжку с алфавитом: а, б, в... У меня есть такая же книжка. За сорок копеек.

Я взяла в руки Танин дневник и открыла страничку. Там было написано:

«Женя умерла 28 дек. 12.30 час. утра 1941 г.».

Мне стало холодно. Я захотела отдать им книжку и уйти.

Но я василеостровская. И если у подружки умерла старшая сестра, я должна остаться с ней, а не удирать.

— Давайте ваш бетон. Буду писать.

Кран опустил к моим ногам огромную раму с густым серым тестом. Я взяла палочку, присела на корточки и стала писать. От бетона веяло холодом. Писать было трудно. И мне говорили:

— Не торопись.

Я делала ошибки, заглаживала бетон ладонью и писала снова. У меня плохо получалось.

— Не торопись. Пиши спокойно.

«Бабушка умерла 25 янв. 3 ч. дня 1942 г.».

Пока я писала про Женю, умерла бабушка.

Если просто хочешь есть, это не голод — поешь часом позже. Я пробовала голодать с утра до вечера. Вытерпела. Голод — когда изо дня в день голодает голова, руки, сердце — все, что у тебя есть, голодает. Сперва голодает, потом умирает.

«Лека умер 17 марта в 5 часов утра 1942 г.».

У Леки был свой угол, отгороженный шкафами, он там чертил. Зарабатывал деньги черчением и учился. Он был тихий и близорукий, в очках, и все скрипел у себя своим рейсфедером. Мне рассказывали. Где он умер? Наверное, на кухне, где маленьким слабым паровозиком дымил «буржуйка», где спали, раз в день ели хлеб. Маленький кусочек, как лекарство от смерти. Леке не хватило лекарства...

— Пиши, — тихо сказали мне.

В новой раме бетон был жидкий, он напелзал на буквы. И слово «умер» исчезло. Мне не хотелось писать его снова. Но мне сказали:

— Пиши, Валя Зайцева, пиши.

И я снова написала — «умер».

«Дядя Вася умер 13 апр. 2 ч. ночь 1942 г.».

«Дядя Лёша 10 мая в 4 ч. дня 1942 г.».

Я очень устала писать слово «умер». Я знала, что с каждой страничкой дневника Тане Савичевой становилось все хуже. Она давно перестала петь и не замечала, что заикается. Она уже не играла в учительницу. Но не сдавалась — жила. Мне рассказывали... Наступила весна. Зазеленели деревья. У нас на Васильевском много деревьев. Таня высохла, вымерзла, стала тоненькой и легкой. У нее дрожали руки и от солнца болели глаза. Фашисты убили половину Тани Савичевой, а может быть, больше половины. Но с ней была мама, и Таня держалась.

— Что же ты не пишешь? — тихо сказали мне. — Пиши, Валя Зайцева, а то застынет бетон.

Я долго не решалась открыть страничку на букву «М». На этой страничке Таниной рукой было написано: «Мама 13 мая в 7.30 час. утра 1942 года». Таня не написала слово «умерла». У нее не хватило сил написать это слово.

Я крепко сжала палочку и коснулась бетона. Не заглядывала в дневник, а писала наизусть. Хорошо, что почерк у нас одинаковый. Я писала изо всех сил. Бетон стал густым, почти застыл. Он уже не напелзал на буквы.

— Можешь еще писать?

— Я допишу, — ответила я и отвернулась, чтобы не видели моих глаз. — Ведь Таня Савичева моя... подружка.

Мы с Таней одногодки, мы, василеостровские девчонки, умеем постоять за себя, когда надо. Не будь она василеостровской, ленинградской, не продержалась бы так долго. Но она жила — значит, не сдавалась!

Открыла страничку «С». Там было два слова: «Сави-

чевы умерли». Открыла страничку «У» — «Умерли все». Последняя страничка дневника Тани Савичевой была на букву «О» — «Осталась одна Таня».

И я представила себе, что это я, Валя Зайцева, осталась одна: без мамы, без папы, без сестренки Люльки. Голодная. Под обстрелом. В пустой квартире на Второй линии. Я захотела зачеркнуть эту последнюю страницу, но бетон затвердел, и палочка сломалась.

И вдруг про себя я спросила Таню Савичеву: «Почему одна? А я? У тебя же есть подруга — Валя Зайцева, твоя соседка с Васильевского острова. Мы пойдем с тобой в Румянцевский сад, побегаем, а когда надоест, я принесу из дома бабушкин платок, и мы сыграем в учительницу Линду Августовну. У меня под кроватью живет хомячок. Я подарю его тебе на день рождения. Слышишь, Таня Савичева?»

Кто-то положил мне руку на плечо и сказал:

— Пойдем, Валя Зайцева. Ты сделала все, что нужно. Спасибо.

Я не поняла, за что мне говорят «спасибо». Я сказала:

— Приду завтра... без своего района. Можно?

— Приходи без района, — сказали мне. — Приходи.

Моя подруга Таня Савичева не стреляла в фашистов и не была разведчиком у партизан. Она просто жила в родном городе в самое трудное время. Но может быть, фашисты потому и не вошли в Ленинград, что в нем жила Таня Савичева и жили еще много других девчонок и мальчишек, которые так навсегда и остались в своем времени. И с ними дружат сегодняшние ребята, как я дружу с Таней. А дружат ведь только с живыми.

...И плывет наш остров, как корабль: слева — Нева, справа — Невка, впереди — открытое море.



Хмурым утром в дверях школы появился незнакомец странного вида. Невысокого роста, большоголовый. В черных спутанных волосах тусклым солнышком проглядывала лысина. Усы не росли, а беспорядочно лезли из кожи вон, и в них торчала погасшая трубка. Темные глаза навывкате сверкали запоздалым озорством. Если бы ему на плечи накиннули расшитый серебром гусарский ментик, на голову водрузили кивер и к португее пристегнули саблю, он превратился бы в Дениса Давыдова. Даже полосатый пиджак, застегнутый на все пуговицы, и потертые брюки, заправленные в высокие сапоги, не могли уменьшить удивительного сходства незнакомца с гусарским поэтом.

Он взбежал по лестнице, цокая, как шпорами, подковками сапог, распахнул дверь канцелярии, и в комнате резко запахло табаком.

— Мне нужен директор!

Секретарша — плосколицая, с нарисованными бровями — перестала печатать на машинке.

— Как о вас сказать?

— Пришел Бамбус!

Странное имя прозвучало как удар барабана. Нарисованные брови болезненно надломились.

— Как-как?

— Бамбус! — раздался новый удар барабана. — Разве не понятно?

— Понятно, — пролепетала секретарша и быстро проскользнула в кабинет директора.

Директор был не один. Перед ним, размазывая по щекам слезы, стояли двое мальчишек. У одного — с губой, вздернутой домиком, — рукав был оторван и держался на одной нитке. У другого — с распухшим носом — рыжие волосы торчали на голове ржавыми гвоздиками. Пять минут назад мальчишки дрались, но, приведенные с поля боя к директору, враги превратились в товарищей по несчастью и держались друг друга.

— Вас спрашивает какой-то странный... Бимбус, — шепотом сказала секретарша, входя в кабинет.

— Не Бимбус, а Бамбус! — поправил ее директор. — Да где же он?

А незнакомец уже стоял в дверях, глубоко запустив руки в карманы пиджака и разглядывая директора выпуклыми глазами.

— Бамбус! — крикнул директор и отодвинул кресло.

— Чевока! — откликнулся нежданный гость и загромыхал сапожищами.

— Ха-ха!

— Хе-хе!

И хотя директор был на голову выше пришельца и шире его в плечах, возбуждение нечаянной встречи как бы уравнило их.

— Старее пятый «Б», — сказал Бамбус.

— А мы давно тебя числим пропавшим без вести. Где ты бродяжничаешь?

— Живу в избушке на курьих ножках.

— Работаешь?

— Предсказателем.

Два заплаканных драчуна удивленно переглянулись и уставились на незнакомца. А директор усмехнулся и спросил:

— Предсказываешь дожди и грозы?

— Землетрясения, — отрубил Бамбус и принялся раскуривать трубочку. — А живу я на Краю Света.

— Почтовый-то адрес у твоей избушки есть?

— Запиши. Остров Шикотан. Мыс Край Света. Представляешь, где?

Директор пожал плечами.

— Ты вообще никогда не блистал по географии! Хе-хе! — Глаза Бамбуса озорно засверкали. — О Тихом океане слышал? Так там есть такие Курильские острова... Садовая голова!

Два заплаканных драчуна чуть не прыснули от смеха.

— Ладно, ладно, ты не очень. Кто спал в шкафу на уроках? — Директор перешел было в наступление, но спохватился, что, кроме него и Бамбуса, в кабинете стоят два разрушителя порядка, и скомандовал им: — Марш отсюда!

«Губа домиком» и «Ржавые гвоздики» моментально исчезли: появление предсказателя землетрясений избавило их от неприятностей.

Очутившись за дверью, они долго ходили по пустым коридорам и смеялись, с удовольствием передразнивая директора и его друга:

— Бамбус! Ха-ха!

— Чевока! Хе-хе!

Тем временем в директорском кабинете было уже много сказано и много вспомнуто. А Бамбус, пуская клубы дыма, сновал из угла в угол, как маневровый паровозик.

— В пятом классе у нас была учительница пения, — говорил Бамбус.

И его друг Чевока подтверждал:

— Была, конечно.

— Припоминаешь, как ее звали?

— Мы ее называли Певица Тра-ля-ля.

— Правильно! — Паровозик остановился и перестал пускать дым. — У нее был воинственный вздернутый нос, а когда она пела, то нос поднимался еще выше. Ты не знаешь, где она?

— Зачем она тебе понадобилась? — спросил Чевока.

— Понадобилась, — уклончиво ответил Бамбус. — У нас в пионерском отряде не было горна, так она где-то раздобыла старый почтовый рожек.

— Тебя рожек интересует? — усмехнулся Чевока.

— Не в рожке дело... А где теперь наша Валюся?

— Работает в больнице.

Когда, изрядно надымив, Бамбус расстался со своим школьным товарищем, за углом его поджидали «Губа домиком» и «Ржавые гвоздики». Они пропустили его вперед и дружно крикнули вслед:

— Бамбус! Бам-бус!

И убежали.

Часом позже в больнице раздался странный телефонный звонок. Какой-то Бамбус спрашивал какую-то Валюсю.

— Это больница! — в третий раз кричала в трубку старая нянечка.

Но Бамбус настойчиво продолжал требовать Валюсю, и растерянная старушка отправилась к дежурному врачу. К ее великому удивлению, Валентина Ивановна спорхнула с белого кресла и бросилась к телефону.

— Бамбус! Здравствуй, Бамбус! Откуда ты? С края света? Я так и думала, что тебя занесет на край света. А я когда-то была в тебя влюблена...

При слове «влюблена» нянечка залилась краской и скрылась в дальнем конце коридора.

В этот же день дежурный по штабу артиллерийского училища докладывал майору Коржикову, что у аппарата его ждет какой-то Бамбус, вероятно из цирка, и что он, шутник, непочтительно величает товарища майора «Коржиком».

Майор не вспыхнул, а прижал трубку к уху и, хмыкнув, произнес:

— Коржик слушает!

Дежурный по штабу тут же решил, что когда-то, до армии, майор тоже служил в цирке вместе с этим Бамбусом. Он окончательно уверился в этом, когда речь зашла о какой-то певице Тра-ля-ля.

Еще Бамбус звонил в детский сад, на швейную фабрику, в порт. И всюду короткое духовое слово «Бамбус» звучало как пароль, открывающий доступ в далекий пятый класс «Б», куда без этого пароля никого не пускали...

И каждый раз предсказатель землетрясений спрашивал:

— Не помнишь, у нас была учительница... Певица Тра-ля-ля?

Никто не встречал ее. Никто не знал, где она живет и жива ли она вообще.

Только один раз ему удалось продвинуться в своих поисках. Бывшая староста пятого «Б» Нина Лебедева как-то видела учительницу пения в Музее музыкальных инструментов, но это было давно, да и Певица Тра-ля-ля не узнала ее.

На другой день утром Бамбус пришел в Музей музыкальных инструментов. И сразу очутился в мире скрипок и гитар, сазов и волюнок, труб и роялей, в мире старинных виол, лютен, змеевидных серпентов и бочкообразных тамбуринов. Стараясь не очень громыхать своими сапожищами, он шел из зала в зал, приглядываясь к зрителям и

экскурсантам. Иногда он задерживался у витрины и разглядывал какой-нибудь диковинный инструмент. По душе ему пришлось флейта-жалейка, которую безвестный па-стух смастерил из бересты и коровьего рога. Вот бы раздобыть такую дудочку, и будет она всегда жалеть и утешать. Недаром ее называли жалейкой...

А потом среди труб он увидел потемневший от времени почтовый рожок. Он напал на след! Разве это был не тот самый рожок, который Певица Тра-ля-ля принесла в класс?! Рожок не изменился, только уменьшился, как уменьшаются все предметы, когда люди вырастают... Бамбус забыл о предостерегающей надписи «Инструменты руками не трогать» и снял с гвоздя почтовый рожок. Он ощутил в руке приятный холодок меди. И искренне, как мальчишка-пятиклассник, поверил, что если заиграть на рожке, Певица Тра-ля-ля услышит знакомый сигнал и придет на его зов. Предсказатель землетрясений вдохнул побольше воздуха, сложил губы колечком и поднял маленькую трубу. И сразу в залах музея зазвучал хрипловатый призывный напев, который в прошлом веке извещал о прибытии почты. Бамбус покраснел от напряжения, с непривычки не хватало дыхания, но он не опускал рожка и повторял сигнал снова и снова. И когда набирал новую порцию воздуха, то слышал трепетное звенящее эхо — это все трубы музея откликались на сигнал почтового рожка.

Неожиданно за его спиной раздался сухой женский голос:

— Гражданин, что это значит?!

Бамбус опустил рожок и оглянулся. Перед ним стояла Певица Тра-ля-ля. Она явилась по сигналу. Он не узнал ее лица, потому что старость, как маскарадная маска, делает человека неузнаваемым. Но в пожилой женщине было нечто такое, что не умещается под маской: нос учительницы пения, как в молодые годы, был воинственно вздернут вверх.

Да, да, это была она. Глаза Бамбуса засверкали, и он сказал:

— Здравствуйте!

— Мое почтение, — холодно ответила смотрительница музея.

— Я приехал с Края Света, я... — начал было Бамбус.

Но смотрительница музея бросила на него отчужденный взгляд и сказала:

— Вы меня с кем-то путаете!

— Нет, нет! Я же Бамбус, помните?..

— Не помню.

— Как же — пятый «Б»! Вы просто не узнаете меня. Усы. Лысина. Но я вас очень хорошо помню... «По разным странам я бродил, и мой сурок со мною».

Пожилая женщина с воинственно вздернутым носом холодно смотрела на Бамбуса, не видя в нем никого, кроме как нарушителя музейного порядка. А он предпринимал все новые попытки оживить ее память, которая застыла, как капля смолы на коре дерева.

— У нас в классе не было горна. Вы принесли в школу вот этот почтовый рожок...

— Повесьте на место рожок. Это единственный экспонат такого рода.

Не плавилась застывшая смола. Не узнавала учительница пения Бамбуса. Не вспоминала пятого «Б». И тогда он, отчаявшись, сказал:

— Мы еще называли вас Певица Тра-ля-ля.

— Певица Тра-ля-ля... — Она усмехнулась, и голос ее дрогнул. — Да, да, они меня называли так.

Капелька смолы потеплела и медленно поползла, живая и ароматная. И чтобы не дать этой капле застыть, Бамбус стал рассказывать Певице Тра-ля-ля о ней самой же.

— А помните, как вы съехали вниз на перилах?

— Не может быть! — вырвалось у бывшей учительницы пения.

— В самом деле съехали... Я обычно сидел на «камчатке» и очень досаждал вам. И однажды вы рассердились и крикнули мне: «Бамбус!» С тех пор я стал Бамбусом. Вспомнили?

— Это было так давно... — Она взяла из его рук почтовый рожок и повесила на место.

— Да, это было давно... Вы стояли у окна, а у меня была резинка, надетая на два пальца. Я скатал покрепче бумажку, послунывил ее и выстрелил в вас. Я всегда мазал. Но тут я попал... Вы вскрикнули и пошли к двери, закрыв глаза ладонью...

Она пожала плечами и спокойно сказала:

— Разное случалось.

Бамбус не сводил с нее глаз. Он как бы испытывал ее.

— Я бегал к глазной больнице и все смотрел в окна, чтобы увидеть вас... Больницу-то вы помните?

— Я не была в больнице.

— Значит, все обошлось?! — воскликнул Бамбус. — А я, знаете, столько лет переживал. Я и теперь боялся встретить вас...

Он осекся. Где-то хлопнула дверь, смотрительница покосилась на шум, и Бамбус заметил, что один ее глаз остался неподвижным. Глаз смотрел на него немигающим, безжалостным взглядом, от него исходил холод. Бамбус вздрогнул. Певица Тра-ля-ля быстро перевела взгляд на незваного гостя. Теперь оба глаза смотрели на него, но было поздно.

— Значит, случилось худшее, — глухо сказал Бамбус. Она оборвала его:

— Вы здесь ни при чем. Это не ваша рогатка...

Бамбус не поверил.

— Зачем вы меня успокаиваете? Что было, то было. Я ведь взрослый человек.

— Так вот, взрослый человек, — сказала она с раздражением, — верьте, если говорят. Это фронтовое ранение.

Но ее слова не доходили до Бамбуса. Он молчал, уставившись в одну точку. А Певица Тра-ля-ля рассердилась не на шутку:

— Если вы не верите мне, я вам докажу! Вечером вы придете за мной. И мы пойдем в школу. Ясно?

Все это она произнесла так решительно, как будто перед ней стоял не пожилой человек, а пятиклассник Бамбус с последней парты.

Вечером он ждал ее у подъезда. Накрапывал дождь. Его волосы слиплись. Усы отвисли двумя черными сосульками. Он жевал мундштук погасшей трубки и ходил взад-вперед, стараясь подавить свое нетерпение.

Мимо, не обращая внимания на дождь, шел мальчишка с воздушным шариком. Бамбус подхватил мальчика за руку и спросил:

— А ты знаешь, что накануне землетрясения сурки выбегают из своих норок?

— Не-а, — ответил мальчишка.

— А знаешь песню про сурка?

— Не-а!

— Ничего ты не знаешь! — рассердился Бамбус.

— Знаю, — возразил мальчишка. — Вас зовут Бамбус! Вы предсказатель землетрясений. А дожди предсказывать не умеете.

«Губа домиком» расплылась в улыбке, и под ней сверкнули два крупных зуба. А Бамбус выкатил от удивления глаза. И тут появилась Певица Тра-ля-ля.

В школе был выпускной бал. Звучала музыка, и девочки в белых юбках-колоколах носились по коридорам, кружились, шумели — словом, вели себя как третьеклассники. Мальчики были более сдержанными — им хотелось выглядеть взрослыми людьми. Веселье разгоралось все сильнее, и грусть расставания со школой никак не могла найти щелочку в этом веселье — ждала своего часа.

Певица Тра-ля-ля и Бамбус пробирались сквозь шур-

шащие белые купола: впереди бывшая учительница с воинственно вздернутым носом, за ней бывший ученик в грязных сапогах, с обвисшими усами, с погасшей трубкой. И от них обоих на паркете оставались мокрые следы.

Никто не понимал, зачем они пришли и что им, хмурым и озабоченным, нужно на этом прощальном празднике.

Кто-то засмеялся. Кто-то спросил:

— Вам кого?

Кто-то протянул тарелку:

— Хотите бутерброд с колбасой?

Они свернули в коридор и скрылись, как два видения. И долго блуждали по пустынным этажам старой школы, пока наконец не очутились в классе пения.

— Сядьте на свое место! — строго сказала бывшая учительница.

И бывший ученик послушно поплелся на последнюю парту.

— Теперь следите внимательно. В тот день я стояла у окна. Правильно? — Она подошла к окну и стала смотреть на улицу. — Я стояла здесь, а вы выстрелили с последней парты. В какой глаз вы могли попасть?

— В левый, — ответил Бамбус.

— А теперь подойдите ко мне, — властно сказала Певица Тра-ля-ля. — Посмотрите, какой глаз мой, а какой чужой... Что вам еще от меня надо! — Она почти кричала на Бамбуса. — Заставляете старую женщину бегать под дождем, чтобы...

Она замолчала, потому что не нашла нужного слова. А Бамбус быстро подошел к ней. Посмотрел в глаза и опустил голову.

— Простите, — сказал Бамбус. — Я думал, что это забудется... с годами... Но есть вещи, которые сильнее нас. От них не убежишь даже на край света. Судьба кидала меня, как мальчика с сурком, но я всегда думал при случае попасть в родной город, разыскать вас и сказать: «Простите».

Певица Тра-ля-ля задумчиво подошла к роялю. Открыла крышку и вдруг заиграла старинную песенку про маленького бродягу и про сурка.

И Бамбус глуховатым, бесцветным голосом запел:

По разным странам я бродил,
и мой сурок со мною.
И сыт всегда везде я был,
и мой сурок со мною.
И мой всегда, и мой везде,
и мой сурок со мною.

Двери класса бесшумно отворились — на пороге стояли девочки в белых колоколах. Они уже не смеялись. Притихли. Печаль нашла к ним лазейку. Сперва они, дыша в затылок друг другу, слушали Бамбуса. Потом, не сговариваясь, запели, словно подбросили в потухающий костер сухих веток и пламя ожило.

Господ немало я видал,
и мой сурок со мною.
И любит кто кого, я знаю,
и мой сурок со мною.
И мой всегда, и мой везде,
и мой сурок со мною.

Песня зазвучала с новой силой, и Бамбус почувствовал себя не лысым и усатым предсказателем землетрясений, а большоголовым детдомовцем в стираной-перестираной курточке, сидящим на уроке пения на своей излюбленной «камчатке» и поющим песню о себе, о своем одиночестве... А молодая Певица Тра-ля-ля бьет по клавишам, утешает его...

Музыка вдруг умолкла. Девочки убежали. И в классе снова остались двое: Бамбус, пожилой, пропахший табаком, и старая женщина, которая уже никогда не съедет вниз по перилам.

Всю ночь Бамбус ходил по городу. Накрапывал дождь. С залива дул ветер. А он шел нетвердой походкой человека, разбитого дальней дорогой.

Погруженный в свои мысли, он дошел до темного здания глазной больницы. Сюда он бегал мальчишкой — потерянным, несчастным от запоздалого сознания своей вины перед учительницей пения. Он заглядывал в окна первого этажа, где лежали люди с белыми повязками на глазах. Певицы Тра-ля-ля нигде не было. Может быть, ее палата была на втором этаже? Он не знал тогда, что с ней, не знал, что она не в больнице, а на фронте. Что несчастье случится позже. От пули фашиста.

И все-таки сознание своей вины не оставляло взрослого Бамбуса, стоящего под дождем у глазной больницы. Оно причиняло боль, как незаживающая рана.

Откуда-то из сетки дождя выплыло белое облако. Это шли, сбившись в кучу, девочки-выпускницы. Их колокола намокли, опали, прилипли к ногам. Но они не обращали внимания на мокрые платья. И весело, на мотив какого-то фокстрота, распевали:

Девиц веселых я встречал,
и мой сурок со мною.
Смешил я их, ведь я так мал,
и мой сурок со мною.
И мой всегда, и мой везде,
и мой сурок со мною.

Бамбус стиснул зубами мундштук трубки и отвернулся к стене, чтобы не быть узнанным.

Бамбус долго не появлялся в Музее музыкальных инструментов. Но через несколько дней тяжелые сапожищи все же загремели по паркету. Бамбус как-то поскуучнел. Его глаза стали темнее, волосы спутались, а усы беспорядочно торчали в разные стороны.

Он прошел мимо скрипок, стоящих как винтовки

в пирамиде, мимо медных труб всех калибров, мимо дудочки-жалейки и наконец встретил смотрительницу музея.

— Пришел прощаться, — сдержанно сказал он.

— Очень хорошо, что пришел. Я хочу вам что-то показать. — Она впервые улыбнулась. — Идемте!

Они пришли в небольшую светелку, где в углу стоял шест, на котором была натянута басовая струна. Посередине шеста крепился барабанчик. Кончался же шест маленькой головой. Черные волосы — из конского хвоста, такие же усы, глаза навывкате. А вместо шляпы — на голове медные тарелочки.

— Это бамбус, — сказала смотрительница музея, — инструмент бродячих музыкантов.

Предсказатель землетрясений долго рассматривал дикий инструмент. И вдруг тихо начал смеяться. И его спутница тоже начала смеяться. И они долго смеялись вместе каким-то детским облегчающим смехом. Посетители музея оглядывались на них и пожимали плечами.

Настала пора расставаться. Бамбус отвел Певицу Тра-ля-ля в сторону и сказал:

— Я помню, в третьем классе у меня заболел зуб. И вы приласкали меня. Я прижался к вам, вцепился и не хотел отпускать. Меня до этого никто не ласкал... Почему я выстрелил в вас из рогатки?

И бывшая учительница ответила ему:

— Переходный возраст. В мальчишек вселяется какой-то бес, который делает все против их воли...

Когда же он очутился на улице и пошел через площадь, то услышал за спиной звук почтового рожка. Оглянулся — в окне музея стояла Певица Тра-ля-ля и подавала ему прощальный сигнал. Предсказатель землетрясений помахал рукой. И двинулся в свой далекий путь.



Забор с голубым глазом

Яшел вдоль бесконечного голубого забора и постукивал палкой по теснинам. Теснины были сухие, некрашенные и серебрились на солнце, а от ударов звучали на разные лады, как клавиши ксилофона.

Неожиданно откуда-то раздался голос:

— Тише ты!

Голос остановил меня. Я огляделся. Никого вокруг не было. Я снова ударил по забору. И забор недовольно крикнул:

— Тебе же сказали!

Вот тебе и говорящий забор. Я стал внимательно рассматривать его и в одной из тесин обнаружил дыру от выпавшего сучка. Из этой дыры на меня смотрел большой внимательный глаз.

Оказывается, забор не только разговаривал, но и смотрел.

— Ты кто такой? — спросил я.

Глаз моргнул, словно огонек погас и зажегся снова.

— Гоша, — ответил он.

Я приблизился к глазу и стал его рассматривать. В самом центре его горела черная точка — зрачок. Она была окружена голубовато-черным райком, а дальше шла ясная, без единого пятнышка голубизна. Казалось, это было маленькое голубое небо с маленьким черным солнцем, но это черное солнце излучало свет, ровный, спокойный. А вокруг черного солнышка была солнечная корона, состоящая из маленьких кристалликов.

— Что ты смотришь на меня? — спросил глаз. — То палкой бил, то смотришь.

Он моргнул, и черное солнышко уменьшилось, словно глаз прицеливался.

— Никогда не видел заборов с глазами, — пробормотал я.

— Покажи свою собаку, — попросил глаз — Гоша.

— Смотри на здоровье, — ответил я, и тут только смекнул, что собака ниже глаза, и я отошел с ней подальше от забора, чтобы глаз мог рассмотреть ее.

— Ты старый, и у тебя мало волос, — сказал глаз. Он, оказывается, рассматривал меня. — А я думал, что ты мальчишка... раз бьешь палкой по забору.

Голос у Гоши был густой, низкий, при этом мальчик слегка шепелявил, вероятно, у него не хватало зубов.

Я спросил:

— Зубы-то у тебя есть?

— Есть, — ответил он. — Есть зубы. Только впереди двух нет.

— А ты откуда взялся? — спросил я.

— Я в детском саду, — объяснил глаз. — Нас вывезли.

Глаз моргнул. Забор был большой и плотный. Он был безжизненный, но глаз оживлял его. Маленького голубого глаза хватало на такой большой забор.

— Больше не буду бить по забору палкой,— сказал я.
— Жаль, что ты старый,— отозвался глаз.— Со старым неинтересно играть. Ты давно уже старый?

Я пожал плечами.

— У нас тетя Дуся тоже старая. Ей двадцать лет.
Я усмехнулся.

— Тебе тоже двадцать? — спросил глаз.

— Побольше.

— Ты что — очень старый? — решил глаз.

— Суди сам.

— Зато у тебя собака,— утешил меня Гоша.— Как ее зовут?

— Зной.

— Зной! — позвал глаз.

Зной подошел к забору, встал на задние лапы, а передними уперся в тесину. При этом забор скрипнул. Зной стал дышать в глаз.

— Ты не бойся,— сказал я.

— Я не боюсь.

Вот, оказывается, какой бесстрашный глаз у забора.

— Я когда подрасту, перелезу через забор,— сказал глаз.

— А я думал — ты сам забор. Забор с голубым глазом. Он, видимо, не понял моей шутки, потому что сказал:

— У заборов не бывает глаз.

— А у этого забора есть.

— Это мой глаз... Я сейчас уйду.

— Подожди!

Глаз промолчал. Он внимательно смотрел на меня из своей необычной деревянной глазницы. И я чувствовал неловкость под пристальным взглядом голубого глаза.

Он вдруг сказал:

— Отойди в сторону, а то поезд не виден.

Тут только я уловил дробный звук приближающегося поезда. Я сделал шаг в сторону. Поезд приближался. Он

пропел каким-то грустным буйволиным голосом. И сразу замелькали стеклянные квадраты окон. Они мчались мимо забора. И вероятно, в каждом из них отражался голубой глаз.

Когда поезд промчался и его гул замер за последним вагоном, глаз позвал меня:

— Ты не ушел?

— Стою.

— Стой, стой. Только я тебя не вижу. Покажись.

Я показался.

— Тут всегда пасется коза,— сказал мне мальчик.— А сегодня вместо козы — ты.

— Где же коза?

— У нее козлята. Она скоро придет с козлятами... А под белым камнем черви для рыбы.

Действительно, на земле лежал пригретый на солнце белый камень. Я слегка сдвинул его носком ботинка. Все было правильно: под камнем были дождевые черви.

— А за поездом,— продолжал свой рассказ голубой глаз забора,— лес. Там ночью спит солнце.

Я удивленно посмотрел на глаз и почувствовал, что от него исходит какое-то трепетное свечение. Глаз освещал мир, и в его свете все вокруг теряло обыденность и становилось прекрасным, начинало жить жизнью, которую наши глаза давно уже не замечали. И я подумал, что в маленькую дырку в заборе этот глаз может увидеть больше, чем мы, взрослые, для которых не существует заборов.

— Что ты молчишь? — прервал он мое раздумье.

— Думаю.

Глаз заморгал. Он не понял слова «думаю». Вероятно, это слово пока что заменяло ему другое слово: «живу».

— Мой папа живет там, где солнце спит всю зиму,— неожиданно сказал он мне.— Он скоро придет, и мы пойдем с ним смотреть козлят... козы.

— Тебе не скучно? — спросил я.

— Меня скоро спать позовут,— ответил он.

Видимо, слово «скучно» напоминало ему слово «спать».

— Я пойду.

— Подожди.

Не отпускал меня голубой глаз забора.

— Подожди, я расскажу тебе про красную шапочку и серого волка.

— Давай!

— Волк съел бабушку... А если бы он съел меня, я бы у него в животе проделал дырочку и все видел бы.

— Это ты здорово придумал!

— Только волка нет... Но мы с папой найдем волка. Он нас обоих съест. Вот будет весело!

И глаз засмеялся.

— Ты приходи, может быть, он и тебя съест. И мы будем вместе смотреть в дырочку... Ты не собираешь косточки от компота?

Я покачал головой. И тут где-то вдалеке послышался женский голос:

— Гоша!.. Гоша Савельев!

Глаз исчез. И сразу забор стал серым, глухим и слепым. Обыкновенным, неодушевленным забором. Без глаз, без голоса. Без мыслей. Только на этом месте осталась дырка, а над ней волокно древесины, изогнутое бровью. А чуть пониже — капля смолы. Засохшая, ставшая серебряной слезой.

Я подошел ближе, нагнулся и заглянул в дырочку в надежде увидеть хозяина голубого глаза. Но никого не увидел. Передо мной был скучный двор, дом с ровными рядами окон. На земле валялась сломанная лопатка. По-дальше, на веревке, сушилось белье: маленькие штанишки и рубашки. Ничего интересного не увидел мой глаз, превратившись в глаз забора. Видимо, забору живется куда интереснее, когда ему на время дарит свой глаз маленький Гоша, у которого не хватает двух передних зубов и который вместо слова «думаю» еще употребляет слово «живу».

Прохладным майским вечером отец и сын ждали салюта. Сын вскарабкался на подоконник, а отец стоял за его спиной и на всякий случай держал мальчика за лямку штанишек.

— Скоро? — нетерпеливо спрашивал мальчик и сильнее прижимался носом к стеклу.

— Скоро, скоро,— отвечал отец и поглядывал то на часы, то на небо.

— Давай откроем окно,— предложил сын.

— Зачем?

— Чтобы лучше было слышно.

— И так услышим.

Отец присел на край подоконника. Неожиданно мальчик повернулся к нему и спросил:

— А у дедушки была борода?

— Нет. Он был молодым.

— Разве дедушки бывают молодыми?

— Бывают... стало быть.

— А усы?

— Что усы?

— Усы у него были?

— Кажется, были.

— И винтовка была,— произнес мальчик.

Отец удивленно посмотрел на сына и спросил:

— Кто это тебе сказал... про винтовку?

— Знаю. А патроны он тебе дарил?

— У него не было патронов, когда он уходил на войну.

— Были. Надо было попросить. Ты не просил?

Отец ответил не сразу. То ли он подыскивал слова, то ли подумал, почему и в самом деле не просил патронов. Он сказал:

— Я плохо помню. Когда дедушка уходил, я был таким, как ты.

Мальчик пропустил его объяснение мимо ушей. И снова спросил:

— А где дедушка?

— Он не вернулся с войны.

— Почему не вернулся?... Ты напиши ему, пусть возвращается.

— Туда не ходит почта.

— А почтальоны... с толстой сумкой на ремне?

— Не ходят.

— Может быть, съездим за ним? В воскресенье?

— Туда не ходят поезда.

— Поедем на автобусе, а там пешком. Войну посмотрим.

— Войны давно нет.

— Когда дедушка вернется?

— Никогда.

— Никогда — это долго?

— Долго.

— Подождем. Правда?

— Понимаешь, какое дело,— дедушка погиб.

— Как погиб?

— Фашист выстрелил в него, и он упал. Пуля попала в сердце. Вот сюда.

Отец показал, куда попала пуля, и мальчик долго рассматривал верхний карман пиджака, где отец держал папье. Потом он спросил:

— Давно?

— Ну да. Очень давно.

— Может быть, уже зажило, раз давно?

— Он уже умер.

Отец долго не решался произнести это слово, но оно не произвело на мальчика никакого впечатления. И отец удивленно смотрел на сына, словно дожидаясь, когда наконец слово «умер» дойдет до его сознания. Но мальчик как ни в чем не бывало барабанил пальцами по стеклу. Потом сказал:

— Все вернулись, и дедушка вернется... попозже. Правда?

— Ничего ты не понимаешь.

— Понимаю, понимаю... Он без бороды, но патроны у него были.

— Сейчас салют начнется. Смотри.

Вдалеке гроыхнуло орудия, и тяжелый раскат донесся не до слуха, а ударил прямо в грудь. И сразу по темному небу с треском покатились разноцветные шаровые молнии. И в их коротком сиянии стремительно пронеслись призрачные стаи испуганных голубей.

— Кто это стреляет? — спросил мальчик.

— Солдаты.

— Которые вернулись?

— Разные.

— А почему звенят стекла?

— Это бьют пушки.

— С войны?

— Из пригорода.

— Нет, они бьют с войны, — стоял на своем мальчик. — Я точно знаю. И та белая ракета тоже с войны. Ты был на войне?

— Нет, — ответил отец. — Я же был маленьким, как ты.

— Вот ты и не знаешь, что пушки бьют с войны. Закрой глаза, лучше будет слышно. Бум! Бум! Это дедушка бьет с войны.

— Пусть будет по-твоему, — тихо сказал отец.

Но мальчик не слушал его слов.

— Дедушка потому и не вернулся, чтобы бить из пушки, когда салют. Правда?

— Правда.

В комнате было темно. И только огни ракет на несколько мгновений освещали отца и сына то зеленым, то красным, то желтым светом. Над городом гремел салют. Но отец не следил за восходом ракет. Он смотрел на маленькую фигурку, прижавшуюся к стеклу, на сплюснутый нос и на широко раскрытые глаза. И отцу казалось, что глаза сына видят то, что он, взрослый человек, никогда не сможет увидеть: они видят войну, видят распаленные лица солдат и дедушку, который не вернулся с войны, чтобы бить из пушек, когда салют.



а исходе прозрачного апрельского дня к бабе Настасье пожаловали незваные гости. Подталкивая друг друга и спотыкаясь о высокий порожек, в дом вошли ребята.

— Здравсте!

Гости смотрели на хозяйку, а хозяйка смотрела на влажные штемцеля, которые гости наставили на чистых половицах, и недовольно прикидывала, что после ухода честной компании придется братья за тряпку. Баба Настасья поджала губы и спросила:

— Чего надо-то?

Стоявший впереди других скуластый парнишка в высоких сапогах — он больше всех наследил, паршивец! — тут же отозвался:

— Реликвии есть?

Баба Настасья непонимающе уставилась на него и спросила:



— Старые газеты, что ли?

— Старые газеты — это макулатура. — тут же пояснил соседский мальчик Ленья. — А нам нужны реликвии войны.

— Может быть, у вас есть штык или немецкая каска? — спросила стоявшая в дверях конопатенькая девочка в платке, соскользнувшем на плечи.

— Нет у меня немецкой каски. И штыка нет. — призналась баба Настасья.

— Она не воевала, — пояснил соседский мальчик Ленья, который на правах соседа выступал как бы в роли посредника. — У нее муж воевал.

— Может быть, красноармейская книжка, пробитая пулей, хранится? — спросил скуластый мальчик; судя по всему, он был в этой компании старшим.

— Или пилотка со звездочкой? — сказала конопатенькая.

Баба Настасья покачала головой.

— Плохо, — сказал старший.

— Плохо, — подтвердил соседский Ленья.

Ребята переглянулись, засопели, затоптались на месте, не зная, уходить или еще что-нибудь спросить. И тут девочка сказала:

— Фото тоже годится.

— Годится! — обрадованно подхватил Ленья: ему, видимо, очень хотелось, чтобы у его соседки бабы Настасьи нашлась хоть какая-нибудь реликвия, пусть фото. И он, не дожидаясь ответа, посоветовал: — Баба Настасья, поищите за образами.

— Нет у меня образов.

Что за неудачная бабка! И образов у нее нет.

— Когда нет образов — прячут за зеркалом! — не отступал Ленья. — Зеркало у вас есть?

— Зеркало есть. — Баба Настасья исподлобья посмотрела на ребятшек. — Ходите тут без дела, полы пачкаете!..

— Мы не без дела, — обиженно пробурчал старший,

косясь на свои высокие грязные сапоги, — мы собираем музей войны.

— Великой Отечественной войны, — уточнил Ленья.

Такой поворот дела озадачил бабу Настасью. Она поднялась со скамейки и оказалась очень крупной, широкой в кости, только спина ее не до конца разгибалась, застыла в каком-то вечном поклоне.

— Есть у меня письмо с фронта. От мужа моего, Петра Васильевича, — сказала она неуверенно, наугад. Само как-то сказало. — Годится?

— Что же он не прислал фото? — с тихим упреком отозвалась конопатенькая.

Баба Настасья не расслышала ее слов. Шаркая ногами, подошла к комоду, стала искать письмо за зеркалом. И вскоре ребята увидели в ее руках какой-то бумажный треугольник. Старший протянул руку, баба Настасья исподлобья посмотрела на него и нехотя отдала письмо.

Он покрутил странное письмо в руках и спросил:

— А где конверт с марочкой? Потерян?

— Ничего я не теряла! Разве тогда были конверты и марочки? Треугольник, полевая почта, печать. Вот и все дела.

— Не было тогда конвертов и марочек. — принял сторону бабы Настасьи соседский Ленья.

Но остальные отнеслись к словам старухи с недоверием: потеряла, старая, а теперь выдумывает. Они были убеждены, что раз есть письмо, то был конверт и была марка. Опять наступило неловкое молчание.

И опять конопатенькая спросила:

— Муж был героем войны?

Бабе Настасье надоело любопытство гостей. Она заволновалась, вспыхнула. Сердитой скороговоркой произнесла:

— Никаким он не был героем. Давайте сюда письмо!

— Подождите, баба Настасья, — примирительно сказал Ленья. — Надо ведь почитать письмо!

— Надо почитать, — поддержали его остальные, и вся честная компания направилась к окну, где было светлее.

Письмо было коротким и простым. Вот что писал муж бабы Настасьи с фронта:

— «Здравствуй, жена моя Настасья! С приветом к тебе твой муж Петр. Я покуда жив и здоров, чего и тебе желаю. Живу я неплохо. Курево выдают своевременно. Но вместо махорки — табак филичевый, безвкусный. Куришь, куришь — никак не накуришься. Разве что дым идет. Я второпях потерял запасную пару портянок. Повесил сушить, а по тревоге снялись — забыл сунуть в вещмешок. Теперь маюсь. На ночь постираю единственную пару, к утру они не успевают высохнуть. Приходится надевать сырое. Ноги преют.

Мы сейчас больше копаем, чем стреляем. Копаеться, а от окопа пашней пахнет. И от этого родного запаха щемит сердце. А сколько еще провоюем — не знаю.

Кланяйся дедушке Ивану, всем родным и соседям.

С фронтовым приветом, твой муж Петр».

Когда кончили чтение письма, конопатенькая покачала головой:

— Нет, это не реликвия.

— Понимаете, баба Настасья, не реликвия, — с сожалением сказал старший. — Все про табак, про портянки. А клятвы нет.

— Какой клятвы? — глухо спросила баба Настасья.

— «Умрем, но не отступим!» — как по писаному сказал старший.

Баба Настасья изумленно посмотрела на ребят.

— Не хотел он умирать, — сказала она.

— Поэтому и не реликвия, — тихо сказала конопатенькая.

— Может быть, реликвия, — сказал соседский Лень. стараясь удержать товарищей, но ребята потянулись к двери.

Старший хотел сложить письмо уголком, но не сумел. Так и сунул хозяйке несложенным.

Ребята ушли, в доме стало подчеркнуто тихо. А баба Настасья стояла перед закрытой дверью с письмом в руке, словно только что приходил почтальон. Потом она подошла к столу и вдруг почувствовала тупую неодолимую усталость. Она тяжело опустилась на скамью и закрыла глаза. Может быть, задремала. Может быть, время прошло в забытии. Но когда она открыла глаза, на дворе было уже темно. Баба Настасья встрепелась, поднялась, зажгла свет. Она вернулась к столу, села на лавку. Перед ней лежало письмо. Она долго смотрела на листок, потому что знала письмо наизусть.

Когда много лет назад письмо пришло с фронта, все бабы завидовали ей. Потому что никто давно не получал писем. А бабы были усталые и свирепые. Они один раз чуть не прибили хромого почтальона. «Ты, хромой черт, без писем не приходи в деревню!» И долгое время на всю деревню было только одно письмо с фронта — Настасьино.

На фронте была своя война, а в деревне — своя: надрывались бабы, когда вместо лошади впрягались в плуг. Стирали в кровь плечи, сбивали ноги, надрывали животы. Такая это была пахота, что в конце полосы в глазах становилось темно, и тяжелая кровь начинала звенеть в ушах, и падали бабы на землю, как солдаты под огнем. И вот тогда они требовали от Настасьи:

— Читай письмо!

Настасья, большая и сильная, поднималась на локте и хриплым голосом — в который раз! — начинала читать:

— «Здравствуй, жена моя Настасья!..»

И бабам чудилось, что в письме написано: «Здравствуй, жена моя Нюша!» или: «Здравствуй, жена моя Ольга!» Это их мужья здороваются с ними. Это их мужья были живы и здоровы. И не нравился им филичевый табак: «Куришь, куришь — никак не накуришься!» И не повезло

с портянками: снимались по тревоге, забыли сунуть в вещмешок. Настасьино письмо грело серолицых, осунувшихся подруг, прибавляло им сил. И, снова впрягаясь в плуг, они говорили:

— У них окоп пахнет пашней, а у нас пашня пахнет окопом.

Поздно вечером обязательно кто-то стучал в окно Настасье:

— Отвори!

— Что тебе, соседка?

— Дай почитать письмо.

Письмо как бы стало общим, принадлежало всей деревне.

Сидя над письмом в кружочке, высвеченном керосиновой лампой, соседка успевала и поплакать, и посмеяться, и утешиться, и утешить хозяйку.

— Ты не расстраивайся из-за портянок. К зиме обязательно новые выдадут. Я знаю...

И так продолжалось долго. Из других деревень приходили почитать Настасьино письмо. А мужа Петра Васильевича уже не было в живых...

Сейчас это письмо лежало на столе перед бабой Настасьей, словно только что пришло от мужа. А раз пришло письмо — значит, он жив. Только очень далеко от дома. И пишет он, живой, про обычные житейские вещи: про плохой табак и забытые впопыхах портянки. Но потом бабе Настасье показалось, что она держит в руках не свое письмо, а чужое, полученное от живого мужа соседкой и данное ей на время, для утешения.

Она отвела глаза от письма и увидела ребячьи штемпеля на половицах, но не рассердилась. Эти ребятишки вечно что-то собирают — то лекарственные травы, то колоски. Теперь они ищут реликвии. А письмо им не подошло, потому что им, ребятишкам, невдомек, что стояли твердо и погибали в бою и те, кто не писал: «Умрем, но не

отступим!» Ну и слава богу, что не нужно детям это письмо, что живут они хорошо и не требуется им утешения. И теперь не бьют почтальона, и нет такого положения, чтобы на всю деревню была одна только весточка.

Баба Настасья вздохнула. И аккуратно сложила старое фронтовое письмо по складкам, чтобы получился треугольник.

Потом ей стало душно, и она заковыляла к двери. Вышла на крыльцо. Было уже совсем темно. В разных уголках густой мягкой тьмы поблескивали огни деревни.

Тут хлопнула калитка, послышались голоса, и баба Настасья увидела три приближающиеся фигурки: это ребята возвращались за письмом солдата. Она вздохнула и почувствовала бесконечно родной и знакомый запах. Он проникал внутрь, разливался по телу, и с каждым вздохом бессилие старой женщины как бы растворялось, теряло свою гнетущую тяжесть. Это был запах сырой весенней земли — запах пашни, похожий на запах окопа.



СЫНОВЬЯ ПЕШЕХОВОДА

Когда в Белозерской школе пишут сочинение о войне, учителя знают: у кого-то в тетрадке обязательно появятся сыновья Пешеходова — Семен и Василий. Сыновья или кинутся под танк, или окажутся в горящем Сталинграде, или спасут полковое знамя. И, прочитав, к примеру, о том, что Семен и Василий первыми таранили фашистский «мессер», учителя не возмущаются и не дают волю красному карандашу. Они знают, в чем дело.

В воскресные дни в людных местах Белозерска появляется старик с выцветшими глазами. Былой цвет определить трудно, словно глаза заволокло дымом, а сквозь дым не видно цвета. На старике солдатская гимнастерка. Видимо, приобретенная по случаю у демобилизованного, потому что своя, фронтовая, давным-давно растворилась в дожде, в поту, в лучах солнца, в мыльной пене.

Взрослые люди с плохо скрытой улыбкой отвечают

на поклоны старика, а ссужая ему сигарету, не преминут напомнить:

— Куришь ты, Пешеходов, один сорт: чужие.

— Для меня свое и чужое все одно, — говорит старик. — У меня ни своего, ни чужого...

Пешеходов не задерживается среди взрослых, его лучшие приятели и слушатели — ребята. Эти засыпают вопросами, на которые он отвечает с великой охотой. Больше того, он ждет этих вопросов и, отвечая на них, испытывает удивительное чувство, знакомое лишь засыхающему дереву, когда на его узловатой мертвой ветке неожиданно зазеленеет листок.

— Дедушка Пешеходов, верно, что ты на войне до Берлина пешком дошел? — спрашивает старика кто-то из маленьких собеседников.

И старик отвечает:

— Прошел до Берлина... пешком. И фамилия моя потому Пешеходов.

— А ты не устал?

— Устал. Что поделаешь! Машин мало было. Только танки и лошади.

— Ты бы на лошади, — советует кто-то из ребят.

— Так и лошадей не хватало. Если бы каждому солдату лошадь — война бы раньше кончилась. А то пешком до Берлина далеко-о... Идешь, идешь, и конца не видно. Я своих сыновей так и не догнал.

— Они быстро шли?

— Быстро.

— Пешком?

— Пешком. Они же у меня Пешеходовы... Только сыновья моложе. Ноги у них резвые. Я не поспевал за ними.

Постепенно кружок слушателей увеличивается. Приходят новички и те, кто уже много раз слушал дедушку Пешеходова. Эти заранее знают его ответы, но терпеливо

молчат. У них со стариком как бы разыгрывается спектакль. И каждый хорошо знает свою роль.

— Дедушка Пешеходов, — уже в который раз спрашивают ребята, — а кто в первый день войны встретил немцев под Бугом?

— Мои сыновья. Семен и Василий, — как бы впервые отвечает старик.

— А кто в Сталинграде стоял до последнего дыхания?

— Мои сыновья, Семен и Василий.

— А кто грудью упал на вражескую амбразуру?

— Мои сыновья...

И тут, как бы желая задать старику задачу, кто-нибудь обязательно спрашивает:

— Как же они до Берлина дошли, если грудью на амбразуру, а там пулемет?

Нет, не собьешь старика!

— Они поднялись с амбразуры и зашагали дальше, — невозмутимо отвечает он, и в его глазах, застеленных дымом, проступает такая непоколебимая уверенность, что никто из слушателей уже не решается усомниться в словах старого солдата.

— А кто первым вышел на правый берег Днепра?

— Мои сыновья, Семен и Василий.

— Они всю войну пешком или потом на лошадях?

— Пешком! — отвечает старик и вдруг умолкает, задумывается и, отвлекшись от рассказа, говорит: — Лошадей на войне жалко было. Обстрел начнется, люди попадают, спрячутся в щели, а лошадь стоит. Все железо в нее вбивается.

— Все железо? — испуганно спрашивает кто-нибудь из самых маленьких слушателей, не в силах представить себе все железо, вбившееся в лошадь: очень много получается железа...

А к тому времени уже готовы новые вопросы, и старик отвечает на них сдержанно и достойно.

— А на Курской дуге кто задержал «тигров» и «фердинандов»?

— Мои сыновья...

— А кто в Берлине Красное знамя над рейхстагом поднял?

— Мои сыновья...

— Везде попевали?

— Везде. Ноги у них молодые. Шли, шли без отдыха, а вернуться с войны домой сил не хватило.

— Так и не вернулись?

— Так и не вернулись. Спят в могиле.

При слове «могила» у ребят как бы перехватывает дыхание. Это слово на мгновение превращает Семена и Василия в обычных людей, которых хоронят на кладбище. И дети испытывают скорее разочарование, чем жалость: всю войну сыновья Пешеходова прошагали пешком, без лошади, почему же теперь они «спят в могиле»?

И тогда кто-то из ребят решается спросить:

— Где их могила?

Старик распрямляется, и вечный дым, стоящий в его глазах, как бы развеивается. Он говорит:

— Мои сыновья спят во всех солдатских могилах. По всей родной земле.

И оттого, что сыновья дедушки Пешеходова спят во всех братских могилах, детские горячие умы снова превращают их в былинных героев, готовых проснуться, когда пробьет час!



РАЗБУЖЕННЫЙ СОЛОВЬЯМИ

Когда в лагере говорили «Селюженок», ребята усмехались в предчувствии новых происшествий, а для взрослых это слово звучало, как сигнал тревоги и предвестник неприятностей. Этот сигнал-предвестник начинал звучать с самого утра и не утихал до отбоя. Во всех уголках лагеря только и слышалось:

- Селюженок, заправь койку!
- Селюженок, вымой уши!
- Селюженок, перестань барабанить ложкой по тарелке!
- Селюженок, куда ты спрятал журнал?
- Селюженок, если ты не выйдешь из воды, больше не будешь купаться до конца смены!

Какие только грозные предупреждения и сердитые возгласы не следовали за словом «Селюженок»! За неделю лагерной жизни на него был истрачен годовой запас восклицательных знаков.

У Селюженка круглая голова, подстриженная под машинку, а уши торчат в стороны, как ручки сахарницы. Худое лицо всегда измазано сажей, или какой-нибудь краской, или просто грязью неизвестного происхождения. Селюженок маленький и хрупкий: ткнешь пальцем — он и упадет. Походка у него легкая и бесшумная, словно он не идет, а крадется. Как это такое хлипкое существо может доставлять людям столько неприятностей!

Худой, большеголовый, приткий, он похож на огромного головастика. И взрослые считают, что с годами из него выйдет порядочная жаба.

Лицо у Селюженка непроницаемое.

Слова не то что отскакивали от него, как горох, они как бы проходили насквозь, не оставляя никаких следов. Когда мальчика ругали, он не морщился, не дергал плечом и не опускал глаза — он улыбался своим мыслям. Взрослым казалось, что мальчишка насмехается над их словами. Они теряли самообладание, надрывали голоса. Но Селюженок был надежно защищен от их гнева своей невозмутимостью.

Чаще всего Селюженок молчал. Это был надежный способ самообороны. Но если он и выдавливал из себя слово, то его ответы были односложными, лишенными настоящего смысла.

- Ты зачем взял у Брусничкиной зубную щетку?
- Просто так.
- У тебя что, нет своей щетки?
- Есть.
- Так зачем тебе вторая щетка?
- Просто так.

После разговора с Селюженком даже самые уравновешенные люди стучали кулаком по столу и хлопали дверями. У этого дурного мальчишки была удивительная способность нагнетать в людях злость, портить настроение и доказывать взрослым, что у них не в порядке нервы.

Селюженок тащил все, что плохо лежало. Он хватал ленточки для кос, карандаши, носовые платки, перочинные ножи. Он был похож на сороку, которая несет в свое гнездо ненужные для нее вещи. Сорочьим гнездом была тумбочка Селюженка. Нет, он никогда не ел чужие сладости и не присваивал деньги. Все, что попадалось ему в руки, оставалось без всякого применения и не приносило ему никаких благ.

Никто не знал, что творится в душе у этого маленького колючего человечка. Нельзя было определить, весел он или печален, доволен жизнью или обижен. Он был всегда одним и тем же. С его лица не сходила глуповатая, лишенная всякого смысла улыбка. Он был неразрешимой загадкой, задачей, которая никогда не сходится с ответом. Взрослые махнули на него рукой и мечтали поскорей дожить до конца смены, чтобы навсегда избавиться от него. Ребята подсмеивались над Селюженком, когда он им досаждал, но, в общем, относились к нему терпимо. А малыши, завидя его, весело кричали:

— Селюженок-медвежонок! Селюженок-медвежонок!

Селюженок не сердился и не щелкал малышей по выпуклым лбам. Он улыбался. И они принимали его улыбку за чистую монету. Да так оно, возможно, и было.

Чашу терпения взрослого населения пионерского лагеря переполнил случай с пластилином. В один прекрасный день руководительница изокружка обнаружила, что в студии пропал большой кусок зеленого пластилина: весь запас кружка лепки. Сомнений не было: это мог сделать только Селюженок.

Расстроенная Татьяна Павловна в отчаянии прибежала к начальнику лагеря.

— Так больше нельзя! — быстро заговорила она, и лицо ее покрылось красными пятнами. — На прошлой неделе он вылил весь скипидар. Теперь — пластилин! Надо что-то делать!

Татьяна Павловна не назвала имя похитителя пластилина, но начальник лагеря безошибочно определил, о ком шла речь.

— Позвать Селюженка! — крикнул он дежурному, и настроение его сразу стало портиться.

Через несколько минут на пороге кабинета уже стоял виновник очередного происшествия. Он стоял молча и смотрел на начальника невидящими глазами, словно начальник был прозрачным и мальчик видел сквозь него спинку стула.

— Селюженок! — В голосе начальника лагеря звучали недобрые нотки. — Что ты молчишь? Отвечай, зачем ты взял пластилин?

— Я не брал, — спокойно ответил Селюженок.

— Покажи руки.

Мальчик охотно протянул руки.

— Разожми кулаки.

Селюженок разжал кулаки.

— Поверни ладонками вверх.

Селюженок выполнил и эту команду.

— Смотри! У тебя все руки в пластилине.

— Это не пластилин.

— А что это?

— Это грязь.

— Ах вот оно что! Грязь. Завтра же я отправлю тебя в город. Ясно? — И, не дожидаясь ответа, начальник лагеря, в котором все внутри клокотало, почти крикнул: — Иди!

Селюженок спокойно повернулся и как ни в чем не бывало зашагал к двери.

— Селюженок!

Мальчик остановился и повернулся к начальнику.

— Я тебя в последний раз спрашиваю: ты брал пластилин?

В этом вопросе не было никакого смысла. Все было ясно. Просто начальнику хотелось добиться признания.

Селюженок молчал. Он стоял перед разгневанным начальником и следил глазами за жирной блестящей мухой, которая, проворно шевеля проволочными лапками, ползала по стене. В эту минуту у похитителя пластилина не было более важного дела.

— Иди! — закричал начальник.

Он был, в общем, не плохим человеком, но этот Селюженок пробуждал в нем зверя.

Селюженок попрощался глазами с мухой и направился к двери.

...Он спал крепко, как обычно спят люди с чистой совестью. Он ложился на правый бок, поджимал ноги, подворачивал под плечо одеяло, и не проходило пяти минут, как начинал легонько посапывать. Во сне он ничем не отличался от других ребят. Селюженок засыпал, и в лагере выключался источник беспокойства и неприятностей. Взрослые облегченно вздыхали. Откровенно говоря, они были бы счастливы, если бы Селюженок так и проспал до конца смены. Как спящая царевна.

Он спал на одном боку до тех пор, пока медный горн хриплым, словно со сна, голосом не пел подъем. Тогда Селюженок вскакивал на ноги и как стрела, выпущенная из лука, устремлялся вперед, навстречу новым злоключениям.

В эту ночь, в нарушение всех правил, Селюженок вдруг проснулся. Не тревожные думы подняли среди ночи похитителя пластилина. Он проснулся от свиста.

Мальчик повернулся на другой бок и натянул одеяло на голову. Свист не прекращался. Он, как пуля, пробивал тоненькое одеяло и не давал спать.

Селюженок сел на постели и огляделся. Никого рядом не было. Все ребята крепко спали. А свист не утихал. Это был не простой свист. Если вложить в рот четыре пальца или сложить губы трубочкой, так не засвистишь.

Свист то замирал, то звучал с новой силой. В нем

билась и клокотала картавая горошина. А порой слышалось частое пощелкивание, будто кто-то рубил свист на мелкие кусочки.

Это пели соловьи.

Селюженок рассердился на птиц, которые не давали ему спать. Он на ощупь отыскал брюки, натянул их и бесшумно подошел к окну. В кармане лежал тяжелый камень. Селюженок зажал его в кулак и легко перемахнул через подоконник.

Соловьиный оркестр умолк. Теперь пел только один соловей. К нему с камнем в руке шел Селюженок.

Звезд не было видно, и казалось, что в темноте небо опустилось и прилегло на землю.

Селюженок чувствовал на щеке влажное прикосновение неба и его ознобный холодок. Он вздохнул поглубже и весь наполнился свежестью. Это потому, что он дышал небом.

Осторожно переставляя босые ноги, мальчик с камнем в руке шел на соловьиный свист. Теперь соловей пел так громко, что было удивительно, как он не разбудил всех ребят. Селюженок подошел к дереву и запрокинул голову. Напрягая зрение, он стал всматриваться в густые темные ветки. Соловей пел рядом, но его не было видно, словно он надел шапку-невидимку. Звуки падали из его горлышка чистыми, хрустальными каплями. И хотелось подставить руку, чтобы поймать хоть одну такую каплю. Поющие капли сливались в одну серебристую нить, которая тянулась к разбуженному мальчику.

Селюженок стоял под деревом затаив дыхание. Он забыл про камень и не шевелился, потому что боялся неосторожным движением порвать серебряную нить. Вокруг него было темное небо. Наверное, небо держится на звездах, как на гвоздях. А когда звезд нету, оно опускается на землю.

Он стоял до тех пор, пока краешек неба не стал светлеть. Соловей разбудил мальчика, а сам уснул. Но его

свист все еще звенел в ушах, похожих на ручки сахарницы. Может быть, Селюженок выучил соловьиную песню наизусть и теперь напевает сам себе?

Селюженок обрадовался рассвету: теперь ему удастся хоть взглянуть на соловья. Но сколько он ни вглядывался в сплетение веток, увидеть соловья так и не смог.

Он вспомнил о камне и почувствовал, что камень в его кулаке потеплел и стал мягким. Он разжал кулак и удивился: это был вовсе не камень, а кусок зеленого похищенного пластилина. Остаток. Селюженок взвесил его на ладони и стал мять. Пластилин стал совсем податливым. И мальчику неожиданно пришло в голову слепить соловья. Он принялся за дело. Сначала его пальцы были неловкими, деревянными, но постепенно потеплели, разошлись и стали передавать пластилину то, что им приказывал мальчик.

Он лепил соловья таким, каким, ему казалось, должен быть исполнитель беспокойных ночных песен. Соловей оживал в руках мальчика. Он был зеленым. У него была узкая голова и большие распростертые крылья.

Селюженок посмотрел на соловья и улыбнулся. Ему показалось, что он сделал открытие — своими руками создал птицу-певца, и она молчит лишь потому, что время песен прошло и небо поднялось с земли высоко, до самых облаков.

Утром Селюженок появился в дверях художественной студии. Он робко переступил порог этого маленького пионерского храма искусств и лицом к лицу столкнулся с Татьяной Павловной. Увидев незваного гостя, Татьяна Павловна строго сдвинула брови и недовольно спросила:

— Селюженок? Что тебе надо?

Мальчик молчал. Он держал руку за спиной и смотрел в землю. Ему ничего не нужно было. Он стоял и молчал.

— Ты пришел извиниться? — пыталась догадаться преподавательница рисования.

Селюженок покачал головой. Он пришел совсем за другим.

Татьяна Павловна пожала плечами. Она уже была готова взять маленького похитителя пластилина за плечи и вытолкать из мастерской, но тут Селюженок поднял глаза и протянул ей руку. В руке лежало какое-то странное существо с узкой головой и большими крыльями.

— Что это? — спросила Татьяна Павловна.

— Соловей, — ответил мальчик.

Татьяне Павловне захотелось засмеяться над этим зеленым уродцем. Но она сдержалась. Она взяла из рук мальчика его работу и стала ее внимательно рассматривать, словно искала в ней то, что было незаметно с первого взгляда. А Селюженок следил за каждым ее движением.

— Это твоя скульптура? — тихо спросила преподавательница.

— Это не скульптура, это соловей, — отозвался мальчик и, заглядывая в глаза Татьяне Павловне, робко спросил: — Что, не похож?

Татьяна Павловна испытующе посмотрела на мальчика и ответила:

— Похож! Очень похож! А ты видел соловья?

Селюженок запнулся. Сперва он по привычке решил соврать: видел! Но потом ему захотелось сказать правду.

— Нет, не видел... Я слышал соловья.

— Слышал?

— Ну да, слышал. Сегодня ночью.

Татьяна Павловна все еще не могла разобраться, что же все-таки произошло с этим мальчиком, чье имя внушало всем лагерным работникам неприязнь. Но она догадалась, что ночные соловьи разбудили в душе мальчика нечто такое, о чем никто даже и не подозревал. Она сказала:

— Ты приходи, будешь учиться лепить.

Селюженок кивнул головой. И вдруг на его лице отразилась чуть заметная тень расстройств.

— Так пластилина-то нет,— сказал он.

— А мы будем лепить из глины.

Селюженок оживился.

— Глины я вам натаascaю,— сказал он,— целую гору!

— Вот и хорошо,— подхватила Татьяна Павловна.

Уже уходя из мастерской, Селюженок вдруг обернулся и сказал:

— Только меня, наверное, выгонят.

Эти слова поставили Татьяну Павловну в тупик, но она быстро нашлась:

— Посмотрим. Может быть, еще не выгонят.

— Тогда приду,— сказал Селюженок.— И глины при-тащу.

Когда Селюженок ушел, Татьяна Павловна взяла со стола зеленого уродца-соловья и направилась к начальнику лагеря.

— Что это? — спросил начальник лагеря, рассматривая скульптуру.— Что это за художество?

— Это соловей.

Начальник рассмеялся.

— Хорош соловей! Это зеленая ворона.

— Это соловей,— упрямо сказала Татьяна Павловна.— Его вылепил Селюженок.

При одном имени Селюженка начальник лагеря поморщился.

— Пусть он забирает своего зеленого соловья-ворону и отправляется. Завтра наш завхоз поедет в город и захватит его.

Татьяна Павловна села на стул.

— Отправить его мы еще успеем.

— Пойдите,— начальник лагеря встал со стула.— Кто, как не вы, настаивал на том, чтобы его отправить домой? Я не ошибаюсь?

— Нет, не ошибаетесь. И все-таки я прошу оставить Селюженка.

— Что, у него открылся талант? — спросил начальник и недоверчиво покосился на зеленого соловья.

Татьяна Павловна покачала головой.

— Таланта у него никакого. Но сегодня ночью его разбудили соловьи, и я думаю... Я обещаю вам, что он больше не утащит ни булавки.

— Педагогический опыт?

— Допустим.

Никто не заметил, что произошло с Селюженком с той ночи, когда его разбудили соловьи. Вот если бы у него изменились глаза, или нос, или уши, это бы сразу заметили. А когда меняется что-то внутри, разглядеть трудно.

По-прежнему юркий головастик носился по всему лагерю. И по-прежнему в него, как копы, летели восклицательные знаки:

— Селюженок, убери ботинок с постели!

— Селюженок, не наступай на пятки!

— Селюженок, кто тебе разрешил трубить в горн!..

А малыши по-прежнему кричали ему вслед:

— Селюженок-медвежонок! Селюженок-медвежонок!

Да, собственно, ничего в нем и не изменилось, просто у человека появился в жизни интерес. Ему расхотелось тащить все, что попадается под руки. Он сбросил с себя старую, негодную шкурку и стал самим собой.

Ежедневно он приходил в художественную студию, садился за стол и лепил какие-то странные, несуразные существа, которые оказывались собаками, оленями, серенькими козликами.

...Вскоре в лагере открылась выставка работ юных художников. Любопытные зрители толпились в художественной студии и нетерпеливо разглядывали работы своих товарищей. Никогда еще в студии не было так шумно. Здесь вспыхивали горячие споры об искусстве, и каждый отряд стоял насмерть за своих художников.

И вдруг кто-то крикнул:

— Смотрите, Селюженок вылепил соловья!

Это известие произвело на ребят ошеломляющее впечатление. Все сразу изменили своим любимым художникам и бросились к столу, где на фанерной подставке стояло зеленое существо с огромными крыльями. Под этим странным существом было написано: «Соловей. Вылепил Селюженок из 4-го отряда». Ребята сбились в кучу. Всем не терпелось посмотреть, что такое мог вылепить похититель пластилина.

Зрители рассматривали селюженковского соловья, как величайшее чудо, как смелое открытие, как находку далекой древности.

— Похож! — кричали одни. — Правда, похож?

— Как живой! — откликались другие.

Никто из ребят никогда не видел живого соловья, и все были убеждены, что соловей в самом деле зеленый и большекрылый. Кто-то попробовал было возразить:

— Не похож. Я видел соловья.

На него обрушилось сразу несколько добровольных защитников Селюженка:

— Врешь ты все! Никто не видел соловья... кроме Селюженка.

Когда первая волна восторгов и споров улеглась, кто-то произнес:

— Говорили, что он стащил пластилин, а он соловья лепил. Наврали на человека.

Селюженок стоял в сторонке и с удивлением слушал, что говорят ребята, и ему казалось, что речь идет не о нем, а совсем о другом Селюженке. И тот, другой, нравился ему все больше.

В эту ночь его снова разбудил соловьиный свист. Мальчик открыл глаза и долго слушал, как выводит свои серебряные трели невидимый певец. И вдруг он подумал, что нечестно слушать соловья одному. Он

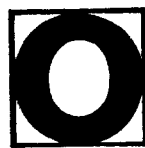
соскочил с постели и одного за другим стал будить ребят:

— Слушай, вставай! Соловей поет!.. Слушай, слушай!..

Не прошло и пяти минут, как вся палата была уже на ногах. Ребята теснились у окон и, сдерживая дыхание, слушали соловья. Никто, естественно, не мог разглядеть в темноте поющей птицы, но все почему-то представляли себе соловья зеленым и большекрылым. А самому Селюженку казалось, что это ожил и запел его соловей, слепленный бессонной ночью из похищенного пластилина.



ПИСЬМО МАРИНЕ



Он стукнул перышком и вывел первое слово: «Марина». Он долго думал, прежде чем написать это слово. Оно должно быть не первым, а вторым. А перед ним ему хотелось написать «дорогая», или «милая», или «самая лучшая». В его голове пронеслась целая вереница слов. Они были скрыты в дымке стыдливости и звучали вполголоса, словно кто-то произносил их шепотом.

Он испугался этих слов. И поэтому, когда написал «Марина», ему сразу полегчало.

Он грыз кончик тонкой оранжевой ручки и раскачивался на стуле, словно хотел научить стул стоять на двух ножках.

Оказывается, писать письма — трудное дело. Потруднее алгебры.

Он перестал качаться и устался в одну точку. И увидел перед собой Марину. Он увидел ее так отчет-

ливо, словно сидел за партой и скашивал глаза. Он видел ее профиль: каштановые волосы, белый лоб, ровный нос. Румянец не на щеке, а повыше — на скуле. Он так хорошо изучил Марину, что мог бы ее нарисовать по памяти.

Когда на уроке он смотрел в сторону Марины, из оцепенения его выводил голос учительницы:

— Почему ты смотришь в сторону?

Он вздрагивал и невпопад отвечал:

— Я смотрю в тетрадку.

— А надо смотреть на доску, когда я объясняю.

Хорошо, он будет смотреть на доску. Доска скрипела. Мел крошился. Цифры казались ему какими-то непонятными знаками, лишенными всякого смысла. Он смотрел на доску, а видел Марину, словно учительница рисовала ее портрет на доске.

Потом началась зима. Шел снег. Это спускались с неба миллионы маленьких раскрытых парашютов. Целый десант.

После урока играли в снежки. Марина была самой красивой девочкой, и поэтому ей доставалось больше всех. В некрасивых никто не бросал снежки. Каждому хочется бросить в красивую. Марина защищалась. Она закрыла лицо портфелем, как маленьким боевым щитом. Но ребята кидали со всех сторон. Сперва Марина смеялась. Потом в ее глазах появился испуг. Когда снежок попал за воротник ее серой меховой шубки, ему захотелось кинуться на ребят, защитить Марину, пусть даже попадет по уху. Но вместо этого он слепил свежий сырой снежок и тоже кинул в Марину. Он ненавидел себя за это, но ничего тогда не мог с собой поделать.

Сейчас надо написать об этом снежке. Пусть Марина не думает, что он такой бесчувственный чурбан. Он не хотел...

Он уперся локтями в стол и стал смотреть в окно.

Стены домов, каменные ограды, стволы деревьев были старательно побелены. Вероятно, людям, живущим на юге, белый цвет напоминает свежий морозный снег.

Он подумал о том, как в феврале встретил Марину в коридоре и, заикаясь от смущения, сказал:

— Приходи на каток.

Он был уверен, что Марина скажет какую-нибудь дерзость. Но она почему-то сразу согласилась.

— Если хочешь, приду, — сказала она и посмотрела на него серьезными карими глазами. — Жди меня у входа в семь.

Он пришел на каток в половине седьмого. У него не было часов, и он боялся опоздать. Он стоял на противоположной стороне и внимательно следил за входом. Шел крупный бесшумный снег. Горели десятки лампочек. Из всех лампочек было составлено слово «Каток». Веселая музыка наполняла его сердце тревогой. Несколько раз ему чудилось, что идет Марина. А это оказывались другие, незнакомые девчонки. И каждый раз, когда он ошибался, ему становилось неловко.

Он ждал долго, и ему уже начинало казаться, что Марина не придет. Наконец он увидел, как она подошла к ярко освещенному входу. Он не бросился к ней навстречу, а спрятался за уступом дома и стал смотреть на нее. Она поворачивала голову то вправо, то влево: искала его глазами. А он все медлил, все не решался выйти из своего укрытия. «Еще минутку! Еще минутку!» — шептал он сам себе. И все тянул время.

Марина отвернула краешек мехового рукава своей шубки и посмотрела на часы. Потом она еще немного потопталась на месте и пошла на каток. А он все стоял и смотрел. Когда Марина ушла, сердце его сжалось, и ему неудержимо захотелось догнать ее. Но он не мог пошевелиться. Так и стоял в своем укрытии.

Он презирает себя за малодушие. И ему хочется

написать Марине, что он был у входа на каток. Пусть она не думает, что он забыл или у него появились более важные дела.

Он вдруг почувствовал, что у него замерзли босые ноги. Самому было жарко, а ноги замерзли. Он встал со стула. Дверь была приоткрыта. В нее вошел солнечный луч и расстелил по полу светлую дорожку. Весь пол был прохладным, а солнечная дорожка — теплая. Он стал ходить по ней и греть ноги. Ему хотелось уйти по этой солнечной дорожке от своих тяжелых дум и от недописанного письма.

Но он заставил себя вернуться к столу.

После случая с катком Марина перестала его замечать. Он решил, что она никогда в жизни не простит ему обмана и не заговорит с ним. И от этого он чувствовал себя несчастным. Но однажды Марина подошла к нему и как ни в чем не бывало сказала:

— Завтра все идут в кино. Ты пойдешь?

— Пойду, — пробурчал он, краснея от неожиданности.

— Давай сядем рядом?

Он поднял глаза на Марину, и у него перехватило дыхание. Ее карие глаза светились. Они все прощали. Они были заполнены тихой, необъяснимой радостью. Он смотрел в них и от неожиданности не мог произнести ни слова.

— Сядем рядом? — повторила Марина.

— Да, — выпалил он.

Он ничего не мог понять.

В эти дни в городе начала хозяйничать весна. Она, видимо, не любила белый цвет и решительно перекрашивала город на свой лад. Снег беспомощно жался к домам, но весна настигала его и тут. Разлились лужи. Сырые ветры носились по улицам. И казалось, что за каждым углом — море.

Он шел в кино не разбирая луж. Он вообще ничего не замечал. И если бы на пути в самом деле встретилось море, он зашагал бы по морю, море было ему по колено.

У кино стояла учительница. Она держала в руке длинную синюю бумажную ленту и раздавала билеты. Когда он пришел, у большинства ребят уже синели в руках билетики. А у Марины не было билета. Она ждала его.

Завидев его, Марина подошла к учительнице и сказала:

— Дайте мне билетик.

И пока учительница отрывала от синей ленты билет, Марина глазами звала его. А он стоял как пень.

— Кому еще? — спросила учительница.

Марина звала его глазами: «Ну, что же ты медлишь? Бери скорее следующий билет, и мы будем сидеть рядом!» Но он топтался на месте, пока билет не взял Ленька Ключков.

В кино он сидел не с Мариной, а рядом с Ленькой Ключковым. Ленька весь сеанс грыз леденцы и кричал:

— Законно! Законно!

А он весь сеанс ерзал и все старался взглянуть на Марину. Но ему мешал Ленька Ключков.

Как жарко здесь, на юге! Конечно, здесь море. Но невозможно весь день просидеть в море. А когда без моря — жарко. Можно вылить на себя ведро воды, чтобы не топать к морю. Но ведра хватит на пять минут, потом снова будет жарко. А почему он, собственно, должен писать письмо?

Он уперся большими пальцами ног в пол и стал стучать пяткой о пятку.

А потом рука снова потянулась к оранжевой ручке. Надо писать письмо, раз обещал.

Он обещал Марине написать письмо с юга. Они шли вдвоем по набережной. На Марине было цветастое платье,

без рукавов и без воротника. А в глазах ее играло солнце. Марина держала руки за спиной, а ветер все время сбрасывал волосы на глаза. Ему хотелось осторожно коснуться ее волос и положить их на место. А он шел поодаль от Марины, чтобы не подумали, что он ее провожает. Ему казалось, что весь город знает, что он ее провожает.

Когда они дошли до Маринино дома, он быстро протянул руку и сказал:

— Пока!

Ему очень не хотелось делать это. Ему хотелось побыть с Мариной. Но он всегда поступал против своей воли, когда был с ней.

— Уезжаешь? — спросила его Марина.

Он посмотрел ей в глаза. И вдруг почувствовал, что сейчас должен рассказать ей, что не хотел кидать в нее снежок, и что на каток он приходил, просто не решился подойти к ней, и что в кино ему очень хотелось сидеть с ней рядом и он почти не смотрел на экран. Но он не знал, как решиться на этот разговор.

И тут Марина сказала:

— Напиши мне письмо.

Он сразу просиял. Он обо всем напишет в письме! Сказать трудно, а в письме все можно. Сел и написал. И он воскликнул:

— Обязательно! Я напишу тебе письмо. Длинное-длинное!.. Хорошо?

— Ага!

Марина качнула головой, и волосы снова съехали на глаза. И он уже протянул руку, чтобы осторожно убрать прядку... но рука вернулась с полдороги. И он снова сказал:

— Я напишу тебе длинное письмо!

Уже много раз перышко окуналось в чернильницу и высыхало. Пальцы стали фиолетовыми. Если судить по пальцам, то он исписал целую тетрадку. Но на белом листе было только одно слово: «Марина». Он смотрел на

море, а видел Марину в коричневом платье с фартуком, в серой меховой шубке, в платье без рукавов и воротника. Марина смотрела на него, и ее глаза спрашивали: «Ну, что же ты не пишешь? Ты же обещал!»

Наконец он взял себя в руки, в сотый раз ударил перышком о невидимое дно чернильницы и стал писать. Он рассчитывал, что письмо будет большим, но оно все уместилось на одном листке, да и тот был исписан всего лишь на три четверти.

Когда письмо было написано, он быстро пробежал его глазами: проверил, нет ли ошибок. А то Марина будет смеяться. Потом положил листок в конверт, запечатал и облегченно вздохнул.

И письмо полетело с жаркого юга на север, где шли дожди и где вместо вечнозеленого самшита росли обычные березки. На листке почтовой бумаги, вложенном в конверт, было написано:

«Марина!

Вот уже две недели как я в Крыму. Здесь жарко. Море рядом. Купайся сколько хочешь. Только дно плохое.

Я купаюсь. Загораю. Играю в волейбол. Вчера я ловил рыбу. Два часа простоял между скал на одной ноге. И ничего не поймал. Это потому, что я ловил бычков на хлеб. А бычков ловят на самого бычка. Важно только поймать первого. Вот и все.

Ну, пока!

Костя».



Когда зимним вечером вы пройдете по Большой Кирпичной, то обязательно услышите отдаленный гул, который то замирает, то вспыхивает с новой силой. Кажется, где-то за домами бушует маленькое незамерзающее море: гудит штормовой ветер и на берег накатываются тяжелые волны. Если вас заинтересует это странное зимнее море, то дойдите до Новосельской и сверните в арку углового дома. Перед вами откроются огни полярного сияния и клубы мутного пара, которые обычно поднимаются над теплым течением.

Только присмотревшись, вы обнаружите, что никакого моря нет. Есть ледяное поле, где гудят голоса маленьких любителей хоккея, звенят коньки и сломанные клюшки отлетают, как обломки кораблей. И если вы зайдете сюда, вам обязательно расскажут о Саньке Красавине.

Надо было видеть, как он стоял в воротах. Колени согнуты, голова опущена, подбородок уперся в грудь,



острые, чуть прищуренные глаза смотрят вперед. Санька видит насквозь атакующих противников со всеми их хитростями и приемами. Такой уж у него дар — за мгновение до щелчка знать, в какой угол полетит шайба. Он редко ошибался. Яростный бросок вперед — и даже самые внимательные болельщики не успевают оглянуться, как шайба оказывается в «ловушке».

Случалось, что после победы восторженные поклонники уносили Саньку на руках. И он плыл над маленьким ледяным морем, размахивая клюшкой, как веслом. Что было, то было!

Но однажды субботним вечером произошло событие, которое перевернуло всю дальнейшую Санькину жизнь, разрушило его планы, нависло угрозой над главной его мечтой. Витька Чернов из соседнего дома прорвался к воротам. Он сделал обманное движение — замахнулся и чуть промедлил с ударом, — а Санька, опытный Санька, попался на его хитрость: рванулся в правый угол. Шайба же покати-лась в левый. Спасая положение, Санька выбросил ногу влево и задержал шайбу! Когда же попробовал встать, острая боль пронзила ногу, и Санька снова очутился на льду.

Доктор сказал:

— Перелом лодыжки... Нехороший перелом.

— Играть смогу? — в упор спросил Санька Красавин.

Доктор покачал головой.

Теперь вместо клюшки в руках лучшего хоккейного вратаря с Большой Кирпичной появился костыль, а вместо ботинка с коньком ногу сковал гипс. И сам он стал тяжелым и неповоротливым. Выходя из дома, Санька старался быстрее проковылять к арке, чтобы не слышать похожий на морской прибой шум голосов. А когда до слуха долетал пронзительный клич «Шайбу!», морщился, словно кто-то специально дразнил его.

Когда товарищи по команде спрашивали Саньку Кра-

савина, скоро ли он вернется в строй, раненый вратарь отвечал: «Недельки через две встану в ворота». А через две недели он говорил: «Скоро... Уже почти не болит. Осталась ерунда».

На что он надеялся? На счастливый случай? Ведь врач ничего не обещал ему. А когда наконец снял гипс, то сказал:

— Будь осторожен. Перелом может повториться. О хоккее забудь.

Но как забыть о хоккее? Как вычеркнуть из жизни стремительный вихрь атак, звон коньков, свист летящей шайбы и приятную тяжесть доспехов, в которых чувствуешь себя водолазом? Как оторвешь от сердца маленькое ледяное море, которое в момент игры оживает, становится теплым и бурным, сбивает с ног и поднимает на гребень счастливой волны? Врачу легко рассуждать, он и клюшки-то небось не держал в руках. А что скажет Санька своим товарищам по команде? Ведь они ждут его. Надеются. Сейчас он придет во двор и ребята спросят: «Скоро, Сань?» Неужели у него повернется язык ответить: «Никогда!» И он ответил:

— Скоро! Вот уже сняли гипс. Нога окрепнет и...

Санька обманывал товарищей и самого себя. Он признавал, что никогда не сможет надеть коньки и выйти на лед с клюшкой, но смириться с этой мыслью тоже не мог. Он мучился, проклинал свои хрупкие, ни на что не годные кости.

Однажды ранним утром, задолго до школы, Санька оделся и тихо вышел из дому. В руках он держал клюшку, перчатки и щитки для ног. Что задумал отвоёвавшийся боец? Встать на лед или навсегда закопать свои ставшие ненужными доспехи?

У подъезда Саньку ждал невысокий плотный паренек. Шапка на затылке, руки в карманах, нос уточкой.

— Женька! — окликнул Санька паренька. — Идем!

На хоккейном поле было пустынно. Легкий сухой снег слегка припорошил лед, и от коньков оставались четкие бороздки.

— Одевайся! — скомандовал Санька и протянул Женьке все свое спортивное снаряжение.

Санька разговаривал сухо, отрывисто, с какой-то непонятной ему самому злобинкой, но Женька безропотно выполнял его распоряжения. И через несколько минут он уже в шлеме, в перчатках, в щитках, с огромной клюшкой в руке стоял на том месте, где обычно до злосчастного дня стоял сам Санька. Санька ревностно осматривал своего маленького преемника, и ему казалось, что у того все не так: и стойка неверная, и клюшку держит как палку.

— Подними голову! Или боишься шайбы?!

— Не боюсь. Бей!

Он еще не боится? Санька рассердился и поднял клюшку. Но ударил не со всей силой, чуть сдерживая свой замах. Шайба наткнулась на нос конька и откатилась в сторону, кружась на льду маленьким волчком.

— Молодец, — сказал Санька, хотя новый вратарь был тут ни при чем, шайба случайно наткнулась на конек. — Молодец! Внимательно следи за моей клюшкой.

И снова последовал удар. На этот раз посильней. Вратарь долго искал глазами шайбу, а она притаилась в сетке ворот, как пойманный карась.

— Пропустил! — вздохнул Женька.

— Ничего! — покровительственно сказал Санька. — Я тоже сначала пропускать.

Санька остался доволен первым уроком. Хотя новичок часто раздражал его и Саньку подмывало самому надеть коньки — хоть на минутку! — и показать ему, как это делается.

— До завтра! — сказал, вернее, скомандовал Санька.

— До завтра, — отозвался Женька, вытирая со лба пот и возвращая своему тренеру его снаряжение.

В подъезде Санька столкнулся с Филей, защитником дворовой команды.

— Тренируешься? — спросил Филя.

— А как же!

— Один?

— Скоро сыграем, — уклончиво ответил Санька и стал подниматься по лестнице. Он прижимал к себе тяжелые, пахнущие снегом доспехи. От этой приятной тяжести, от зимнего запаха Саньке казалось, что он сам только что стоял на льду на коньках, с клюшкой. Теперь ему не терпелось дожидаться следующего утра, чтобы выйти во двор, где у подъезда, как на часах, будет стоять Женька, нетерпеливо постукивая коньками.

— Пошли!

И начиналась тайная тренировка: удары, броски, снова удары. И надо было случиться, чтобы однажды Санька ударил по шайбе, а Женька растерялся и не сумел увернуться. Шайба оставила на лбу ссадину. Новый вратарь заплакал.

— Не плачь, Женька, — утешал его Санька, прижимая к рассеченному лбу горсть снега. — Бывает и такое.

Санька посмотрел на снег, зажаты в руке. — в нем, как искра, теплилась капелька крови. Санька сильнее сжал пальцы, чтобы погасить эту искру, и набрал свежего снега.

Женька вырывался и ревел:

— Не буду больше играть... Ну его, хоккей...

— Ты же обещал. Дал слово... Хочешь, я куплю тебе мороженого?

— Не надо мне твоего мороженого!

— Да не реви ты! Не реви, а то стукну...

Ни уговоры, ни угрозы — ничего не действовало. Женька уходил с поля, бросая на лед вратарские перчатки, шлем, щитки. Санька молча шел за ним и подбирал брошенное снаряжение.

На другой день Санька, как обычно, поднялся очень

рано и вышел во двор. Женьки не было. Санька, прихрамывая, бегал по пустому двору, свистел под Женькиными окнами. Женька так и не пришел.

Не пришел он ни на второй день, ни на третий...

А Санька каждое утро выходил во двор. На четвертый день Женька пришел. На лбу у него был здоровый синяк.

— Пошли! — как ни в чем не бывало скомандовал Санька и зашагал к хоккейному полю.

И снова в ранний час, когда дворовые хоккеисты еще досматривали сны, на катке звучали щелчки, слышался Санькин голос:

— Следи за моей рукой... Смелее выходи на шайбу... Крепче держи клюшку...

Надвигался ответственный матч. На этот раз противником хоккеистов дома с аркой была команда, которая на другом конце города славилась как непобедимая. Ребята готовились к бою. Они верили, что Санька Красавин встанет в ворота.

Как-то сам собой разнесся слух, что впервые после болезни на лед выйдет Санька Красавин. Эта весть облетела все близлежащие улицы. Ледяное поле окружило плотное кольцо зрителей. Горели лампочки. От дыхания поднималось теплое облако. Команды вышли на лед для разминки. А Санька Красавин не появлялся. Может быть, подвела нога? Или он раздумал играть? И вдруг по кольцу зрителей пронесся рокот:

— Идет! Санька идет!

Санька не спеша шел к хоккейному полю без шлема, без большой вратарской клюшки и без перчаток. И вообще на ногах у него были валенки. Зато следом, в полном вратарском облачении, семеня Женька. Зрители и команды наблюдали за этой картиной. Никто ничего не понимал. Санька подошел к ребятам и, положив руку на плечо своему преемнику, сказал:

— Он встанет в ворота!

Санька произнес эти слова так твердо, что никто не решился с ним спорить. Да и выбора у команды уже не было. Пора было начинать игру. Женька вразвалочку подъехал к воротам и клюшкой, как ладошкой, сгреб снег с вратарской площадки. Он был маленьким и в снаряжении напоминал гриб. Зрители встретили его появление в воротах смешком.

Когда же в начале игры Женька пропустил в ворота первую шайбу, все стали ругать и его и Саньку, который вместо себя «подсунул такого». Но очень скоро противнику пришлось убедиться, что загнать шайбу в Женькины ворота не так-то просто. Он ловко выставлял руку, и шайба как бы сама ныряла в «ловушку», он на лету парировал удары клюшкой, и шайба отлетала, как мяч от лопаты. Несколько раз, спасая ворота, Женька смело бросался в ноги нападающих, и болельщики устраивали ему овацию.

И вскоре игроки и болельщики забыли, что в воротах стоит не Санька Красавин, а его маленький друг. Слишком много в нем было Санькиного: зоркий глаз, ловкость, бесстрашие в самые критические минуты. И крепко стиснутому толпой болельщиков Саньке порой казалось, что в воротах стоит он сам, только совсем здоровый.

— Правильно!.. Хорошо!.. Давай-давай!.. — шептал Санька, и его суровое мальчишеское сердце наполнялось нежностью к этому маленькому человечку. Санька жил его победами, его удачами, а когда Женьке доставалось, вместе с ним испытывал боль.

Матч закончился победой команды с Большой Кирпичной. Ребята на радостях подняли вратаря на руки и понесли его через двор. А Санька остался на опустевшем ледяном поле... Нет, он не испытывал обиды.

В это время к Саньке подошел какой-то малыш и спросил:

— Ты инвалид?

Санька очнулся от своей радости и почувствовал глухую

боль в ноге, но с другого конца двора донесся знакомый голос:

— Санька!

И сразу множество голосов повторило:

— Санька!.. Санька!..

И он увидел, как, вырвавшись из рук своих почитателей, к нему по глубокому снегу бежал Женька, а за ним — вся непобедимая дворовая команда.

Ребята окружили Саньку, трясли ему руки, толкали, тискали его. И каждый испытывал чувство гордости за своего мужественного Саньку.

...Когда зимним вечером пойдете по Большой Кирпичной, то обязательно услышите отдаленный гул, который то замирает, то вспыхивает с новой силой. Кажется, где-то за домами бушует маленькое незамерзающее море.

ПОСЛЕДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК

Послушайте, мальчики! Знаете ли вы, что я был знаком с самим Джузеппе Роджеро? Это был знаменитый мастер. Огненный композитор. Он исполнял свои произведения не на скрипке и не на трумбоне. Его музыка рассыпалась в небе разноцветными огнями...

Мальчишки с открытыми ртами сидели на пороге старого бастиона и слушали рассказ дяди Евгения. А он, худой, костистый, с двумя большими морщинами на впалых щеках, с редкими пепельными волосами, широко разводил руки, словно открывал перед маленькими слушателями всю свою жизнь.

— Джузеппе Роджеро был молод и красив. Его вороненные кудри развевались на ветру, а большие черные глаза горели неиссякаемым восторгом... Я был его учеником.

При слове «ученик» мальчики сразу представили себе дядю Евгения за школьной партой, а красавца Джузеппе



Роджеро на месте учителя. Дети никогда не видят взрослых молодыми. Им трудно представить себе дядю Евгения мальчиком, и поэтому в воображении ребят дядя Евгений сидел за партой в своих стиранных-перестиранных полотняных брюках, в белой рубашке с неизменным галстуком-«бабочкой» на худой шее. А учитель Роджеро с развевающимися кудрями звал дядю Евгения к доске и велел ему взять мел и писать.

Старый бастион стоит на обрыве над самым морем. Когда разыгрывается шторм, море с грохотом идет на приступ каменной башни. Волны лезут по скалам, но обрываются и падают вниз, разбиваясь о камни. Бастион неприступен. Когда-то здесь стояла крепость. Неизвестно, отчего больше пострадало это славное боевое сооружение — от турецких ядер или от времени. Над пористым потемневшим камнем выросла акация. Ее легкая, призрачная листва еще больше оттеняет тяжесть и угловатость бастиона.

В бастионе стоит пушечный дух. Но не потому, что в нем ухают старинные пушечные орудия, которые заряжают с дула и подпаливают смоляным факелом. Этот дух поддерживает «адская кухня» — пиротехническая мастерская дяди Евгения. «Адской кухней» дядя Евгений называет ее, когда у него плохое настроение. При хорошем же расположении духа пиротехник зовет свой бастион «мастерской праздника». Мальчишки не помнят, когда появилась эта необычная мастерская. Вероятно, дядя Евгений облюбовал башню бывшей крепости задолго до их появления на свет.

Дядя Евгений очень худ. Кости проступают на скулах, на подбородке, на острых плечах и на лодыжках ног. Кажется, он сделан из того же материала, что и бастион. Ежедневно он снимает с двери висячий замок, похожий на большой каблук, и входит под своды своей таинственной мастерской. Сюда не ступала нога ни одного мальчиш-

ки. Невысокий стертый порожек преграждал им путь, как строгая граница. И плохо приходилось тому, кто вопреки запрету дяди Евгения осмеливался нарушить эту границу.

Зато смотреть можно сколько угодно. Смотреть, спрашивать, интересоваться содержанием банок, выпытывать секреты составления огненных смесей — это может каждый. И поэтому любой мальчишка из соседнего детского дома в курсе дела, из чего делают римские свечи и бенгальские огни. И каждый назубок знает всю огненную палитру дяди Евгения: красный цвет — соли стронция, зеленый — соли бария, синий — углекислая медь.

— Вот подрастете, — говорил дядя Евгений своим друзьям, — я научу вас искусству пиротехники.

Мальчишки клялись посвятить свою жизнь этому удивительному ремеслу. Но когда подрастали, их почему-то переставали интересовать бенгальские огни, и они находили интерес в других профессиях. Дядя Евгений оставался без учеников и последователей. Зато в друзьях у него никогда не было недостатка.

К дяде Евгению ребят привлекала не только его таинственная «адская кухня», от которой постоянно исходил жутковатый дух селитры — родной сестры пороха. Вся жизнь дяди Евгения была неиссякаемым источником самых необычных историй. И хотя мальчишки знали всю историю старого пиротехника так же хорошо, как состав динамической смеси, приводящей в движение огненные фигуры, они снова и снова приставали к своему седому другу.

— Дядя Евгений, расскажи, как ты повернул танк.

И дядя Евгений охотно исполнял просьбу своих маленьких друзей.

— Послушайте, мальчишки!

Дядя Евгений переставал месить серебристое тесто, из которого делают бенгальские огни, и обводил царственным взглядом мальчишек, которые жались к запретному порогу.

— Знаете ли вы, что, когда немцы подходили к городу, у нас не хватало противотанковых пушек?

Мальчишки дружно кивали головами, будто жили в то время и своими глазами видели, что противотанковых пушек не хватало.

— Тогда я взял на себя один рубеж. Вы можете мне не верить...

Дядя Евгений делал паузу, словно хотел прочесть в глазах своих слушателей: верят они ему или не верят? И глаза отвечали: верим! Тогда он продолжал:

— Вы можете мне не верить, но я вырыл себе окопчик... Чертовски крепкая у нас земля, силоватой камень... Я вырыл себе окопчик и принес в него весь запас своих римских свечей. Я сел на дно окопа и стал ждать. У меня не было никакого оружия. Даже перочинного ножа. Но со мной было мое искусство. И я надеялся на него, мальчишки... Мне было очень неудобно в окопе. И я сложился пополам, как железный метр. Вы можете смеяться, но я сложился пополам. Колени уперлись в подбородок... У меня онемела поясница, и я не мог ее потереть, потому что рука не проходила. И когда пошли танки, я обрадовался. А? Что? Смешно?!

Рассказчик делал паузу. Он испытывал терпение своих слушателей и нагнетал в них любопытство.

— На меня шел танк. А я сидел неподвижно, как кролик, загипнотизированный удавом. Я забыл о пояснице. Я смог бы сложиться вчетверо, только бы танк не лез на меня. И тогда я поджег первую римскую свечу.

Слушатели облегченно вздохнули, словно речь шла не о безобидной римской свече, а о грозном оружии, способном уничтожить танк.

— Я поджег одну римскую свечу, потом вторую, третью... Потом... Вы можете мне не верить, но когда десяток римских свечей, рассыпаясь огненными искрами, загорелся вокруг танка, фашист не выдержал. Он повер-

нул... Если вы мне не верите, то уходите и никогда больше не являйтесь ко мне.

Мальчишки молчали. Они боялись спугнуть вдохновение дяди Жени неловким движением или покашливанием. Он властвовал над их душами. А властелином он был своенравным и капризным.

— Он повернул, мальчишки! Он испугался вот этого теста!

Дядя Евгений протягивал к ребятам изделие своей «адской кухни» и начинал хохотать. Его трясло от смеха. Хохотали глаза, морщины на щеках, плечи, а старенький артистический бантик буквально подпрыгивал на его шее от смеха. Некоторое время мальчишки сидели молча, не зная, что делать. Тогда дядя Евгений переставал смеяться и прикидывался сердитым.

— Что вы не смеетесь? Разве не смешно?

В такие минуты в старом бастионе разыгрывался маленький спектакль. Ребята делали вид, что впервые слушают историю с танком, а дядя Евгений старался изо всех сил, будто рассказывал ее в первый раз.

Потом он неожиданно начинал жаловаться своим друзьям на то, как трудно доставать химикаты, на невнимание со стороны властей, на то, что «мастерская праздников» влачит жалкое существование.

— Моя профессия отмирающая,— сокрушенно говорил он.— Хотя пиротехника — младшая сестра ракет и космических кораблей.

И маленькие друзья всем сердцем хотели, чтобы его профессия не отмирала, а жила еще долго-долго.

Дядя Евгений относился к той редкой породе людей, у которых материальные блага не занимают в жизни никакого места. Для него ничего не стоило на последние деньги купить по случаю бертолетову соль или алюминиевые опилки. За всю свою жизнь он ничего не нажил, ничем не обзавелся. Все, что у него было, было при нем.

И может быть, его единственной собственностью были старые полотняные штаны, белая рубашка с аккуратно заштопанным воротничком и галстук-«бабочка», который он надевал даже в самую жаркую погоду, как некий рыцарский знак артистов и художников.

В жаркие дни камни бастиона накалялись, а резные листья акации не могли остановить идущие напролом лучи солнца. Внизу тяжело вздыхало море, словно проделало большой путь и никак не могло отдышаться. Дядя Евгений вешал на двери мастерской тяжелый замок и вместе со своими друзьями отправлялся купаться.

Худой и длиннорукий, он смешно балансировал на отвесной каменистой тропке и был похож на большую старую птицу, которая, прежде чем взлететь, долго машет крыльями.

Очутившись на берегу, он долго расшнуровывал свои ботинки, потом, прыгая на одной ноге, стаскивал полотняные штаны. В последнюю очередь он снимал рубашку и галстук-«бабочку». Дойдя до края берега, он пробовал воду большим пальцем босой ноги и подавал команду:

— Вперед! В воду!

И ребята, как будто подброшенные трамплином, устремлялись в море.

Сам он входил в воду медленно, с достоинством. А плыл, громко фырча и манерно выбрасывая вперед руки.

В старом бастионе, превращенном дядей Евгением в «мастерскую праздника», шла своя маленькая, ни на что не похожая жизнь. В ней было что-то необычное и притягательное. И мальчишки сходились сюда, как на огонек.

Нормальный ход жизни старого бастиона нарушил вестник, который однажды появился на пороге мастерской.

— Дядя Евгений! Дядя Евгений! Лешка сжег себе руку. Его отвезли в больницу!

Чумазий широколицый паренек, принесший эту весть, стоял перед дядей Евгением и, переминаясь с ноги на ногу, ждал, пока старый пиротехник перестанет рассматривать его изумленными глазами, в которых накапливалась тревога.

— Как сжег руку? — наконец спросил дядя Евгений.

— Ракетой. Хотел запустить ракету, а она загорелась...

— Какой ракетой? — спросил дядя Евгений и, не дожидаясь ответа, стал собираться.

В этот день он в первый раз не повесил замок на двери мастерской. Он механически поправил бантик на шее, провел рукой по остаткам волос и быстро зашагал в сторону города. В больницу его пустили не сразу. Он никак не мог растолковать, кем он приходится пострадавшему. По его объяснениям выходило, что он посторонний человек.

— Кто вы, собственно, такой? — допытывалась дежурная сестра.

Человек в полотняных штанах, с бантиком на шее явно не внушал ей доверия.

— Я пиротехник Бурый. Евгений Сергеевич Бурый.

— Пиротехник? — настороженно переспросила сестра. — Это по вашей милости мальчик получил ожог второй степени?

— При чем здесь моя милость? — пробормотал дядя Евгений и опустил голову.

Он сел на скамью и стал ждать. Он был подавлен происшедшим.

«А может быть, я и в самом деле виноват?», — думал дядя Евгений, и эта мысль усугубляла его отчаяние.

В конце концов его все же пустили к больному Лешке. Ему дали белый халат. Халат оказался на толстого человека, а дядя Евгений был худ, и халат повис на нем, как парус на мачте при безветрии. Но пиротехника это мало интересовало. Он даже забыл поправить бантик, который съехал на сторону.

Очутившись в палате, дядя Евгений сел на краешек койки и некоторое время сидел молча. Он разглядывал своего маленького дружка, словно хотел убедиться, не произошла ли ошибка.

— Что же это ты? — спрашивал он Лешку.

— Я хотел ракету сделать, чтобы летела метров на сто. Понимаете? — говорил Лешка.

— Ракету? — как бы про себя произносил дядя Евгений. — Что ты в нее заложил?

— Порох и... головки от спичек.

— Зачем же порох? — вспыхнул дядя Евгений, но тут же спохватился и начал говорить тихо: — Не мог посоветоваться! Я бы тебе... Да что теперь говорить!..

— Я боялся, — сконфуженно пробормотал больной.

— Кого ты боялся?

— Вас!

— Эх ты, рыба голова! Пороха не боялся, а меня испугался. Разве я такой страшный, чтобы меня бояться?

— Вы строгий.

— «Строгий»! — передразнил мальчика старый пиротехник. — А разве в моем деле можно быть не строгим? Мой учитель Джузеппе Роджеро бил меня по рукам... за неосторожность. И я ему благодарен.

Дядя Евгений отвернулся. Он снова ушел в свои тяжелые мысли. Вид у него был такой расстроенный, что у Алешки сжалось сердце. Он никогда не предполагал, что веселый чудаковатый дядя Евгений может так сокрушаться. Мальчик привстал на постели и потянул дядю Евгения за халат.

— А? Что? Смешно? — Дядя Евгений подскочил, словно его только что разбудили.

— Ничего не смешно, — говорил мальчишка. — А у меня рука почти не болит.

— Болит. Я знаю... У меня в детстве все руки были обожжены. Но-но-но! Это тебя не касается. Ясно?

Теперь уже не он утешал Алешку, а пострадавший говорил ему о том, что ожог ерундовый. Но дядя Евгений качал головой и сутулился. Где-то подспудно он начинал считать себя виноватым. И эта мысль сломила его, сложила, будто железный метр, на части, как тогда, в противотанковом окопчике...

На другой день дядю Евгения вызвали в милицию. К товарищу Шмелеву.

Старый пиротехник долго рассматривал маленькую повестку с лиловым расплывчатым штампом. Он несколько раз перечитал ее, словно хотел проникнуть в тайный смысл этой казенной бумажки. Но никакого иного смысла не было: бумажка просто уведомляла, что гражданину Бурому Е. С. надлежит явиться такого-то числа в такое-то время к товарищу Шмелеву.

Он пришел в назначенный час. В своих полотняных штанах, которые от стирки так сели, что казалось, владелец вырос из них. В кабинете были двое: сам товарищ Шмелев и инспектор района.

Во время разговора товарищ Шмелев молчал. В разговоре не участвовал. Но своим присутствием товарищ Шмелев как бы скреплял каждое слово лиловым расплывчатым штампом, таким же, как на повестке.

Товарищ Шмелев молчал, а говорил инспектор:

— Государство обеспечило вас хорошей пенсией, а вы тут приработок нашли...

— Приработок? — дядя Евгений поднялся со стула. — Приработок?!

Его глаза расширились от удивления. Слово «приработок» звучало для него как иностранное, чужое слово, и он не знал точного его перевода. Но инспектор не отступал.

— А как же, — говорил он с нажимом, — что вы, задаром целые дни корпите в своем бастионе?

— Задаром.

Инспектор недоверчиво посмотрел на пиротехника.

А товарищ Шмелев отвернулся. Ему, видимо, неприятен был весь этот разговор.

— Задаром. Для души. Вы понимаете, что такое для души?

Инспектор выкатил свои черные блестящие глаза. Они, как два ртутных шарика, скользнули по серым полотняным штанам, по белой рубашке с аккуратно заштопанным воротничком и остановились на галстук-«бабочке». Он не мог решить, кто этот старик: ловкий лжец или чужак, свалившийся с другой планеты. И он сказал:

— Для души стихи пишут. — И тут же на всякий случай поправился: — Раньше писали.

Дядя Евгений пропустил его слова мимо ушей. Он вдруг сказал:

— Вот товарищ Шмелев лет десять назад тоже проводил у меня целые дни. Спросите его. Он все знает.

Инспектор посмотрел на товарища Шмелева такими глазами, как будто сейчас на месте участкового уполномоченного уже сидел совершенно другой человек. Шмелев ерзал на стуле и был красный. Шея, уши, лицо — все залилось яркой краской стыда.

— Да, да, — скороговоркой сказал участковый, — я дядю Евгения... гм... товарища Бурого... знаю. Он бескорыстно действует. Так сказать, в интересах общества... Но, конечно, осторожность в таком деле...

Дядя Евгений не дал ему договорить.

— Мне все понятно, — сказал он и провел рукой по пепельным волосам. — Будем осторожны.

Больше он ничего не сказал. Он поднялся со стула и направился к двери.

Что случилось с мальчиками? Почему они не появляются на пороге старого бастиона? Разве они не понимают, что без них «мастерская праздника» теряет весь свой

смысл? Может быть, они после случая с Лешкой перетрусили и так сразу изменили своему другу?

Теперь в ожидании своих маленьких друзей он терялся в догадках. Он не мог допустить, что они изменили ему. Он терпеливо ждал их, а они все не шли.

Спустя неделю на старый бастион забрел Лешка. Его только что отпустили из больницы, и он, пользуясь временной свободой, свернул к дяде Евгению.

Он застал пиротехника одиноко сидящим на пороге бастиона. Мальчик не узнал своего старого друга. Дядя Евгений зарос серебристо-рыжей щетиной. Он весь осунулся, сгорбился, а глаза глубоко ввалились в глазницы. Гордый рыцарский знак сиротливо валялся на банке из-под бертолетовой соли.

Заметив мальчика, дядя Евгений привстал, улыбнулся и сделал несколько неуверенных шагов навстречу.

— Здравствуй, друг!

Он сразу оживился и стал похожим на прежнего дядю Евгения.

— Как твоя рука? Зажила? На вашем брате все заживает. Все!

Лешка молчал. Он все старался понять, что же произошло со старым другом. А тот взял его, Лешку, за плечи, стал трясти, поворачивать в стороны, словно хотел получше рассмотреть. И вдруг он отпустил Лешку и спросил:

— Слушай, а где остальные мальчишки?

Лешка запнулся, но потом ответил:

— Их сюда не пускают. Инспектор запретил. Сказал, чтобы на пушечный выстрел не подходили.

Мальчик произнес эти слова скороговоркой: хотел поскорее избавиться от них, как от чего-то очень неприятного.

А дядя Евгений отвернулся и стал смотреть на море.

— Говоришь, на пушечный выстрел? — спросил он, не поворачиваясь.

Да, так распорядился инспектор. Этому казенному человеку и в голову не приходило, что своим распоряжением он нанес удар прямо в сердце старого пиротехника. Он отнял у него главное: его мальчиков, его собеседников, его семью, его душу. Чтобы старое дерево засохло, его не обязательно спилить — достаточно подрубить главный корень...

Лешка сказал:

— Я побегу. А то нагорит... А ракету я все равно запущу. Как только рука заживет. Пусть знают наши!

И он нехотя побрел в сторону детского дома. А дядя Евгений остался у старого бастиона.

Неожиданно темное южное небо ожило. Его разбудили стремительные огни фейерверка. Зеленые огни рассыпались электрическими искрами, красные загорались костром, синие трепетали, как фосфоресцирующие капли моря. Это начался фантастический звездопад. Разноцветные звезды полетели с земли в небо.

Люди выбегали на улицу и, задржав головы, неотрывно следили за игрой ярких живых огней. Никто не понимал, что случилось. Все в городе привыкли, что фейерверк устраивается по праздникам и в честь выдающихся событий. И тут же на улице стали поговаривать, что в космос ушел новый корабль и это в честь него дается внеочередной фейерверк.

Все новые и новые снопы света возникали в небе. Испуганные голуби стаями носились над городом. При свете ракет они были красными, синими, желтыми, как райские птицы.

Небо переливалось огнями, а в это время у старого бастиона кипела работа. Это отсюда стартовали ракеты и римские свечи. Всю площадку заволокло едким дымом. Похоже было, что здесь трудится целая бригада огнепоклонников. Но в дыму виднелась только одна худая про-

ворная фигура. Она металась из конца в конец. И там, где она появлялась, возникала вспышка и звучал оглушительный хлопок.

Это был дядя Евгений. Он собрал все запасы «мастерской праздника» и превратил площадку перед бастионом в огневую позицию. От черного дыма его белая рубаша покрылась копотью, а прядь пепельных волос крепко прихватило огнем. Но старик — откуда только взялись силы! — бегал от одной римской свечи к другой. Сейчас он пустил в ход не только все запасы своей «адской кухни», но и неприкосновенный запас молодости, который сумел сохранить до седины.

Нет, это не праздничный салют будил сонное вечернее небо — это кипел прощальный фейерверк!

Этими огнями дядя Евгений звал своих мальчиков, тех, кому настрого было запрещено появляться на пороге старого бастиона, и тех, кто давно вырос и сам забыл сюда дорогу. Он слал в небо красные, желтые, зеленые ракеты, и они сигналили, как таинственные позывные, которые были понятны только тем, кто многие часы провел с дядей Евгением.

«Эй, мальчики,— сигналили ракеты,— я ухожу от вас! Прощайте, мальчики! Вы, мальчики,— соль земли, на вас свет сошелся клином. Мальчики всегда есть на земле: потому что на смену одним приходят другие. Я люблю вас, мальчики, мальчики, мальчики!..»

Небо кипело огнями. Но ему все казалось мало. И он стрелял и стрелял... А в глазах стояли слезы. Но это не были слезы обиды. Это были слезы прощания.

Есть жизни, похожие на копилки: они долго теплятся. Они дают мало света и наполняют округу дымом и копотью. Но есть жизни-звезды, которые вспыхивают ненадолго, но своим горением делают мир удивительным.

Он жил, как звезда. И звезды фейерверка были его друзьями.

Еще! Еще! Еще!

Огни уходили ввысь и не возвращались на землю, а пропадали из глаз в густой темноте южного неба. И сердца знакомых и незнакомых мальчишек летели следом за этими огнями.

...Когда последняя ракета растаяла в вышине, дядя Евгений перевел дыхание и устало опустился на каменный порожек. Он глубоко вдыхал в себя родной едкий запах «адской кухни», словно хотел надышаться им впрок. Потом он поднялся. Осторожно прикрыл дверь «мастерской праздников» и ушел.

Больше его никто не видел. Может быть, он переехал в другой город. А может быть, умчался с огнями своего последнего фейерверка. И только отблеск его фейерверков продолжает гореть в памяти людей и не погаснет до тех пор, пока в человеке жив человек.

ЦВЕТOK
ХЛЕБА



Сколько маленький Коля помнил себя в войну, он всегда был голодным. Он никак не мог привыкнуть, приладиться к голоду, и его ввалившиеся глаза сердито поблескивали, постоянно искали добычу. Черноволосый, нестриженный, взъерошенный, с проступающими ребрышками, он был похож на маленького исхудалого волчонка. Он тянул в рот все, что было съедобным, — щавель, вяжущие ягоды черемухи, какие-то корни, дикie лесные яблоки, пронзительно кислые и крепкие. Дома ему давали болтанку и хлеб. Мать добавляла в муку веники — вымолоченные метелки проса, и хлеб был тяжелый, вязкий; от него пахло сырой глиной. Но и этот хлеб голодный мальчонка съедал мгновенно, жадно посапывая раздутыми ноздрями.

Один раз за всю войну он наелся хлеба вдоволь. И хлеб был не из веников — настоящий. Его припесли с собой наши автоматчики. Они вошли в хату ночью. Их тяжелые шинели и сбитые сапоги были измазаны чем-то белым и фосфоресцировали в полутьме, словно к



ним налипли хлопья снега. А на дворе шел дождь. Бойцы пришли не из степи, а спустились с меловых гор, спуск был трудным, и они измазались в мелу. В теплой хате от солдат шел банный пар, и сразу запахло табачным дымом, мокрыми портянками, ременной кожей и ароматным свежим житником, который они выкладывали на стол.

От ночных гостей в хате стало тесно, как на вокзале, и маленький Коля почувствовал себя не дома. Он забился в угол и опасливо наблюдал за пришельцами. И тут его заметил скуластый солдат, прихрамывающий на левую ногу. Он поманил к себе Колю:

— Эй, хозяин, пойд-ка сюда. Хлебушка хочешь?

Мальчику захотелось крикнуть: «Хочу! Хочу!» Но к горлу подкатил ком. Он не мог произнести ни слова и молча глотал слюну.

— Ты, наверно, плотно поужинал?

Коля растерянно заморгал, а скуластый солдат развязал мешок и сунул ему в руку большой кусок хлеба. У голодного мальчика закружилась голова. Он вскарабкался на печку, зажмурил глаза и припал к хлебу. Он дышал хлебом, ласкался к нему, согревал его руками и щекой. Он откусывал то мякиш, то с веселым азартом грыз корку, и покойная сытость сладко разливалась по телу. Коля подобрел от хлеба, как взрослые добреют порой от вина. Ему казалось, что все вокруг хлебное: и лежит он на хлебе, и под головой у него мягкий хлеб, и покрыт он теплым хлебом. Он уснул, и всю ночь ему снился хлеб.

...Когда война подходила к концу, мать посеяла на огороде полоску пшеницы. Вскоре из земли проклюнулись робкие всходы. Они были похожи на траву. Мальчик пожевал травинку и не почувствовал хлебного вкуса: трава как трава. Может быть, никакого хлеба и не будет. Но трава начала сворачиваться в трубку.

— Скоро наш хлеб зацветет, — говорила мать.

И все ждали, и Коля ждал, и ему на память приходил

свежий солдатский житник и счастливая хлебная почва, которая то ли была на самом деле, то ли приснилась. Коля ждал, что хлеб зацветет голубыми цветами или алым маковым цветом. А может быть, как вишня, покроется белой метелицей. Он так и не заметил, как цветет хлеб. Появились колосья — глазастые, голубоватые, чуть запотевшие. Потом полоска стала соломенной.

Когда собрали первый урожай, бабушка на радостях испекла два коржа величиной с подсолнух. Коржи были пахучие, румяные. Бабушка смазала их масляным перышком и посыпала солью, крупной, как толченное стекло. От коржей шел жар, и они светились, как два маленьких посланных солнца.

Мальчик сидел перед столом, и его ввалившиеся глаза приросли к коржам. Он ждал, когда ж его угостят, и вдыхал в себя теплый дух испеченного хлеба. Он едва сдерживался, чтобы не протянуть руку и не взять без спроса завидное угощение. Наконец бабушка сказала:

— Отведай, внучок, моего коржа.

Какая-то скрытая пружина сработала внутри — руки мгновенно устремились к коржу, пальцы крепко сжали его и потянули в рот. Корочка обжигала губы, соль пощипывала язык, ноздри раздувались, боясь упустить толику вкусного запаха. Нет, корж был повкуснее солдатского житника, но он таял с неудержимой силой: и вскоре в руке мальчика остался тоненький полумесяц. И его скоро не стало... Коля облизал губы, облизал пальцы и тяжело вздохнул. А второй корж, румяный, целехонький и наверняка еще более вкусный, лежал на столе и призывно улыбался всей своей рожицей.

— Отнеси этот корж деду, — сказала бабушка.

— Давай отнесу, — упавшим голосом сказал Коля.

Дед был очень старым и жил на пасеке. Домой он приходил в те редкие дни, когда на огороде топили прокопченную, покосившуюся баньку. Все лицо деда заросло щети-

ной, словно из подбородка и щек торчало множество железных гвоздиков. Коля боялся приблизиться к деду, чтобы не уколется.

Бабушка завернула горячий корж в лопух и протянула его Коле. Сперва он нес свою дорожную ношу в руках. Потом лопух пришлось выбросить, а корж спрятать за пазуху, чтобы его не отняли мальчишки. Корж был горячим, он жег кожу, а крупная соль въедалась в обожженное место. Коле казалось, что он несет за пазухой сердитого зверька и зверек кусает его живот. Но он терпел. Он прошел мимо мальчишек, и они не заподозрили, какой вкусный гостинец спрятан у Коли за пазухой.

Дед не услышал прихода внука. Он сидел перед пчелиным водопоем — перед желобком, по которому текла вода. Пчелы облепили желобок и пили, опуская хоботки в прохладную воду. Дед подставлял руку, и вода стекала ему в ладонь. Он подносил ладонь ко рту и пил пчелиную воду, она была сладковатой. Пчелы ползали по плечам, по голове деда, забирались в ушную раковину. Они не кусали деда. Они его признавали за своего.

Дед обрадовался. Он вертел корж в руках и нюхал. А Коля стоял перед стариком, поглощенный надеждой, что дед разломит корж пополам.

— Хороший корж, — сказал дед.

— Хороший, — тут же согласился Коля.

— Без немцев и земля лучше родит! — Дед опустил руку с коржом. — Как там бабка-то? Ползает?

— Ползает, — вздохнул мальчик и, чтобы не думать больше о корже, спросил: — Дед, а тебе медаль дадут.

— Зачем медаль? — сказал он. — Мне бы здоровья.

Дед не стал есть гостинец, а отнес его в шалаш. До чего же жадный дед! Совсем одичал со своими пчелами. Он специально прятал корж, чтобы не делиться и потом спокойно жевать его, макая в липкий гречишный мед.

Коля собрался уходить. В последнюю минуту, когда

дед протянул котомку с грязным бельем — пусть бабка простирнет! — у Коли что-то дрогнуло, и он чуть не попросил у деда кусочек коржа. Но сумел побороть минутную слабость. И промолчал.

Он шел не спеша, размахивая котомкой, и думал о том, что, когда кончится война, в доме будет много хлеба и он будет есть коржи утром, в обед и вечером. А сейчас корж ест дед — он, Коля; уже съел свой. Мальчик представил себе деда, который долго перемалывает беззубым ртом запеченную корочку. Старый, наверное, и вкуса-то не чувствует.

Дома он сунул бабушке котомку и буркнул:

— Дед велел простирнуть!

— Как он там, не болеет? — насторожилась бабушка.

— Чего ему болеть-то? Пасет себе пчел.

Бабушка молча принялась выкладывать на лавку дедушкино бельишко, рассматривая, где надо заштопать, где залатать. На дне котомки оказалась чистая тряпица, завязанная узлом. Бабушка развязала непослушными пальцами узел. В тряпице лежал корж. Она ничего не сказала. Положила нежданный гостинец перед внуком.

Румяное, густо посыпанное солью солнышко ослепило мальчика. Радостный огонек вспыхнул в его глазах. Он проглотил слюну, предвкушая угощение, и протянул руку к коржу. Но какое-то незнакомое чувство удержало его руку. Это чувство оказалось сильнее голода, важнее хлеба. Значит, дед не жует корж и не макает его в гречишный мед, а пьет свою подслащенную водичку, которая заглушает голод, и пчелы ползают по его плечам... И он воевал с фашистами, а медали ему не надо.

Коля сполз со скамейки и пошел прочь... Но через некоторое время он вернулся. Взял со стола остывший корж. Завернул его в чистую тряпицу и положил в дедушкин сундук, где лежали старые сапоги, шапки, дратва, мешок с самосадом и штык, привезенный с прошлой войны.



Дождливым вечером в отделение милиции вошли двое: мужчина в блестящем плаще с пестрым шарфом вокруг шеи и мальчик лет девяти, мокрый, измазанный глиной, с царапиной на подбородке. Мужчина был встревожен и все время облизывал пересохшие губы тонким, проворным языком муравьеда. Глаза его поблескивали, под ними отвисли мешочки. Лицо мальчика не выражало ни испуга, ни смутения. Оно было безжизненным, словно хозяин ушел куда-то, а лицо осталось. С мокрых волос на скулы сползали капли дождя.

Мужчина держал мальчика за руку чуть выше кисти. В другой руке он сжимал какой-то тяжелый инструмент, вроде тех, какими водопроводчики привинчивают трубы.

В комнате дежурного было несколько человек. На деревянном диване сидела бабка в обнимку с большим узлом.

Рядом, откинувшись на высокую спинку дивана, обосновался пожилой подвыпивший человек. Он дремал

и во сне никак не мог удержать голову, она падала то влево, то вправо.

Перед барьером, отделявшим стол дежурного от остальной комнаты, стояла женщина — скуластая, с салными волосами. Она без умолку говорила дежурному:

— Он меня первый заобидел... Я к нему добром, а он меня заобидел...

— Садитесь и напишите,— видимо, не в первый раз повторял дежурный; голос у него был юношеский, с хрипотой.

— И про огурец писать?

— И про огурец пишите,— устало вздохнул дежурный. И тут он заметил мужчину и мальчика.— Вы обождите,— сказал он им.— Баранова, подойдите ко мне.

Бабка ловко подхватила узел и поплыла к барьеру.

— Посидите пока,— сказал дежурный мужчине и мальчику.— Я вас вызову.

— Спасибо,— сдержанно отозвался мужчина.

Он сел и потянул за собой мальчика.

Подвыпивший приоткрыл глаза, поднял брови и, щурясь, как от яркого света, уставился на своих новых соседей.

— Поймал? — в упор спросил он мужчину.

— Поймал,— ответил тот, что в плаще. и облизал губы.

— Отпусти ты его руку — никуда не денется.

— А сбежит?

Подвыпивший присвистнул и закрыл глаза. Мужчина стал ждать, когда его вызовут. Мальчик по-прежнему сидел с застывшим лицом. Он не чувствовал, как капли с волос текли по щекам. Старушка навалилась на барьер и что-то энергично нашептывала дежурному. Плечи ее ходили ходуном, а голоса не было слышно. Стучали часы. В комнате стоял тот особый вокзальный дух, который устанавливается в помещениях, где на смену одним людям приходят другие и нет постоянных жителей.

Дверь отворилась, в нее просунулась сальная голова скуластой женщины.

— И про кадушку тоже писать? — спросила голова.

— И про кадушку пишите! — прикрикнул дежурный.

Голова тотчас скрылась.

Через некоторое время бабка Баранова, прижимая к животу узел, приплыла обратно на скамейку, и дежурный позвал мужчину и мальчика.

— Что у вас? — спросил он и поднял голову.

Глаз милиционера не было видно, их скрывал большой козырек. Щеки и подбородок были розовыми, нежными и никак не подходили к форме блюстителя порядка.

Мужчина молча положил на барьер тяжелый инструмент, нарочно стукнув им о некрашеную доску:

— Вот.

— Что это?

— Разве не видите — бандитский инструмент.

И тут за его спиной послышалось покашливание и мягкий раскатистый смешок:

— Какой же это бандитский инструмент? Это саперные ножницы. Ими колючую проволоку...

За спиной мужчины стоял подвыпивший и слегка покачивался.

— Сядьте! — строго сказал ему дежурный.

— Слушаюсь! — с наигранной покорностью выпалил тот и, неловко повернувшись, зашагал к скамейке, на ходу повторяя: — Саперные ножницы — бандитский инструмент!

Дежурный взял инструмент и стал внимательно осматривать. Он никогда не держал в руках ничего подобного и старался своим умом дойти, как обращаться с этим тяжелым военным инструментом.

— Твой? — спросил он мальчика.

— Нашего дедушки.

— Как им действуют? Знаешь?

Мальчик кивнул головой. И тут его оттеснил мужчина с пестрым шарфом на шее:

— Чего тут знать? Чего тут знать?! Он ко мне на участок за клубникой лез, а это, — мужчина опасливо покосился на инструмент, — это для того, чтобы по голове. Раз!..

— Подождите, — остановил его дежурный. — Вас по голове не ударили... Так как им действовать? — снова спросил он мальчика.

Мальчик посмотрел на дежурного и поднял глаза к потолку, а вместе с глазами поднялись и нос, и подбородок с царапиной. Он сказал:

— Надо по-пластунски подползти к переднему краю... Осмотреться, прислушаться... Потом надо приподняться и упереть левый локоть в землю...

Мужчина быстро провел языком по губам, словно слизнул муравья, и перебил мальчика:

— Товарищ дежурный, что он чушь мелет! Пусть про клубнику рассказывает.

Мальчик мрачно сказал:

— Я не ем клубнику. У меня от клубники сыпь... Если проволока зазвенит, надо сразу прижаться к земле и переждать. Потому что враг может дать очередь по проволоке.

— Ай да малой! — подал голос подвыпивший пожилой человек. — Можно подумать, что на войне был!

— Я не был, — признался мальчик. — У нас дедушка на войне был. Он сапер двадцать третьей гвардейской дивизии. У нас дедушка всегда разведчиков провожал. Он им проход делал этими ножницами... Разведчики говорили, что дедушка им приносит удачу...

— Это дед научил тебя за клубникой по чужим участкам лазать? — враждебно спросил мужчина.

Мальчик с недоумением взглянул на него:

— На переднем крае не было клубники. Участки там были — участки фронта, клубники не было... У нас дедушка на mine подорвался... Ему орден дали.

— А тебя в милицию привели.
 — Да подождите вы! — не выдержал дежурный. —
 Когда надо, я вас спрошу!
 — Распустили население! — буркнул мужчина и размотал на шее пестрый шарф.
 — Я тоже буду сапером, — сказал мальчик. — Я тренируюсь на колючей проволоке...
 — Ишь ты, сапер огородный! — Муравьев облизал губы.

И тут что-то грохнуло — это подвыпивший поднялся с деревянного дивана.

— Ты над сапером не смейся! — Он сразу протрезвел, и голос его обрел твердость. — Ты, может быть, в тылу отсиживался, а для нас сапер — отец родной. Сколько жизней он спас нашему брату!

Мужчина в плаще наклонился к дежурному, ища поддержки у представителя власти. Мешочки под глазами вздрагивали. И подбородок тоже свисал мешочком.

В комнате установилась тишина, которую уже никто не решался нарушить. Бабка Баранова крепче прижала к себе узел.

Дежурный отодвинул стул и встал.

— Бери свой инструмент. Иди! — сказал он мальчику.

— То есть как «иди»! — возмутился мужчина. —

А протокол?

— Не будет никакого протокола.

Мальчик подхватил дедовский саперный инструмент, прижал его к себе и скрылся за дверью. А хозяин нетронутой клубники еще долго ворчал, грозился, жаловался на распушенность населения. Подвыпивший уселся удобнее на деревянном диване, закрыл глаза и тихо затынул жалобную песню, привезенную когда-то с войны.



Юный Шаров сидел в кресле, вытянув ноги в серых брюках с пузырями на коленях. Он вобрал голову в плечи, подбородком же уперся в грудь. Рыжеватые, давно не стриженные волосы налезали на глаза, рот был полуоткрыт, уши горели. Руками он вцепился в подлокотники кресла, да так сильно, что кончики пальцев побелели. Глядя на него, можно было подумать, что кто-то жестко отсчитывает: «Пять, четыре, три...» — и когда произнесет «один», раздастся грохот и кресло вместе с мальчиком взлетит ввысь, оставляя в небе огненный след.

На самом деле никакой полет не предстоял — мальчик сидел перед телевизором и смотрел хоккей. Как все неповоротливые, мешковатые люди, он любил наблюдать за ловкостью и проворством других. И хотя в мире не существует переселения душ, душа юного Шарова покинула полное, обремененное в поношенную школьную форму тело и пере-

неслась в могучий торс нападающего «Крылышек». Ах, юный Шаров, никто не знал, что здесь, в кресле, осталась только твоя оболочка в брюках с пузырями на коленках. Сам же ты перенесся в таинственное зазеркалье телевизора и летишь, звеня коньками, по льду. Шайба приросла к клюшке. Обошел одного игрока, второго. Сделал обманное движение. Защитник кинулся тебе под ноги — напрасно! Резкий рывок в сторону — и ты один на один с вратарем. Сердце похолодело от радостного напряжения. Вратарь замер в воротах, как огромный краб с поднятыми клешнями. Мгновение — в это мгновение юный Шаров вообще перестал дышать — и удар! Не очень сильный, вполне легкий, но коварный: вратарь кинулся влево, шайба, кружась волчком, вкатилась в правый незащищенный угол ворот.

— Ура! — уже не на ледяном поле, а дома закричал юный Шаров и с треском отодвинул кресло.

Дверь отворилась. Отец, бледный, осунувшийся, глухим голосом сказал:

— Имей совесть!

И, не дожидаясь ответа, затворил дверь.

Юный Шаров нехотя вернулся из зазеркалья в комнату. Что-то пробормотал отцу, вернее, уже закрытой двери. И принялся жевать бутерброд с колбасой, отчего его губы сразу заблестели. Невнятная тревога портила хорошее расположение духа, как гвоздь в башмаке или соринка, угодившая в глаз. На ледяном поле продолжалась спортивная баталия. Но хоккей поблек, утратил свою привлекательность. Словно сбилась настройка и на экране все происходит не в фокусе. Мальчик подошел к телевизору, вяло повернул выключатель. Раздался слабый щелчок, и все исчезло, погасло. Юный Шаров вспомнил, что умерла бабушка. Лежит рядом в комнате на узком старомодном диване с зелеными кисточками. Она рядом, и вместе с тем ее уже нет, она где-то далеко. И от этой дали на сердце возникает гнетущая тяжесть.

...Когда он вернулся из школы, пришлось долго звонить — никто не открывал. Что она, уснула? Он здорово рассердился на бабушку и уже готовился высказать ей свое недовольство, но дверь открыл отец.

— Почему ты трезвонишь? — тихо, но с укором произнес отец.

— Где Баваклава?

С раннего детства он привык так называть бабушку Клаву. Вместо «баба» — «бава» и в одно слово.

— Нет ее, — отвернувшись, сказал отец.

— Ушла?

Отец ничего не ответил, зашагал прочь. А юный Шаров остался стоять посреди прихожей в шапке-ушанке, съехавшей набок, в расстегнутом пальто. Ему казалось странным и то, что не Баваклава открыла дверь, и то, что отец какой-то растерянный, безразличный... Может быть, заболел и послал Баваклаву за лекарством?

Мальчик швырнул портфель в угол и начал стаскивать за рукав мокрое, тяжелое пальто. После уроков была возня, а он, неповоротливый и толстый, «жирный — поезд пассажирный», как всегда, споткнулся и оказался в снегу.

Юный Шаров поднялся на носочки и, сопя, повесил пальто на крючок. Потом сорвал с головы шапку, забросил ее на полку и принялся расшнуровывать ботинки. Шнурки обледенели и были жесткими, а мокрые ботинки уже успели оставить на паркете две овальные лужицы.

Где же Баваклава и почему отец дома? Юный Шаров сбросил ботинки на пол, сунул в тапочки мокрые, окоченевшие ноги и направился в комнату. Ботинки так и остались посреди прихожей, никто не поставил их сушить на батарею. Стол не был накрыт. Юного Шарова никто не ждал к обеду. Мальчик недовольно поморщился и направился в кухню. Плита была холодной. Желто-синие короны не дрожали над газовыми горелками. Чайник не урчал. На сковородке не потрескивали котлеты.

Все это не понравилось мальчику. Он спешил. Они договорились с Саней Ведерниковым пойти во Дворец водного спорта, где тренер, товарищ Саниного отца, Борис Иванович обещал принять их в свою группу. Саня предупредил:

— Помойся под душем и надень чистую рубашку, врач будет осматривать.

А тут обед не готов. И неизвестно, когда еще приготовят. Вечно Баваклава не вовремя уходит. Юный Шаров во второй раз крепко рассердился на бабушку.

Некоторое время он бесцельно ходил по квартире. Посреди прихожей на полу по-прежнему стояли башмаки. Баваклавы не было. Но почему на вешалке висело ее потерятое пальто с серым воротником?

Юный Шаров решительно направился в бабушкину комнату. Баваклава была дома. Она лежала на своем плюшевом диване с зелеными кисточками. Кисточек не доставало: когда Шаров еще не был юным, а был маленьким Леней, то любил отрывать кисточки от бабушкиного дивана... Баваклава лежала на спине, крепко закрыв глаза, положив руки поверх одеяла. У нее были прямые, с легкой рыжиной волосы, открытый лоб, маленький нос бугорком поднимался над лицом. На лбу и у глаз не было морщин, они только намечались, пролегли ниточками. На подбородке была впадинка.

Баваклава спала, а отец и мать безмолвно сидели рядом и терпеливо ждали ее пробуждения.

Юный Шаров потоптался на месте, потом тихо спросил:

— Заболела?

Не поднимая головы, отец ответил:

— Если б заболела! Умерла...

Потом он повернулся к сыну и резко сказал:

— Понимаешь, бабушка умерла!

Мальчик никак не отреагировал на слова отца. Слова прозвучали, но их смысл не дошел до его сознания. Он смотрел на бабушку не с жалостью, а скорее с любопыт-

ством — за всю жизнь никогда не видел бабушку спящей. Утром, когда он еще спал, бабушка была уже на ногах. Она трясла его за плечо и тихо говорила:

— Ты же опоздаешь в школу. Вставай, Леня!

— Минуточку... Еще минуточку,— сквозь сон молил юный Шаров.

Сон не отпускал его, затягивал в свои сладкие глубины. А бабушка все трясла его за плечо. И, просыпаясь, он сердился на нее, словно она была виновата в том, что надо подниматься, вставать, идти в школу...

Не знал юный Шаров и когда бабушка ложилась спать, потому что укладывался и засыпал раньше ее. Только теперь он увидел бабушку с закрытыми глазами. Гладкий лоб, нос-бугорок. Подбородок со впадинкой. Руки поверх одеяла. Все это не внушало мальчику никакой тревоги. Напротив, в облике бабушки был устойчивый покой, который передавался внуку.

Он тихо вышел из комнаты и затворил за собой дверь.

Хотя сердце бабушки уже не билось, юный Шаров продолжал думать о ней, как о живой. Горе запаздывало, задерживалось в пути. И мальчик только смутно догадывался о его приближении. Он все еще ждал, что дверь отворится и в комнату войдет бабушка.

«Три часа, а ты еще не обедал!» — воскликнет она и заснует, засуетится, чувствуя себя виноватой за опоздание.

Привычка видеть бабушку живой, неутомимой, вечно бодрствующей была настолько сильна и неистребима, что смерть отступала перед ней. В сознании юного Шарова бабушка продолжала жить.

Он вдруг вспомнил, что голоден, и пошел на кухню. Обед же разогреть не стал, а сделал себе три толстых бутерброда с колбасой. Два тут же съел всухомятку. С треть-

им вернулся в комнату. Шел мимо телевизора — щелкнул выключателем. Как раз передавали хоккей, играли его любимые «Крылышки». И через несколько минут, вовлеченный в радостный круговорот игры, юный Шаров совсем забыл о Баваклаве.

Когда же голос отца — «Имей совесть!» — вернул мальчика к действительности и он — щелк! — выключил телевизор, то вспомнил, что по пути из школы поленился зайти в аптеку и взять для бабушки глазные капли. Эти капли действовали только два дня, их нельзя было купить впрок, и в его немногочисленные обязанности входило приносить бабушке свежие капли.

От капель его отвлекла мысль о Дворце водного спорта. Надо было разыскать чистую рубашку, а он никогда не доставал белья сам и не знал, где оно лежит. То ли у мамы в шкафу, то ли в коридоре — во встроенном. Еще он забыл спросить у Сани, надо ли надеть чистые кальсончики или достаточно сменить рубашку.

Он сунулся в один шкаф, в другой. Ничего не нашел и, чтобы оттянуть время мытья, прилег на диван. Обычно в душ его загоняла Баваклава. Она мыла его сама. Даже когда он стал юным, приходила потереть спинку и помыть голову. С Баваклавой можно было и покапризничать и поплескаться. Мама же решительно совала его голову под кран. «Ой, горячо!» — «Ничего, в самый раз!» — «Ой, щиплет глаза!» — «Закрывай крепче!» — и никакого ба-ловства и плесканий...

Юный Шаров поймал себя на том, что раньше никогда не задумывался о Баваклаве. Она всегда была рядом, всегда старалась помочь ему, услужить. Ее имя «Баваклава» он произносил, как волшебное «Сезам, откройся!», если что-то было нужно. Стоило сказать «Баваклава» — на столе появлялся обед, убирались брошенные посреди комнаты ботинки, гладились брюки, решалась задача. Правда, задачи решались только в младших классах,

потом бабушка «отстала», и задачи, которые задавали на дом, были ей не под силу. Она делала множество полезных, нужных для его жизни дел, освобождала его от забот. Поэтому он вспоминал о бабушке, только когда хотел есть, гулять, когда требовалась помощь или защита.

Зазвонил телефон. Юный Шаров вскочил с дивана. Поднял трубку.

Знакомый голос весело затараторил:

— Старик! Салют! Это я — Саня. Ты душ принял?

— Зачем... душ? — растерянно спросил юный Шаров.

— Забыл, что ли? Только ноги мой как следует. Там врачи проверяют. И уши мой. Могут не допустить.

— Почему... не допустить?

— Что с тобой, старик? Ты спал, что ли? Мы же идем во Дворец водного спорта. К Борису Ивановичу. Усек? Плавки нашел?

— Нашел, — механически ответил юный Шаров.

Ему казалось, что его дружок Саня Ведерников звонит из далекого беззаботного мира, где все в порядке и бабушки не засыпают среди бела дня.

— Жду тебя у входа. В четыре. Пятки три лучше! Усек? Счастливый мир отключился.

Сегодня юный Шаров впервые думал о бабушке по-иному — без практической надобности. Почему-то вспомнил, как в раннем детстве она надевала ему под шапку платочек, чтобы мех не кололся и не задувал ветер. Когда он подросток, то стал стесняться этого платочка... И еще стал обижаться, когда говорили, что он похож на бабушку. Как это мальчик похож на бабушку?! Ведь если ребята узнают об этом — засмеют! Он смотрелся в зеркало, стараясь убедить себя, что не похож. Но у него был нос бугорком, подбородок со впадинкой, волосы рыжеватые, как у бабушки...

Вспомнил, как много лет назад он с Баваклавой ездил в автобусе в лес, и бабушка рассказывала ему про деревья:

— Зимой все деревья одинаковые. А весной проклянут листья, и деревья станут разными. Польет сильный дождь. Глазастые цветы одуванчика запахнут медом и будут мазать нос желтой пылью.

Маленький Шаров испробовал цветок своим носом, а потом спросил:

— Как спят деревья?

— Стоя, — ответила бабушка, — покачиваются и спят.

Он задрал голову и увидел светло-зеленые кроны, которые покачивались и как бы плыли в голубом небе над головой.

— Они и сейчас спят, раз качаются?

Вместо ответа бабушка подвела его к осине. Ствол был гладким и зеленым, как гимнастерка солдата. Бабушка показала ему дырочку — вход в дупло — и велела прижаться к стволу ухом. И он услышал, как поет дерево. Тихо, тоненько, звонко.

— Почему оно поет? — спросил мальчик.

— В дупле живут птицы.

И тогда маленький Шаров решил: «Деревья спят стоя, а в животе у них поют птицы. Хорошо быть деревом!»

Юный Шаров вздохнул и нехотя направился в ванную отмывать свои черные пятки.

Стоя под душем, пыхтя и роняя на пол хлопья мыльной пены, он попробовал дотянуться до спины, но руки оказались коротки. Мочалка скользила по бокам, едва касаясь лопаток, дальше же было достать невозможно, и он чуть было не крикнул по привычке: «Баваклава, потри спину!» Но вовремя спохватился. В третий раз намылил живот — его удобно было мыть — и тер мочалкой до тех пор, пока живот не порозовел. Пятки же отскоблить так и не удалось,

они остались темными. Потом он долго стоял под душем и чувствовал, как теплые водяные шнурочки облегают тело.

Чистую рубашку без бабушкиной помощи найти так и не смог.

Выходя из дома, мальчик встретил соседа Ивана Рахило. Сосед был крупным седым мужчиной, с лицом красным, словно только что помытым снегом. Когда-то сосед был военным летчиком, летал на Севере и однажды привез домой пойманного на льдине белого медвежонка Умку.

— Здравствуй, юный Шаров! — сказал сосед и поднял для приветствия руку. Это он придумал называть Леню «юный Шаров». — Как твои успехи?

Не было сегодня у юного Шарова никаких успехов. Он пожал плечами и сказал:

— Иду во Дворец водного спорта.

— Прекрасно, — сказал бывший летчик. — Ты знаешь, где у тебя находятся почки?

Мальчик пожал плечами: не знал.

— Может быть, у тебя вовсе нет почек?

— Если полагается — есть, — неуверенно ответил он.

Он думал, что сосед начнет его стыдить за незнание, но, вопреки ожиданиям, Иван Рахило воскликнул:

— Это хорошо, что ты не знаешь, где находятся почки. Я, к сожалению, отлично знаю. Болят они у меня.

Мальчик посмотрел на соседа и обратил внимание, что налитые голубизной глаза бывшего летчика потемнели. Может быть, он все знает про Баваклаву и только для виду заговорил о почках, которые, оказывается, есть не только у деревьев, но и у людей.

Трамвай движется медленно. Никак не может увезти юного Шарова от тревожных мыслей, от дома, где в первый и последний раз уснула бабушка, Баваклава. Надо

думать о другом! Надо думать о другом! Например, о Дворце водного спорта. В трамвае давка. Окна покрыла изморозь. Не видно, что там, за окнами. Может быть, трамвай не движется, а топчется на месте, крутит колеса вхолостую? Поток выходящих людей буквально вынес мальчика на переднюю площадку. Здесь, у вагоновожатого, окна были чистыми. Трамвай двигался. Навстречу, двумя расправленными молниями, летели рельсы.

Надо думать о бассейне! Он вспомнил, как они с классом ходили сдавать нормы по плаванию. Из жаркой, заполненной паром душевой он вышел в огромный гулкий зал, где жутковато пахло хлоркой. Холодок пронизывал тело, вызывал легкую дрожь. Вода в бассейне была голубая, будто ее подсинили. Нырнешь белым — вынырнешь синим. Совсем близко раздался оглушительный всплеск — это с высокой семиметровой вышки нырнул спортсмен. Вот бы научиться так! И тут послышалось: «Эй, мальчик! Это я тебе говорю!» Кто-то из ребят толкнул его в бок: «Жирный, твоя очередь!» Он прыгнул с бортика, больно ударился животом и наглотался горькой воды. Но не подал виду, поплыл, высоко взмахивая руками и отворачивая голову от собственных брызг.

Неожиданно его мысли оторвались от бассейна и снова вернулись к Баваклаве. Он вспомнил, как несколько лет назад гостил с бабушкой в деревне. Деревня называлась Кремена, и речка называлась Кремена. Там была старая водяная мельница. Со скользкой, позеленевшей плотины хорошо ловилась рыба-уклейка. Хозяйкин кот Пузырь очень любил эту рыбу.

Однажды через деревню Кремену шли войска. Поднимая коричневое облако пыли, с лязгом и гуденьем двигались танки. От их тяжелого хода в буфете жалобно дребезжали стаканы. Он выбежал из дома. Танки шли совсем близко, от них тянуло жаром. Во рту стало сухо и горько: это он наглотался пыли.

За танками двигались бронетранспортеры с пехотой.

Мальчик не заметил, как из ворот вышла бабушка, встала рядом и тоже стала смотреть на проходящие войска. Бойцы были усталые, опаленные солнцем, покрытые пылью. Они как бы возвращались из боя.

— Баваклава, война началась? — тревожно спросил мальчик, не отрывая глаз от пылящих машин.

— Господь с тобой! Солдаты учатся, — ответила бабушка. — Возьми ведро и кружку, может, кто из них захочет напиться.

Мальчику понравилась бабушкина мысль. Он принес ведро воды и белую эмалированную кружку с черной щербинкой и вышел за ворота.

Иногда колонна ненадолго останавливалась. Тогда бойцы с удовольствием пили холодную колодезную воду и благодарили его. Он только успевал подавать белую кружку. Напоил целую армию!

Трамвай остановился.

— Эй, молодой человек, выходишь или нет? — послышался за спиной нетерпеливый голос.

И юного Шарова буквально вытолкнули из трамвая. Валил густой, удивительно тихий снег. Словно ему надлежало греметь, но кто-то выключил звук. Сквозь белую сеть метели юный Шаров увидел здание Дворца водного спорта. Оно было прозрачным и светилось. На ступенях дворца, засунув руки в карманы, его поджидал Саня Ведерников. На нем был изрядно засаленный кожанок и спортивная шапочка с помпоном.

— Старик! Мы опаздываем! Прибавь ходу! Усек? — закричал Саня, нетерпеливо прыгая на месте. — Как пятки? Оттер?

— Я живот оттер, — признался юный Шаров.

— Жи-вот, — растягивая слово, произнес Саня Ведерников. — Побежали!

Они быстро поднялись по запорошенным ступеням дворца и скрылись за большой дверью.

Сперва их не хотели пускать без пропуска. Саня горячо доказывал, что он знакомый Бориса Ивановича. Но оказалось, что вахтер не знает никакого Бориса Ивановича. Ребят выручила уборщица.

— Они, наверное, к Боре Кулакову.

— К Бориске? — переспросил вахтер.

Саня, не задумываясь, подтвердил:

— К Бориске.

И их пустили.

Ребята сняли пальто в гардеробе и направились было в бассейн, но тут опять встретились препятствия. В раздевалке, через которую нужно было пройти, тоже требовали пропуск. И снова Саня горячо доказывал, что они к Борису Ивановичу, ну, к Борису Кулакову, к Бориске...

И тут в дверях показался сам тренер.

К удивлению юного Шарова, тренер оказался совсем молодым щуплым парнем.

— Мальчики? Пришли? Отлично!

Каждая фраза состояла из одного слова.

— Ждите!

— А нельзя ждать в бассейне? — спросил Саня. — Мы бы посмотрели.

— Нельзя! Привет! Ждите!

Борис Иванович ушел, оставив ребят в холле.

— Будем ждать! — сказал неунывающий Саня. — Он отзанимается с группой, потом весь бассейн будет наш.

— Зачем нам весь бассейн? — сказал юный Шаров. — Нам и половины хватит.

— Ты полотенце захватил? — строго спросил Саня.

— Нужно полотенце?

— Вытираться чем? Мы же плавать будем.

— А я думал, только к врачу... Помылся.

Саня Ведерников махнул рукой и сел на стул перед

столиком, на котором лежали старые журналы. Он взял «Крокодил» и стал рассматривать картинки.

Юный Шаров садиться не стал. Походил по холлу, потом подошел к огромному окну. Сгущались сумерки. Валил снег. Стекол почти не было видно, и казалось, что снег, как дрессированный, летит до определенной черты и останавливается. И мир как бы поделен стеной на теплый и холодный, светлый и темный. На мир жизни и мир смерти.

Чай пила. Баранки сла.

Позабыла, с кем сидела.

Юный Шаров почему-то вспомнил эту прибаутку и произнес ее вслух, касаясь губами холодного стекла. Это была бабушкина прибаутка. Баваклава знала много разных стихов, частушек, прибауток, которые когда-то давно были в ходу. Юный Шаров относился к ним высокомерно, подсмеивался над ними, а заодно и над бабушкой, хранящей всякую ерунду. Но теперь эта прибаутка, всплывшая в памяти, не показалась ему такой уж ерундовой. Он повторил ее шепотом, и на сердце стало горько-горько...

Юному Шарову было двенадцать лет, но он был убежден, что прожил долгую жизнь и умудрен опытом. Иногда он улыбался своим мыслям. А когда его спрашивали: «Что ты улыбаешься?» — пожимал плечами: мол, где вам понять, чему я улыбаюсь.

С той поры, как он стал юным, что-то изменилось в нем. Он замкнулся, ко всему относился с усмешкой. Этаким бывалый человек, прошедший огонь и воду... Баваклава не знала, как к нему подступиться, — таким он стал важным.

— Баваклава, почему у тебя нет подруг? — В его вопросе звучал укор.

— Были у меня подруги, — отвечала бабушка. — Все умерли.

— Заводи новых!

На каждый случай у него был готов ответ.

— Друзья так просто не заводятся. С ними надо жизнь прожить.

— Ты и проживи с ними жизнь.

— Мало ее осталось, жизни.

— Почему?

Были все-таки на свете вещи, которые он не мог понять. Например, он радовался, когда брал, получал. И это было естественно. Баваклава же радовалась, когда отдавала. Хотя отдавать ей было особенно нечего. Сперва юный Шаров думал, что бабушка делает вид, что ей не жалко вещи, которую она отдавала другим. Потом — зашел в тупик. Он зашел в тупик и, чтобы выбраться из него, решил сам попробовать отдать. И, отправляясь на день рождения к Сане Ведерникову, взял с собой маленький охотничий ножик с костяной ручкой в кожаных ножнах. Этот ножик привез ему дядя из Австрийских Альп, где такие ножи у всех и каждого. Хотя нож был вроде бы и не совсем настоящий — не больше перочинного, — мальчик очень дорожил им.

Он пришел к Сане и протянул ему подарок:

— На вот, бери!

У Сани от радости перехватило дыхание, а уши запылали от удовольствия.

— Нож! Охотничий! Настоящий!

Он вынимал нож из ножен и вкладывал его обратно. Нюхал кожу. Пробовал остроту лезвия. И, глядя на друга, юный Шаров вдруг почувствовал, что радость товарища передается ему. И у него тоже запылали уши...

В тот вечер что-то сдвинулось в сознании юного Шарова, перешло на другой путь и покатилося, покатилося... Он тогда не подумал о Баваклаве. И на пионерском сборе, рассказывая, как поил усталых солдат, возвращавшихся с трудных учений, забыл, что это бабушка посоветовала ему.

Только теперь, когда ее не стало, он с опозданием начал смутно догадываться, что Баваклава не только кормила, будила, обстирывала его, но и делала еще незаметную, очень важную для него работу. Это открытие удивило его. Потому что до сегодняшнего дня он считал Баваклаву темной и отсталой. Она не знала о «черных дырах» Вселенной — сверхплотных звездах, не знала о «королевских примулах» — цветах, распускающихся накануне землетрясения, не знала, почему «Крылышки» сильнее ЦСКА...

Когда Баваклава, разглядывая в его дневнике жирную двойку, спросила, почему он неверно ответил урок, он снисходительно улыбнулся:

— Коперника сожгли на костре за верный ответ!

И был чрезвычайно доволен своим хлестким ответом, обезоружившим бабушку. Он часто говорил: «Теперь так носят... Теперь так не говорят... Теперь такого нет...», всячески стараясь подчеркнуть, что он человек современный, а у нее, у Баваклавы, все в прошлом. Он был холодным и огорчал бабушку иногда умышленно, из-за какого-то необъяснимого злорадства. Знал, как сделать ей больно, и делал. Порой бабушка, пытаясь смягчить его, вспоминала о времени, когда он еще не был юным.

— Помнишь, Ленечка, как ты говорил: «У этой тети в кармане тучка, а у этой облачко. Тучка — у плохой...»

— Угу, — безразлично буркал мальчик. Страничка из былой жизни не интересовала его.

— А помнишь, как ты в первый раз с отцом ходил в баню? Не хотел идти, боялся. А когда вернулся, сказал: «Ничего страшного. И пускают без трусов». Очень гордился, что побывал с отцом в бане.

Бабушка помнила о его детстве больше, чем он сам. А говорят, старость отбивает память. Он выслушивал бабушкины воспоминания со скучающим видом и восклицал:

— Преданья старины глубокой!

— А помнишь, как учила тебя есть яйца в мешочек? «Ударь яйцо по лбу ложкой. Аккуратно очисти. Посоли. Поддень ложкой, и яйцо посмотрит на тебя желтым глазом».

Юный Шаров вспомнил, как его удивило, когда из фарфоровой рюмочки на него глянул желтый зрачок, окруженный белком. Глаз был живой. Он видел маленького Шарова, как маленький Шаров видел его. Теперь же он пробурчал:

— Не помню!

Став юным, он относился к своему прошлому насмешливо, с презрением, словно не он был тем малышом, а совсем другой человек. Тот, другой, не занимал его. А Баваклава любила и того и этого Шарова.

Теперь неожиданно бабушка оказалась ему человеком важным и нужным, и он вздрогнул от мысли, что придется жить без нее. Его самоуверенность куда-то трусливо отступила, заползла в щелку, и ему показалось, что он очутился один в незнакомом месте. Куда идти? Как выйти на дорогу?

Оказывается, единственным человеком, который по-настоящему понимал его, была старая, смешная Баваклава. Теперь ее нет. Ему захотелось закричать, но он задохнулся от своего отчаяния. Закрыв глаза руками, как делал в детстве, когда в кино показывали что-то страшное, и затаился.

...За стеклянной стеной шел снег. Сумрачной рекой катил он свои темные в белую крапинку волны, превращал улицу в русло, фонари обернулись бакенами, предостерегающими суда от мелей, а люди, шагающие по тротуару, казались водолазами, едва различимыми сквозь мутную толщу.

Волны метели плескались рядом, беззвучно били в стеклянную стену. Что, если они выбьют стекла дома и

вольтуются в комнату? А может быть, они уже гуляют по родному дому и потому так холодно и горько на душе?

Он подошел к Сане, который читал «Крокодил», и сказал:

— Сань, я пойду.

— Да куда ты? Борис Иванович сейчас освободится. Поплаваем.

— Я пойду, Сань. Мне надо...

— Что тебе надо?

— Капли... для бабушки.

— Да брось ты! — Саня даже вскочил с места. — Подождет она свои капли.

— Нет! Она не может ждать! Не может!

Юный Шаров повернулся и быстро зашагал к выходу.

При нем никто никогда не умирал. Он не знал, как поступить в таком случае. И первое время жил как обычно. Включил телевизор, помчался во Дворец водного спорта. Только сейчас он почувствовал, что произошло что-то резкое, болезненное. Он постепенно начал понимать значение смерти.

Он защищался. «Она уснула... Она уснула, — сам себя убеждал юный Шаров. — Она не спала очень долго и отсыпается за всю жизнь. Бывает же, что человек спит год, а то и больше. Летаргический сон...» Он не хотел допускать смерть к Баваклаве. Он обманывал себя — она уснула! — и в этом обмане слились отчаяние и любовь.

Он шел, как водолаз по дну моря, разгребая мутные массы снега. Его обгоняли трамваи, и тогда он бежал, потом снова шел. Ветер дохнул вдруг в лицо хлоркой. И перед глазами мальчика на мгновение возникла заманчивая голубая гладь бассейна, послышались всплески воды. Они звали его, но юный Шаров решительно тряхнул головой: нет! — и огляделся: в серых хлопьях метели раскален-

ным докрасна железом пылало слово «Аптека». Это от нее пахло хлором.

Ему вдруг стало жалко бабушку, хотя жалеть ее уже было поздно. Никто ее не тревожил, ничего у нее не болело, и глаза не нуждались в свежих глазных каплях. Ей было хорошо. Вернее, никак. Плохо было ему. Мальчику казалось, что он жалеет бабушку, на самом же деле он жалел себя, осиротевшего без Баваклавы.

Сам не понимая почему, он вошел в аптеку. Осмотрелся. Встал в очередь к окошку, где выдают лекарства. Снежные сугробики растаяли на шапке и на плечах. Лицо стало гореть. Юному Шарову вдруг показалось, что все смотрят на него вопросительно, отчужденно. Он повернулся и хотел было уйти, но провизор узнал его, окликнул:

— Что ж ты не берешь лекарство? Оно готово с утра.

Не зная, как объяснить провизору, что случилось с бабушкой, мальчик молча взял пузырек и зашагал прочь...

На улице здорово мело. Снег слепил глаза. И люди шли против ветра, наклоняясь вперед, натываясь друг на друга. Он зажал пузырек в кулаке, словно в нем была роса, которую по каплям собирают каждый день для тех, у кого болят глаза. Он запоздало выполнял свой маленький долг перед Баваклавой. Хотя долг его перед бабушкой был куда больше.

Он вспомнил, как очень давно упал и разбил коленку. Ревел тогда на весь двор. Думал, что сломал ногу, и ревел. Баваклава взяла его на руки — большого шестилетнего мальчика — и понесла. Она несла его, а он ревел, хотя нога болела не так уж сильно. И ничего он не сломал. Он ревел, а она его несла. Он был толстым, «жирный — поезд пассажирный», и бабушке было тяжело нести этот «поезд». Но она несла его в охапке, прижимая к себе.

Дома ей стало нехорошо. Она прилегла. А он занялся плюшевым мишкой и забыл про свою коленку.

— Не больно? — спросила с дивана бабушка.

Коленка перестала болеть, но он на всякий случай соврал:

— Больно!

Мерзким он был парнем в детстве, теперь и вспоминать тошно!

Потом ему надоел плюшевый медведь, он подошел к дивану. Бабушка тяжело дышала, лицо ее было непривычно бледным. Над верхней губой выступили бисеринки пота. Даже он заметил это.

— Ты что, Баваклава? — спросил он.

— Ничего... Вот вырастешь большой, понесешь меня в больницу, когда мне станет плохо?

— Понесу, — ответил маленький Шаров, а сам подумал: «Зачем носить, есть машины с красным крестом... для взрослых».

Сейчас он шел быстро, словно боялся опоздать к отходящему поезду. Снег воздвигал на его пути белую стену. И юный Шаров невольно вытягивал вперед руку, чтобы не наткнуться. Вдруг он придет на свою улицу, а там ни бабушки, ни дома — никого. Отошел поезд.

На углу, возле сквера, он наткнулся на родителей. Они шли рядом — папа держал маму под руку, — согнутые, облепленные снегом.

— Мама!

— Это ты? Где ты был? — Мама смахнула налипшие на ресницы снежинки и с удивлением посмотрела на сына.

— Ходил в аптеку.

— В аптеку? — удивился папа. — Зачем же... в аптеку? Родители грустно переглянулись.

Так они стояли в водовороте метели, словно сбились с пути и не знали, в какую сторону податься.

— Ну хорошо, — сказал отец, — иди домой. Мы скоро вернемся.

...Возле дома юный Шаров встретил соседа. Бывший летчик гулял с непокрытой головой, и его белые волосы перемешивались с хлопьями снега.

— Юный Шаров, знаешь ли ты, что сегодня солнцеворот? — сказал сосед. — День прибавился на одну минуту.

В хлопьях снега сосед был похож на древнего кудесника.

Мальчику было не до солнцеворота. Он ничего не ответил.

— Что-нибудь случилось? — вслед ему крикнул Иван Рахилло.

— Случилось! — ответил мальчик, и сердце его сжалось.

Он тихо отворил дверь и вошел в бабушкину комнату. Горел слабый свет. Бабушка лежала в постели с закрытыми глазами. Стараясь не наступать на скрипящие половицы, он подошел к овальному столику и поставил ненужный пузырек с каплями рядом с блюдечком, на котором лежала пипетка. Он осмотрел бабушкину комнату и неожиданно почувствовал, что комната сама по себе очень дорога ему. Помимо плюшевого дивана с зелеными кисточками, стола на витой ножке, в комнате стоял платяной шкаф, несколько венских стульев со спинками, изогнутыми, как трамвайная дуга.

Юный Шаров знал, что в верхнем ящике комода хранится обгорелый лоскуток боевого знамени. Его привез с войны дедушка. Он ворвался в охваченный пламенем блиндаж, где все были убиты прямым попаданием снаряда, и вынес горящее полковое знамя...

Когда мальчик принес в класс опаленную частичку знамени, ребята с замирающим сердцем разглядывали ее и завидовали Шарову. Ведь это его дедушка спас знамя!

А Баваклава никакого знамени не спасала, но в годы войны она выходила своего маленького сына — будущего отца юного Шарова. По ладожскому льду, едва живого,

вывезла его из осажденного Ленинграда, прикрывая собой от фашистских осколков и ледяного ветра. В незнакомой Костромской области работала в колхозе, а после работы еще косила сено и меняла его на молоко. На кружку молока для сына! Про нее местные говорили: «Ты, Клавдия, хоть и городская, но двужилъная!» А она не была двужилъной, едва волочила распухшие ноги, но шла. Шла, как солдат идет в бой. Если б не эта кружка молока, сын бы не вытянул... Отец часто вспоминает корову Милку, которая поила его молоком в голодные военные годы. А юный Шаров пьет молоко не от коровы, а из магазина. Отрезает уголок картонной пирамидки ножницами и пьет сколько хочет...

Мальчик посмотрел на Баваклаву и подумал: «Как можно так долго не дышать! Не хотеть есть, ничего не видеть и не слышать! Лежать неподвижно?» Он вдруг испугался этой неподвижности. И тогда взгляд его упал на старые настенные часы. Две большие латунные гири лежали на полу, а маятник замер... Юному Шарову было насторого запрещено заводить часы, потому что однажды он сорвал гирю и из нее посыпалась дробь. Баваклава долго ползала по полу, собирала дробинки, а он помогал ей, но часть дробинок клал себе в карман...

Сейчас надо было разрушить эту неподвижность! Пусть хоть маятник движется, прищелкивает, шагает...

Он подошел к стене, взялся за колечко и потянул цепь. Гиря оторвалась от земли и, как полное ведро из колодца, тяжело поплыла вверх. Мальчик перевел дух и поднял вторую гирю. Потом легонько подтолкнул маятник — и часы ожили, заходили, торопясь наверстать упущенное время.

Юный Шаров повернул голову. Бабушка спала. Не увидела, как он, вопреки запрету, завел часы. Не услышала хода часов. Спала...

Мальчику захотелось позвать ее: «Вставай! Опоздаешь!»

Куда опоздает Баваклава? Убирать за ним ботинки? Подогревать суп и котлету? Мыть посуду?

Часы вдруг захрипели, откашлялись и стали бить. Они били гулко и, как показалось юному Шарову, весело. Часы проснулись. Ожили. А Баваклава спала...

И тут юный Шаров совершенно серьезно подумал, что жизнь в доме остановится, если бабушка не проснется. Остановится, как часы, у которых кончился завод.

Ему никогда и в голову не приходило, что можно жить без нее. Она была чем-то насущным и вечным, как воздух, вода, хлеб. Она была тем вечным двигателем, который приводил в движение жизнь дома. Отец и мама целый день были на работе, юный Шаров — в школе. А дом жил: в нем варился обед, стиралось белье, выметался мусор, гладились брюки, чтобы не было пузырей на коленках. Делалось множество больших и малых дел. И все это — руками бабушки. Сердце Баваклавы не только разгоняло кровь по старым жилам, но и обогревало дом, делало его живым.

Он наклонился над бабушкой и заглянул ей в лицо. Бабушкино лицо было такое же, как всегда. Приветливое. Спокойное. Виноватое.

Виноватое? Может быть, бабушка чувствует себя виноватой, что лежит сложа руки и не может накормить внука, постирать ему белую рубашку и к торжественной линейке погладить красный галстук?

«Не может, — подумал внук, — и никогда не сможет. Никогда».

Никогда. Это обычное слово вдруг налилось свинцовой тяжестью, стало жестким, ледяным. И чем больше мальчик думал о нем, тем страшнее становилось это слово... Можно подождать день, неделю, год... Несколько лет можно подождать. А если ждать всю жизнь и не дожждаться?! Может быть, совсем не ждать? Не ждать, что завтра утром бабушкины руки будут осторожно трясти его за плечи... Кто же

поднимет его, если не будет этих рук? Никто, и он будет спать вечно... как Баваклава сейчас?

Когда Шаров не был еще юным, а был первоклассником — он теперь с усмешкой вспоминал это время, — то начал впервые ставить числа в тетради. Он писал: 1 ноября, 2 ноября, 3 ноября. Так дошел до двадцатого, до тридцатого. И пошел дальше: 31, 32, 33, 34... Учительница заметила, остановила его. Сказала:

— Таких чисел не бывает. В ноябре только тридцать дней.

Он очень огорчился. Ему нравилось писать числа все дальше и дальше.

Придя домой, спросил бабушку:

— Почему не бывает тридцать четвертое ноября?

— В ноябре тридцать дней, — ответила бабушка, — в декабре будет тридцать один.

— А когда будет тридцать четыре?

— Никогда.

Так он впервые услышал слово «никогда». Он не понял его и про себя подумал: «Когда-нибудь будет... тридцать четвертое».

Теперь в бабушкиной комнате он снова задумался над трудным значением слова «никогда». Слово навалилось на мальчика всей своей тяжестью и сливалось с другим таким же трудным словом «бесконечность».

«Все имеет начало и конец, — рассуждал юный Шаров, — а как же небо? Должен быть у неба конец? Наверное, высокий, темный купол, усеянный звездами, и есть конец неба? А что же за этим куполом? Еще один купол, побольше?..»

Так он создал модель Вселенной. Она напоминала деревянных матрешек: маленькая вставлялась в большую. Сколько же во Вселенной таких «матрешек»? Сто? Тысяча? Миллион? Но ведь должна же быть где-то последняя «матрешка»? А что за последней? Лоб покрылся испари-

ной. Голова гудела. Юный Шаров никак не мог постичь своим умом бесконечность.

Потом он узнал о «черных дырах» Вселенной. Эти «дыры», как водовороты, засасывают пролетающие метеориты и лучи соседних звезд. А один ученый сделал предположение, что «черные дыры» — коридоры, ведущие в антимир. «Мир наоборот». Там время движется назад. И если у нас люди стареют, то в «мирах наоборот» старые становятся молодыми, потом превращаются в детей, потом... Если бы бабушка побывала в таком мире и вернулась бы помолодевшей!..

Так рассуждал юный Шаров, борясь со страшным «никогда». Он закрывал глаза. Тер ладонью лоб. Пыхтел, будто поднимал тяжесть. Потом его взгляд упал на пузырек с глазными каплями, и он неожиданно заплакал.

Всю жизнь он обвинял других: родителей, учителей, товарищей... Но больше всех доставалось Баваклаву. Прикрикивал на нее, грубил. Надувался, ходил недовольным. Сегодня он впервые взглянул на себя со стороны, другими глазами. Какой он, оказывается, черствый, грубый, невнимательный. Опоздывал, а то и вовсе не заходил в аптеку. Вот и сегодня принес свежие капли с опозданием.

Зазвонил телефон. Юный Шаров вздрогнул. Морщась, как от боли, нехотя побрел к телефону. Трубка показалась ему непривычно тяжелой.

— Я слушаю.

— Клавдию Ивановну можно?

Этот голос, бодрый и веселый, донесся из другого мира, где никто не умер, где все в порядке. У мальчика не хватило сил сказать то, что есть. Он мучительно думал, как избежать налитого болью слова «умерла».

— Что ты молчишь? — послышалось в трубке.

— Ее нет, — выдавил из себя юный Шаров.

— А когда будет?

— Никогда...

— Ты невежа, — послышалось в трубке, и сразу — би-би-би...

Веселый, благополучный мир отключился, умчался вдаль, весело бибикая.

«Она умрет, когда ее забудут, но пока хоть одно сердце помнит ее, она жива», — неожиданно подумал мальчик. Эти слова сами всплыли в памяти. Память бросила их ему, как спасательный круг. Она жива! Ее жизнь зависит от него, от его сердца.

Он должен жить не только для того, чтобы ходить в школу, гонять на коньках, смотреть по «телеку» хоккей. Он должен жить, чтобы не пропустить самого главного — заводить часы в бабушкиной комнате и хранить лоскуток полкового знамени. Он должен жить, чтобы нести людям то, чему его незаметно научила Баваклава.

Жить для людей.



Всадник, скачущий над городом

Завтра об этом случае заговорит весь город, а сегодня о нем знают лишь несколько любопытных прохожих, пожарные добровольные дружины и четвертое отделение милиции. Но даже им неизвестно, ради чего Киру решился на такой отчаянный поступок.

Поздней осенью город похож на корабль, выходящий в открытое море. Сырой туман обволакивает дома. Мостовая мокрая, как палуба, по которой только что прокатился соленый морской вал. Провода поют, как снасти. И Киру кажется, что город даже слегка покачивается.

Киру поднимает голову. Он видит, как обрывки серых облаков быстро проносятся над самыми крышами. А может быть, они как раз и неподвижны, а это город торопливо плывет в открытое море.

Киру смотрит на шпили — чем не мачты; — на антенны, на трубы и на флюгера.

В городе много флюгеров. В былые времена город моряков часто обращал взор к железным помощникам — флюгерам: они первыми приносили весть о попутном ветре. Теперь на флюгера никто не обращает внимания. Но их не предупредили, что они больше не нужны людям, и флюгера продолжают нести свою трудную службу. Там, высоко над городом, между небом и землей, скрипя ржавыми петлями, они тяжело поворачиваются на своих штырях. Как живые существа, они разговаривают с ветром и дождем, а первые снежинки, прежде чем опуститься на землю, тихо шуршат рядом с ними.

Случается, что у одного из городских флюгеров так крепко заклинит ржавые петли, что он уже не может пошевелинуться. Флюгер погибает, как боец на посту. Люди же не замечают смерти старого флюгера. Стоит на крыше — и ладно.

Киру и его друзья идут по городу и рассматривают флюгера. И кто-то кричит:

— Смотрите, рыба из моря на крышу прыгнула!

Все задирают головы. Все смотрят на рыбу.

— Подумаешь, рыба! А ты видел флюгер-русалку?

— А я знаю трех петухов!

— Петухи — ерунда!

— Петухи приносят счастье!

— Ничего подобного! Они берегут дом от пожара!

— Бабушкины сказки!

Киру идет молча. Он не принимает участия в этом беспорядочном споре. С некоторых пор он стал молчаливым. Особенно если рядом Айна.

Ему кажется, что Айна появилась совсем недавно. Приехала издалека и пришла в класс, как новенькая. На самом деле Айна ниоткуда не приезжала, а учится с Киру в одном классе уже пять лет. С третьего класса. Может быть, «старую» Айну подменили?

В «новой» Айне его интересует все. Он знает, что

Айна худенькая, стройная, как тростинка. И что волосы у нее не золотые и не желтые — соломенные. И хотя глаза у девочки так глубоко посажены, что сразу не определишь их цвет, Киру знает: они зеленые. Осенью Айна носит серое пальто с черными черточками. А шапка на ней красная.

Сейчас Айна идет со всеми неподалеку от Киру и внимательно следит за спором о флюгерах. И ее вздернутый носик сам, как флюгер, поворачивается от одного спорщика к другому. Она ждет, когда ребята все выговорят, и только тогда вступает в разговор.

— А я знаю дом, на котором флюгер не петух, не рыба, не стрела, — говорит Айна, посматривая, какое впечатление произведет ее рассказ на ребят. — Это какое-то странное существо. Он очень высоко, поэтому не разберешь.

— Где этот дом?

— Показать?

— Покажи.

И вся компания сворачивает за Айной в переулок.

Киру тоже сворачивает в переулок. Он вообще ходит за Айной как тень. А она, как на тень, не обращает на него внимания. Потому что Киру никто не подменил и он для Айны все тот же, что был пять лет назад.

Обычно, когда Айна возвращается домой, Киру идет за ней. Его от Айны отделяют каких-нибудь десять шагов. Но эти десять шагов стоят десяти километров. Десять километров Киру прошел бы запросто, а этот десяток шагов никак не может преодолеть. Он идет по улице, никого не замечая. Он видит только серое пальто с черными черточками и красную шапочку.

Айна знает, что Киру идет за ней. Ее это злит. Что за глупый парень! Если бы он шел рядом, можно было бы с ним поболтать. А так получается, что он выслеживает ее. Айна неожиданно останавливается и резко поворачи-

вается. Тогда Киру, застигнутый врасплох, тоже останавливается и опускает глаза. Он смотрит себе под ноги. А когда снова поднимает глаза, Айна уже далеко.

Иногда она совсем убегает. И Киру остается один.

Сейчас кругом ребята, и Киру чувствует себя уверенно. Его робость перед Айной не так заметна. Правда, ему все время кажется, что Айна относится ко всем лучше, чем к нему, хотя только он один готов сделать для Айны что угодно.

— Далеко еще? — спрашивает кто-то из ребят Айну.

— А ты уже устал? — откликается девочка. — Свернем за угол, а там рядом.

Киру никогда бы не спросил Айну: «Далеко или нет?» Он может идти за ней хоть на край света. И он немножко завидует друзьям, которые могут тянуть Айну за руку, спорить с ней и задавать ей вопросы.

Когда ребята подошли к дому с загадочным флюгером, повалил снег. Не белый морозный снег, а серый, вперемешку с дождем. Ребята подняли воротники. Айна поглубже натянула красную шалочку: только нос выглядывает. Киру поежился, но воротник поднимать не стал. Он решил, что с опущенным воротником у него более мужественный вид. Но о каком мужественном виде могла идти речь, если Киру худей и узкоплечий. Подбородок у него заострен, а нос маленький и ровный. Брови и ресницы такие белесые, будто их подпалили и мальчик остался совсем безбровым. Руки у Киру белые, без мозолей. А на носу у него очки.

— Вот таинственный флюгер, — сказала Айна, — смотрите.

Вся компания задрала головы.

Ребята увидели высокую черепичную крышу. Черепица похожа на красные перышки, а вся крыша — на большое алое крыло. На самом краю конька возвышался штырь. На нем был флюгер. Даже с земли видно, что этот флюгер не чета своим собратьям. В его форме было что-то стреми-

тельное и непонятное. Что хотел изобразить древний флюгерных дел мастер?

— Да это петух! — воскликнул кто-то из друзей Киру.

Одного слова было достаточно, чтобы вспыхнул спор.

— Петух? Ты, наверное, никогда петухов не видел?

Хорош петух без хвоста!

— Откуда ты взял, что без хвоста! Надо быть слепым, чтобы не видеть хвоста!

— Киру, ты в очках, ты должен видеть лучше всех. Скажи, есть хвост или нету?

Краска ударила в лицо Киру. Ему показалось, что, напоминая об очках, товарищ хотел унижить его в глазах Айны. Он покосился на Айну, ожидая прочесть в ее глазах насмешку. Но Айна даже не повернулась в его сторону. Она рассматривала флюгер.

Тогда Киру успокоился и стал тоже рассматривать железное существо, которое взмыло над городом и завело дружбу с ветром. Киру прищурил глаза. Он напрягал их. Есть у флюгера хвост или нет? Ребята ждали ответа. Но что мог им сказать Киру? Мокрые снежинки падали на очки, и стекла становились мутными. Сквозь них ничего невозможно было разглядеть на земле, не то что в небе.

— Ничего не вижу, — признался Киру.

— Эх ты, «не вижу»! — передразнила его Айна и уничтожающим взглядом смерила мальчика.

Киру стало стыдно, что он не видит хвоста. В эту минуту он ненавидел самого себя. Ни на что он не годен. И правильно делает Айна, что презирает его. Он был жесток к себе.

Не говоря ни слова, Киру повернулся и побрел куда глаза глядят.

Долго ходил он по городу, одинокий, потерянный. Холодный влажный ветер пронизывал его, а снежинки норовили непременно попасть за шиворот. Киру поднял воротник. Теперь ему уже было все равно.

Наконец он снова попал на улицу, по которой шел за Айной. Он остановился перед домом с таинственным флюгером. Ребят уже не было. Неизвестно, чем кончился их спор. Так или иначе, они давно разошлись по домам. Киру потоптался на месте. Он задрал голову и мучительно стал вглядываться в мутную высь. Он протирал стекла очков, закрывал глаза и снова открывал их. Вот если бы завтра, придя в школу, он смог рассказать Айне о странном флюгере! Какой-то горячий огонек вспыхнул в мальчишке. Он разгорался все сильнее, наполняя сердце решимостью. Невозможное стало казаться вполне осуществимым. Еще полностью не отдавая себе отчета, что он собирается делать, Киру медленно направился к подъезду дома с таинственным флюгером.

На лестнице стоял полумрак: лампочки еще не зажгли, а хмурый день давал мало света. Киру стал подниматься. Он шел мимо квартир с кнопками звонков, с ящиками для писем и газет, с почти невидимыми номерками. Он спешил, словно боялся, что огонек,двигающий сейчас его поступками, может погаснуть.

Дверь на чердак оказалась открытой. Киру подошел к слуховому окну и выглянул наружу. Ветердохнул ему в лицо холодной сыростью. Снежинка зацепилась за его ресницу и тут же растаяла. Мальчик смотрел в окно и видел одни крыши. Они расходились во все стороны, как тяжелые застывшие волны, и вдалеке сливались с мутным морским небом.

Киру увидел сразу десятки флюгеров. Как стрелки компаса, они смотрели в одну сторону. Киру почудилось, что все флюгера города нацелили свои клювы и стрелы на него и ждут, что он будет делать дальше.

Мальчик высунулся до пояса и посмотрел на крышу. Крупные дольки черепицы уже не были похожи на легкие перышки. Тяжелые, горбатые, кое-где пробитые градом, они напоминали панцирь окаменевшего чудовища. А флю-

гера не было видно. Он был скрыт за высокими трубами.

На мгновение Киру охватила робость. Но свистящий упругий ветер, казалось, донес до него голос холодной, равнодушной Айны. Этот голос шепнул: «Иди!» И страх еще ниже упасть в глазах Айны оказался сильнее страха упасть с высокой скользкой крыши.

Киру вылез из тесного слухового окна и, цепко хватаясь за выступы, стал карабкаться по крыше. Холодная черепица обжигала руки. Ноги скользили. Но Киру медленно продвигался вперед. Он не оглядывался, старался не думать о высоте. По крутой каменной горе он лез к перевалу — к коньку крыши. Он не думал о том, каким будет его обратный путь. Он смотрел вперед.

Так Киру добрался до цели.

Вот он, таинственный флюгер, которого никто не мог разглядеть с земли. Никакой это не петух! Это конь и всадник. С земли флюгер казался маленьким и легким. Вблизи он был большим и грузным. От времени он покрылся шершавой ржавчиной, а дым измазал его жирной сажей. Дул сильный ветер, и конь с пронзительным скрипом шарахался то влево, то вправо. Может быть, он хотел сбросить своего седока, а может быть, ему хотелось спрыгнуть со штыря и растоптать тяжелыми копытами дерзкого мальчишку.

Киру сидел верхом на гребне крыши и внимательно следил за конем и всадником. В это время ветер ударил с новой силой. Конь мелко задрожал. Киру подумал, что сейчас конь сделает отчаянный прыжок и помчится со своим всадником по черепичным крышам города. Вот здорово!

Ветер ревел все сильнее. Низкие облака мчались над самой головой. Но Киру не было страшно. Его сердце пело. Все старые флюгера сорвались со своих насестов и летали над городом. Плыли рыбы, били крыльями петухи, на ветру спутались волосы русалок. Они спешили в сторону

моря. И железный конь скакал туда же. И Киру почувствовал себя всадником, скачущим над городом вместе со взбунтовавшимися флюгерами. Он спешил вдаль, чтобы совершить подвиг во имя Айны.

Ветер раскачивал черный штырь флюгера. Все вокруг гудело, скрипело, гнулось. Ветер мешал дышать, и Киру отвернулся, чтобы набрать воздуха. Взгляд его упал на крышу. Он заметил, что дольки черепицы стали блестящими, покрылись прозрачным леденцом. Мальчик попробовал опереться ногой на выступ — нога соскользнула. Он еле удержал равновесие. Тогда, вместо того чтобы возвращаться к слуховому окну, мальчик еще ближе подвинулся к железному коню и обхватил штырь руками. Он прижался к нему, и от этого скрип петель стал еще громче и пронзительней. Будто вместе с всадником и конем суставы Киру при каждом движении издавали скрип.

Киру закрыл глаза и стал ждать. Руки его коченели, а тело на ледяном ветру утрачивало гибкость.

Постовой милиционер поднял голову и увидел маленькую фигурку на высокой черепичной крыше. Может быть, это монтер исправляет антенну? Постовой сделал еще несколько шагов и снова посмотрел вверх. Фигура сидела неподвижно. Она лепилась у самого края конька крыши. Дальше шел обрыв.

Постовой перешел на другую сторону и стал внимательно следить за фигуркой. Она была неподвижна. Как это человек забрался туда в такой гололед? И почему он не шевелится? И как он оттуда слезет?

Некоторое время милиционер раздумывал, что ему предпринять. Потом он торопливыми шагами направился к телефону.

Пожарная машина прибыла через пять минут. Она промчалась по городу, тревожная, ревуущая, красная, будто охваченная пламенем. Автомобили уступали ей дорогу, а люди провожали ее тревожными глазами и думали: «Где-

то горит...» Они не знали, что пожарная машина спешила не в бой с огнем, а по другому, необычному делу.

Возле дома с флюгером машина резко затормозила. С подножки соскочил лейтенант, а к нему уже спешил постовой.

— Ну, где ваш альпинист? — спросил лейтенант.

Он был недоволен, что его дружину потревожили по такому непожарному делу.

— Вон у флюгера, — сказал постовой и кивнул в сторону крыши.

Лейтенант ничего не сказал милиционеру, а стал быстро отдавать свои, понятные одним пожарным, распоряжения. Заработал мотор, пожарная лестница медленно поднималась. Она была похожа на ствол огромной пушки перед выстрелом. Встав почти на дыбы, лестница стала вытягиваться. Она росла все выше и выше. Не оставив ее, и она дотянется хоть до Луны. Но когда ее край коснулся крыши, лестница перестала расти. Тогда по ней начал взбираться молодой парень в брезентовой одежде и зеленой каске. Пожарный взбирался так ловко, что прохожие дивились. Наконец он достиг края крыши.

Он увидел мальчика, обнявшего штырь флюгера. Большой флюгер мотало во все стороны. Вероятно, флюгер разделял тревогу тех, кто следил за маленькой фигуркой на гребне крыши.

Пожарный тихонько позвал:

— Эй, парень!

Киру открыл глаза. Заметив человека, появившегося со стены дома, он заморгал глазами.

— Как вы сюда попали? — спросил Киру хриплым голосом.

— По лестнице, — сказал пожарный. — А вот как ты сюда вскарабкался? — в свою очередь спросил он. И добавил: — Не пойму, как ты не свалился. Ведь вся крыша обледенела.

Киру молчал. Он еще как следует не пришел в себя.

Пожарный сказал сочувственно:

— Нагорит тебе, наверно!.. Пошли.

Киру задвигал руками, завертел шеей. Он хотел убедиться в том, что еще не совсем окаменел. Пожарный сильной рукой обхватил мальчика, но тот запротестовал:

— Я сам.

— Ладно, — сказал пожарный. — Я полезу первый, буду тебя подстраховывать. А ты крепче держись и, главное, не смотри вниз.

И они начали сползать с крыши на первую перекладину лестницы: сперва пожарный, потом Киру. Когда мальчик ухватился за лестницу, он задержался. Еще раз посмотрел на коня и всадника — на двух безмолвных виновников происшествия.

Внизу собралась толпа. Большинство прохожих интересовало, что происходит на крыше большого дома. А лейтенант пожарных стоял в стороне и молчал. Ему было неловко, что его боевая красная машина с лестницей не борется с пожаром, а снимает с крыши какого-то чудака.

Когда Киру наконец очутился на земле, он почувствовал себя совсем хорошо. Самое трудное было позади. Он поблагодарил пожарного, который помог ему спуститься с крыши, и собрался было уходить, но постовой милиционер сказал ему:

— Придется проехать в отделение. Дашь там объяснение, товарищ верхолаз.

Киру удивленно посмотрел на него: ведь он не сделал ничего плохого. Но постовой был неумолим:

— Пройдемте!

Он пригласил Киру в пожарную машину и сказал лейтенанту пожарных:

— Довезите нас до четвертого.

Лейтенант кивнул головой, и машина помчалась по городу.

На другой день по пути в школу Киру встретил Айну. Обычно в таких случаях Киру замедлял шаги и безмолвно шел на почтительном расстоянии. Но после того как он карабкался по ледяной крыше, мчался по городу на пожарной машине и имел неприятный разговор в четвертом отделении милиции, ему уже ничего не было страшно. Поэтому он решил подойти к Айне.

Он поднял на нее глаза и сказал:

— Айна, я видел флюгер. Это не петух и не рыба. Это всадник, скачущий над городом.

— Откуда ты знаешь? — удивилась Айна.

— Я... я был там.

— На крыше?

— Ну да, на крыше.

Киру ответил так спокойно, будто для него ничего не стоило залезть на крышу. Девчонка недоверчиво по-смотрела на него.

— Врешь! — сказала она.

— Нет, не вру! — отрубил Киру и сам удивился, что может так смело разговаривать с Айной. — А не веришь, — продолжал он, — не надо!.. Только я специально для тебя лазил.

И тогда холодная Айна улыбнулась. Она впервые по-смотрела на Киру, как на равного. Она не могла смотреть свысока на человека, который побывал на такой голово-кружительной высоте, на какую не поднимался еще ни один знакомый мальчишка.

Киру почувствовал, как что-то звонкое и горячее заби-лось у него в груди. Он подошел ближе к Айне и сказал:

— Хочешь, я облазаю все флюгера и расскажу тебе, какие они вблизи!

— Не надо, не надо! — испуганно сказала Айна. — Еще свалишься.

Киру было приятно, что Айне не безразлично, свалится он с крыши или нет.

Девочка неотрывно смотрела на Киру. Старый школь-ный товарищ вырос в ее глазах, и ей показалось, будто его подменили. И перед ней стоит совсем другой Киру. Но-вый, приехавший откуда-то издалека.

Они шли рядом. И упругий ветер с моря дул им в спину, словно поторапливал их. А высоко на крышах несли свою трудную службу флюгера: летели железные петухи, плыли рыбы и всадник на коне скакал над городом.



Ты знаешь, как построить хорошую берлогу? Я научу тебя. Тебе это пригодится. Нужно вырыть когтями небольшую ямку и улечься в нее поудобнее. Над тобой будет свистеть ветер, а хлопья снега будут сыпаться тебе на плечи. Но ты лежи и не шевелись. Под снегом скроется спина, лапы, голова. Не беспокойся, не задохнешься: от теплого дыхания в снегу появится отдушина. Снег плотно засыплет тебя. Ты отлежишь бока, и у тебя затекут лапы. Терпи, терпи, пока над тобой не вырастет огромный снежный сугроб. Тогда начинай ворочаться. Ворочайся что есть сил. Боками обминай снежные стены. Потом встань на все четыре лапы и выгни пину: подними повыше потолок. Если ты не поленись, у тебя будет хорошая берлога. Просторная и теплая, как наша.

Так белая медведица учила маленького медвежонка Умку, а он лежал на боку ее теплого мехового живота

и нетерпеливо дрыгал задними ногами, будто ехал на велосипеде.

В берлоге было тепло. На дворе стояла долгая теплая ночь. И звезды не просвечивали сквозь плотную снежную крышу.

— Пора спать,— сказала медведица.

Умка ничего не ответил, только сильнее задрывал лапами. Он не хотел спать.

Медведица стала причесывать пушистую шкурку Умки когтистой лапой. Другого гребешка у нее не было. Потом она мыла его языком. Умка не хотел мыться. Он вертелся, отворачивал голову, и медведица придерживала его тяжелой лапой.

— Расскажи про рыбу,— попросил Умка.

— Хорошо,— согласилась белая медведица и стала рассказывать про рыбу.— В далеком теплом море, где нет льдин, живет печальная рыба-солнце. Она большая, круглая и плавает только прямо. И не может увернуться от зубов рыбы-акулы. Потому и печальная.

Умка внимательно слушал и сосал лапу. Потом он сказал:

— Как жалко, что солнце — рыба и что его съела акула. Сидим в потемках.

— Наше солнце не рыба,— возразила медведица.— Оно плавает в небе, в голубом верхнем море. Там нет акул. Там птицы.

— Когда же оно приплывет?

— Спи,— строго сказала белая медведица.— Когда ты проснешься, будет солнце и будет светло.

Умка вздохнул, поворчал, поворочался и уснул...

...Он проснулся оттого, что у него зачесался нос. Приоткрыл глаза — вся берлога залита нежным голубоватым светом. Голубыми были стены, потолок, и даже шерсть большой медведицы была голубой, словно ее подсинили.

— Что это? — спросил Умка и сел на задние лапы.

- Солнце,— ответила медведица.
- Приплыло?
- Взошло!
- Оно голубое и с рыбьим хвостом?
- Оно красное. И никакого хвоста у него нет.

Умка не поверил, что солнце красное и без хвоста. Он принялся копать выход из берлоги, чтобы посмотреть, какое солнце. Слежавшийся плотный снег не поддавался, из-под когтей летели белые ледяные искры.

И вдруг Умка отскочил: яркое красное солнце ударило его ослепительным лучом. Медвежонок зажмурился. А когда снова приоткрыл глаза, ему стало весело и щекотно. И он чихнул. И, обдирая бока, выбрался из берлоги наружу.

Свежий упругий ветер с тонким свистом дул над землей. Умка подставил нос и почувствовал множество запахов: пахло морем, пахло рыбой, пахло птицами, пахло землей. Эти запахи сливались в один теплый запах. Умка решил, что так пахнет солнце — веселая, ослепительная рыба, которая плавает по верхнему морю и которой не страшна зубастая акула.

Умка бегал по снегу, падал, катался кубарем, и ему было очень весело. Он подошел к морю, опустил лапу в воду и лизнул ее. Лапа оказалась соленой. Интересно, верхнее море тоже соленое?

Потом медвежонок увидел над скалами дым, очень удивился и спросил белую медведицу:

- Что там?
- Люди,— ответила она.
- А кто такие люди?

Медведица почесала за ухом и сказала:

— Люди — это такие медведи, которые все время ходят на задних лапах и могут снять с себя шкуру.

— И я хочу,— сказал Умка и тут же попытался встать на задние лапы.

Но стоять на задних лапах оказалось очень неудобно.

— Ничего хорошего в людях нет,— успокоила его медведица.— От них пахнет дымом. И они не могут подстеречь нерпу и уложить ее ударом лапы.

— А я могу? — поинтересовался Умка.

— Попробуй. Видишь, среди льдов круглое окошко в море. Сядь у этого окошка и жди. Когда нерпа выглянет, ударь ее лапой.

Умка легко прыгнул на льдину и побежал к полынье. Лапы у него не разъезжались, потому что на ступнях росла шерсть — он был в валенках.

Медвежонок добрался до полыньи и залег у ее края. Он старался не дышать. Пусть нерпа думает, что он не Умка, а снежный сугроб и что у сугроба нет ни когтей, ни зубов. А нерпа-то не появлялась!

Вместо нее пришла большая медведица. Она сказала:

— Ничего ты не умеешь делать. Даже нерпы поймать не можешь!

— Здесь нет нерпы! — рыкнул Умка.

— Есть нерпа. Но она видит тебя. Закрой лапой нос.

— Нос? Лапой? Зачем?

Умка широко раскрыл маленькие глаза и удивленно смотрел на мать.

— Ты весь белый,— сказала мама,— и снег белый, и лед белый. И все вокруг белое. И только твой нос черный. Он тебя выдает. Закрой его лапой.

— А медведи, которые ходят на задних лапах и снимают шкуру, тоже прикрывают носы лапой? — поинтересовался Умка.

Медведица ничего не ответила. Она отправилась ловить рыбу-сайку. На каждой лапе у нее было по пять рыболовных крючков.

Веселая рыба-солнце плыла по верхнему голубому морю, и вокруг становилось все меньше снега и больше земли. Берег стал зеленеть. Умка решил, что его шкурка

тоже станет зеленой. Но она оставалась белой, лишь слегка пожелтела.

С появлением солнца для Умки началась интересная жизнь. Он бегал по льдинам, взбирался на скалы и даже окунулся в ледяное море. Ему хотелось встретить странных медведей — людей. Он все расспрашивал о них медведицу:

— А в море они не водятся?

Мать покачала головой:

— Они утонут в море. Их мех не покрыт жиром, сразу обледенеет, станет тяжелым. Они водятся на берегу возле дыма.

Однажды Умка улизнул от большой медведицы и, прячась за скалы, отправился в сторону дыма, чтобы повидать странных медведей. Он шел долго, пока не очутился на снежной полянке с темными островками земли. Умка приблизил нос к земле и втянул в себя воздух. Земля пахла вкусно. Медвежонок даже лизнул ее.

И тут он увидел незнакомого медвежонка на двух лапах. Рыжеватая шкурка блестела на солнце, а на щеках и на подбородке шерсть не росла. И нос был не черный — розовый.

Выбрасывая задние лапы вперед, Умка побежал к двуногому медвежонку. Незнакомец заметил Умку, но почему-то побежал не навстречу, а пустился наутек. Причем бежал он не на четырех лапах, как удобнее и быстрее, а на двух задних. Передними же размахивал без всякой пользы.

Умка поспешил за ним. Тогда странный медвежонок, не останавливаясь, стянул с себя шкуру и бросил ее на снег в точности как рассказывала медведица. Умка добежал до сброшенной шкуры. Остановился. Понюхал. Шкура была жесткой короткий ворс поблескивал на солнце. «Хорошая шкура, подумал Умка, только где же хвост?»

А незнакомец тем временем отбежал довольно далеко. Умка пустился вдогонку. И потому, что он бежал на четырех лапах, то скоро снова приблизился к двуногому. Тогда

тот бросил на снег... передние ступни. Ступни были без когтей. Это тоже удивило Умку.

Потом двуногий медведь сбросил голову. Но голова оказалась... пустой: без носа, без пасти, без зубов, без глаз. Только большие плоские уши болтались по сторонам, и у каждого уха — тоненький хвостик. Все это было очень интересно и любопытно. Умка, например, не мог бы сбросить шкуру или пустую голову.

Наконец он догнал двуногого. Тот сразу упал на землю. И замер, словно хотел подстеречь нерпу. Умка наклонился к его щеке и понюхал. От странного медведя пахло не дымом — от него пахло молоком. Умка лизнул его в щеку. Двуногий приоткрыл глаза, черные, с длинными ресницами. Потом встал и отскочил в сторону. А Умка стоял на месте и любовался. Когда же к Умке потянулась лапа — белая, гладкая, совсем без шерсти, — медвежонок даже заскулил от радости.

Потом они шли вместе по снежной полянке, по земляным островкам, и двуногий медвежонок подбирал все, что он побросал. Он надел на свою голову пустую, с плоскими ушами, натянул на лапы ступни без когтей и влез в шкуру, которая оказалась без хвоста, даже без маленького.

Они пришли к морю, и Умка предложил своему новому другу искупаться. Но тот остался на берегу. Медвежонок долго плавал, нырял и даже поймал на коготь серебристую рыбку. Но когда вышел на берег, нового знакомого не оказалось на месте. Наверное, он убежал в свою берлогу. Или пошел охотиться на полянку, надеясь встретить двуногого друга. Он принюхивался, но ветер не пахнул ни дымом, ни молоком.

...Красная рыба-солнце плыла по синему верхнему морю-небу. И был большой бесконечный день. Тьма совсем исчезла. А берлога начала таять и заполнялась голубой водой. Но когда есть солнце — берлога не нужна.

Льды отошли далеко от берега. И нижнее море стало чистым, как верхнее.

Однажды большая медведица сказала:

— Пора, Умка, перебираться на льдину. Мы поплывем с тобой по всем северным морям.

— А двуногие медведи плавают на льдинах? — спросил Умка.

— Плавают, — ответила мать, — только самые смелые.

Умка подумал, что, может быть, он встретит своего нового друга на льдине в северных морях, и тут же согласился перебраться на новое место. Но перед тем как отправиться в путь, спросил на всякий случай:

— Акула меня не съест?

Медведица тихо зарычала, засмеялась:

— Ты же не печальная рыба-солнце. Ты же белый медведь! И потом, еще ни одна акула не заплывала в наше холодное море.

Мать и сын подошли к воде. Оглянулись на родные места. И поплыли. Впереди — медведица, за ней — Умка. Они плыли долго по холодному морю. В теплых шкурах, смазанных салом, им было тепло. Вдалеке показалось белое поле льдов.

Умка с матерью, как все белые медведи, стали жить на льдинах. Они охотились, ловили рыбу. А льды всё плыли и плыли, унося их дальше от родного берега...

...Пришла зима. Веселая рыба-солнце уплыла куда-то по верхнему морю. И опять стало надолго темно. В полярной ночи не видно ни Умки, ни медведицы. Зато в небе загорелись яркие северные звезды. Появились два звездных ковшика. Большой ковшик — Большая Медведица, маленький — Малая. И когда двуногий медвежонок — мальчик, живущий на берегу, — выходит на улицу, он отыскивает глазами маленький ковшик и вспоминает Умку. Ему кажется, что это Умка шагает по высокому небу, а за ним идет мать — Большая Медведица.

Я ИДУ
за
НОСОРОГОМ

После лета очень трудно привыкнуть к своему месту за партой. Оно такое тесное и неудобное, что чувствуешь себя как в ботинке, который жмет. И к тому же невозможно дожидаться звонка. Может быть, он за лето испортился и звенит так тихо, что его не слышно, и теперь уроку не будет конца?

«Сложение — вычитание, деление — умножение». Эти слова никак не укладываются в голове, как будто они из другого языка.

Когда становится совсем скучно, можно повернуть голову к окну и как бы очутиться на улице. Тогда вместо зеленой классной доски увидишь мокрые крыши, трубы, антенны, похожие на букву «Т». Если сложить эти уличные большие буквы, то получится длинное слово из одних «Т»: те-те-те-те-те...

Сейчас на улице идет косой дождь. По стеклу ползут кривые ручейки и можно загадывать, какой из них потечет влево, а какой свернет направо.

— Алексей Бочаров, куда ты смотришь?

— А?!

Он вздрагивает, как разбуженный среди ночи, резко поворачивает голову и с дождливой улицы попадает в сухой класс. Он не моргая смотрит на Валентину Васильевну, сколько хватит сил. За первые числа сентября он успел получить множество замечаний. Будь они круглыми, как камушки, у него раздулись бы карманы от замечаний. Сейчас его опять будут ругать...

Но Валентина Васильевна неожиданно спросила:

— Алексей Бочаров, расскажи мне про носорога.

Он медленно встал, подтянул штаны и задумался. Что можно рассказать о звере, которого не проходили в школе и с которым никогда не встречался? И он выпалил:

— У носорога вместо носа рог!

Он был уверен, что ответил правильно. Но Валентина Васильевна покачала головой.

— Нет,— сказала она,— у носорога есть и нос и рог. А иногда у него даже два рога. Носорог огромный, сильный зверь, но он может испугаться собаки...

— Собаки? — переспросил Алексей Бочаров.

— Ну да, собаки. Зато носорог может броситься на танк.

— На танк?

Он вытянул губы, словно собирался сыграть на дудочке, и сразу представил себе тяжелый танк с длинной пушкой впереди. На броне намалеван черный крест, потому что танк фашистский. Танк гремит гусеницами и ползет прямо на него. Но тут из зарослей выбегает носорог. Он насккивает на танк, ударяет его крепким рогом в бок, и огромная грохочущая машина переворачивается вверх тормашками.

Носорог сразу становится приятен Алексею Бочарову. Зачем только он боится собак, раз ему не страшен танк?

— Но самые страшные враги носорога,— говорит Валентина Васильевна,— москиты.

— Это такие комары?

— Вроде этого,— отвечает учительница и продолжает свой рассказ.— Целые тучи москитов налетают на носорога. Они жалят его со всех сторон. И чтобы спастись от них, зверь бежит к реке и зарывается в прохладную тину.

— Это хорошо, что есть прохладная тина,— с облегчением говорит Алексей Бочаров.

Но Валентина Васильевна качает головой:

— В тине носорога подстерегают пиявки. Сотни пиявок впиваются в его тело...

— Как же быть?

Валентина Васильевна молчит. Она тоже не знает, как быть, и пристально смотрит на мальчика. И тут он замечает, что она начинает улыбаться. Незаметно, уголками глаз.

— Как же быть? — Он торопит учительницу, потому что ему не терпится узнать, как спасти носорога от пиявок.

— У него есть защитник, верный друг,— доверительно говорит Валентина Васильевна.

Слон?

Нет, не слон.

Тигр?

Нет, не тигр.

Кто же друг носорога, который может одним махом раздавить всех пиявок? Мальчик смотрит в окно, но уже не видит кривых ручейков и не читает длинное слово, состоящее из одних только «Т». Он думает о друге носорога.

Его зовут бюфаг,— говорит Валентина Васильевна.

Алексею Бочарову хочется стукнуть крышкой парты и крикнуть: «Да здравствует бюфаг!» Но он никак не сообразит, что это за зверь. Может быть, он похож на крокодила? А Валентина Васильевна молчит и ничего не говорит о друге — бюфаге. Лишь бы не зазвенел звонок, а то она не успеет...

— Бюфаг не только спасает носорога от москитов и

пиявок, но и предупреждает его об опасности, — говорит Валентина Васильевна и берет в руки мел. — И вот два носорога вышли из зарослей. — Валентина Васильевна написала на доске цифру «2». — В это время бюфак подал сигнал тревоги: идут бегемоты! В зарослях скрывалось еще пять носорогов, — она написала «5», — а еще три носорога лежали в речном иле. — На доске появилась белая тройка. — Услышав сигнал тревоги, все стадо собралось вместе.

Что же было дальше? Но вместо того чтобы рассказывать, Валентина Васильевна спросила:

— Сколько носорогов было в стаде? И на чьей стороне оказалось превосходство, если бегемотов было восемь?

Ни минуты не раздумывая, Алексей Бочаров окунул перо в чернила и стал записывать историю, которая произошла с носорогами. Надо было скорее собрать все стадо и пересчитать его. Два носорога вышли из зарослей... Если прибавить к ним пятерых, которые не успели выйти, то получится семь носорогов! Но это еще не все. Ведь еще три носорога лежат в речном иле и их жалят пиявки. Если прибавить их к семерым, то получится десять.

Он старался изо всех сил. Если замешкаться или ошибиться, стадо не успеет собраться вместе и бегемоты одолеют носорогов.

Носорогов десять, бегемотов восемь. На чьей стороне превосходство? Десять минус восемь равняется два.

— Валентина Васильевна! — он подскочил с места. — Валентина Васильевна, носорогов больше. Носороги победят!

Поздно вечером, когда в доме гасят свет, в комнату входит уличный фонарь. Он высокий, и ему ничего не стоит попасть на второй этаж. Если дует ветер, фонарь качает головой. Когда зимой сыплет снег, фонарь виден еле-еле, и кажется, он перешел на другую сторону и никак не может вернуться на свое место.

Алексей Бочаров лежал с открытыми глазами, смотрел на фонарь и думал о бюфаге. А потом он увидел его во сне. Это было очень страшное существо с белыми клыками и красным языком, с когтистыми лапами и полосатой шкурой. Что-то вроде тигра. Бюфак шел по земле и рычал. Он разыскивал друга.

А носорог в это время стоял по грудь в воде, и из его глаз, как с кончика крана, падали в воду крупные капли. Его жалили пиявки, и ему было нестерпимо больно.

Но вот показался бюфак. Он спешил на выручку и ревел. И от этого звериного рева мерзкие пиявки в ужасе прыгали в реку и забились в темный густой ил. Носорог перестал плакать и с улыбкой зашагал навстречу другу. И они терлись друг о друга боками и урчали от удовольствия.

Когда мальчик проснулся, фонаря в комнате уже не было. Он ушел на свое место, а вернее — погас. Вместо фонаря светило красноватое солнце. Оно было похоже на ломтик арбуза, только без зеленой корочки.

Алексей Бочаров вскочил с постели и в одних трусах побежал к столу, чтобы поскорей нарисовать бюфага, пока не забыл, как он выглядел во сне. Он помнил, какие у зверя клыки и язык, но забыл, какого цвета шкура. А может быть, во сне вообще не было красок: ведь не каждую ночь снятся цветные сны. Под рукой оказался красно-синий карандаш. И он раскрасил бюфага в красный и синий цвета. Нужно было еще нарисовать носорога, но уже не хватало времени. Зато в последнюю минуту он наставил на листе бумаги много-много синих запятых. Это были пиявки, которые с ужасом убегали от бюфага.

Готовый рисунок он вложил в дневник, чтобы не забыть показать его Валентине Васильевне.

Он был уверен, что как только начнется урок, Валентина Васильевна заговорит о носороге, вообще на уроке все

будут заниматься только носорогом, и это будет очень интересно. И когда Валентина Васильевна сказала: «Алексей Бочаров, к доске», он взял дневник и смело вышел из-за парты. Ему не терпелось рассказать о носороге, и он, не дожидаясь вопроса учительницы, начал отвечать:

— Носорог — огромный, сильный зверь, но он может испугаться собаки.

— Очень приятно, — сказала Валентина Васильевна, — а теперь реши пример.

Он вздохнул и взял в руки мел. Валентина Васильевна продиктовала:

— Восемьдесят восемь плюс сорок четыре.

Он вывел на зеленой доске две восьмерки и две четверки и стал думать: «Восемьдесят восемь носорогов повстречали сорок четыре бюфага. Почему так мало бюфагов? Значит, не у каждого носорога есть друг...»

— Что же ты не решаешь?

— Сейчас решу.

«Но если к восьмидесяти восьми носорогам прибавить сорок четыре бюфага, то получится... два пишем, один в уме... то получится... восемь и один — девять... девять и четыре — тринадцать... то получится сто тридцать два неразлучных друга!»

Он сильнее сжал мелок и написал: «132».

— Правильно, — сказала Валентина Васильевна, а по ее глазам он понял, что она тоже думает о носорогах.

Учительница открыла дневник и вдруг удивленно посмотрела на мальчика.

— Что это такое?

Он привстал на цыпочки и заглянул через ее плечо.

— Это бюфаг, — сказал он.

— Какой же это бюфаг, — не согласилась учительница, — ведь бюфаг — птица.

— Птица?

— Ну да, птица.

Ему сразу стало не по себе, словно он ошибся в друге. Он-то думал, что бюфаг зверь, а тот оказался птицей. Алексей Бочаров опустил голову. Валентина Васильевна положила ему на плечо руку и легонько потрясла его.

— Ты знаешь, — сказала она тихо, словно хотела доверить ему важную тайну, — бюфаг — очень хорошая птица. Она, как всадник, садится на спину носорогу и на ходу клует пиявок и москитов. Нарисуй птицу.

— Нет, — сказал мальчик, — лучше нарисую носорога.

В начале года школьная форма очень неудобна: рукава длинные, жесткий воротник колет шею, а штаны только успевай подтягивать — спадают. Каждый с удовольствием надел бы старую форму. Пусть она маловата, пусть колени и локти протерты и заштопаны, зато в ней чувствуешь себя человеком. Но дома говорят: «Без разговоров!» — и напяливают на тебя новую форму.

Он сидел в новой куртке и ему хотелось взять ножницы и подрезать рукава, которые доходили до пальцев. Ему было прямо-таки тошно в новой форме, но он стал думать о носороге и в конце концов забыл о форме. А его сосед по парте — Попотенко — сопел и вертелся.

Волосы Попотенко стояли торчком, а глаза черные. Кажется, из таких глаз вместо слез текут чернила. Попотенко не думал о носороге, и сидеть ему очень тяжело.

В первом классе Попотенко вообще не досиживал до конца звонка.

Посередине урока он поднимался и шел к двери.

Попотенко, ты куда? — спрашивала его удивленная учительница (тогда еще не было Валентины Васильевны).

— Я хочу... — хныкал Попотенко и скрывался за дверью.

А когда он ничего не хотел, то тоже вставал и уходил.

— Ты куда?

— Я пошел к бабушке,— отвечал он и шел дальше. Ничего нельзя было с ним поделывать!

Теперь Попотенко никуда не уходит. Вырос. Он сидит рядом с Алексеем Бочаровым и пыхтит. И ничего не знает про носорога.

Алексей Бочаров не смотрит в окно. Нет смысла. Если бы по улицам разгуливали носороги с бюфагами на спине, тогда можно было бы вытянуть шею и даже привстать.

Хорошо бы встретить носорога, пойти за ним по полям и лесам и почесать его за ухом...

— Валентина Васильевна, у носорога есть уши? — на всякий случай спросил он.

— Есть.

— Большие?

— Не помню. Честное слово, не помню... Слушай, Алексей Бочаров, сходи в зоологический сад, посмотри, какие уши у носорога.

Никогда не надо съедать завтрак после первого урока. Надо сдерживаться, даже если в бумаге завернут бутерброд с вкусной розовой колбасой. Завтрак может пригодиться для более важного дела. Например, для того, чтобы угостить носорога.

В зоологический сад он шел под дождем. Дождь безжалостно мочил новую форму и тонкими струйками тек за ворот. Но не обязательно обращать на него внимание. Пусть льет. Можно уговорить себя, что никакого дождя нет и над головой не тяжелые тучи, а белые веселые облака. И ничего страшного, что между лопаток течет вода и куртка стала липкой и холодной.

Когда он добрался до зоологического сада, там уже никого не было. Посетители испугались дождя и разошлись. Остались одни звери. Тигр успел промокнуть, шерсть слиплась на животе и свисала сосульками. А беге-

мот спрятался от дождя в воду, и только выпуклые, как два бугорка, глаза посматривали, что делается кругом.

Алексей Бочаров долго бродил по пустым звериным улицам и все искал, на какой улице живет носорог. Ему попадались верблюжьи, слоновьи, птичьи, обезьяньи улицы, а носорожьей все не было.

Куртка намокла и из серой превратилась в черную. Она прилипла к лопаткам и жгла, как горчичник. И было жутковато оставаться наедине с сотнями зубастых и когтистых зверей, хотя они сидели в клетках.

Где же в конце концов живет носорог? Может быть, он открыл клетку и ушел? И теперь разгуливает по трамвайным путям, а дождь стекает по его круглым бокам?

И вдруг на толстых железных прутьях он увидел две таблички. На одной было написано: «Африканский двурогий носорог по кличке «Носик». На соседней табличке была другая надпись: «Дразнить и кормить зверей строго воспрещается».

Разве дразнить и кормить одно и то же? Мальчик просунул голову между железными прутьями и стал искать хозяина клетки. Носорог мог и не убегать в город, а забиться куда-нибудь в уголок подальше от дождя.

Холодные струи текли по спине. Дождь мочил вкусный бутерброд, который мальчик держал в протянутой руке, чтобы угостить носорога.

А носорог не шел. Тогда Алексей Бочаров решил позвать его по имени.

— Носик! Носик! — крикнул он и прислушался.

И вдруг дверь в задней стене клетки открылась, и из нее вышла старушка в синем халате.

— Чего тебе? — недовольно спросила она.

— Носорога,— ответил мальчик и от удивления вытянул губы, словно собирался сыграть на дудочке.

— Носорог болен.
— Болен? Разве носороги болеют?
— Все болеют! — отрезала старушка и захлопнула за собой дверь.

А он все стоял и держал в руке бутерброд. От расстройства он сам стал откусывать от бутерброда, но не чувствовал запаха колбасы, хотя очень ее любил.

— А где птица бюфаг? — тихо крикнул он вслед старушке.

Если носорог болен, то, может быть, можно угостить его друга?

Но старушка больше не появлялась. Наверное, она ушла к больному и поит его горькими лекарствами. А мальчик стоял под дождем и не заметил, как съел бутерброд.

Конечно, приятнее ждать хорошего исхода. Но лучше укрепить сердце и приготовиться к худшему. Если носороги такие большие, то болезни их тянутся долго; им куда тяжелее, чем людям.

Он поднимался по лестнице, когда его окликнула Валентина Васильевна.

— Алексей Бочаров, ты нарисовал носорога?

Мальчик покачал головой.

— Поленился, — сказала учительница. — А какие у него уши, запомнил?

— Я не видел его ушей. Он болен, — печально сказал мальчик и закашлялся.

— Ты сам болен. Наверное, бегаешь без пальто?

Конечно, он бегал без пальто, без фуражки. Но какое это имеет значение, если носорог болен!

— Ничего, поправится, — утешила его Валентина Васильевна. — Он сильный.

— Тогда посмотрю, какие у него уши, и нарисую, — сказал мальчик.

На уроке он сидел хмурый и время от времени кашлял, а сосед Попотенко ворчал:

— Не кашлай в мою тетрадку. Кашлай в сторону.

Он отворачивался и кашлял в закрытое окно. А Попотенко лез со своими советами:

— Пойди к врачу. Тебе освобождение дадут.

Он не хотел никакого освобождения. Здесь в классе был человек, который все понимал и вместе с ним жалел больного носорога. Зачем же брать освобождение и уходить от такого человека?

И как только он об этом подумал, Валентина Васильевна сказала:

— Заболел носорог...

Он поднял глаза и насторожился.

— Чтобы вылечить его, доктор прописал лекарство, — продолжала учительница, — десять стаканов микстуры, двадцать пять стаканов горячего молока и пять стаканов свежего меда. Сколько стаканов потребовалось носорогу для лечения?

Перо само начало писать. Нет, Алексей Бочаров переписывал не задачу, а составлял рецепт. Он лечил своего незнакомого друга с острыми рогами на кончике носа.

...Носорог спал, вытянув короткие лапы и положив на них тяжелую голову. Его закрытые глаза затерялись в складках кожи. И было непонятно, в каком месте у него глаза. Большие покатые бока поднимались и опускались, поднимались и опускались. Носорог дышал ровно и спокойно.

Интересно, что снится носорогу? Родная жаркая Африка или сердитая старушка в синем халате?

Алексей Бочаров стоял перед клеткой и ждал, сжимая в руке бутерброд с розовой колбасой. А потом он просунул сквозь прутья голову, сколько позволяла шея, и позвал:

— Носик, Носик, Носик!

Животное тяжело вздохнуло, зашевелилось и подняло

веки. Глаза носорога оказались большими, внимательными, настороженными. Они смотрели на мальчика и светились радостью.

— Носик! — крикнул мальчик и протянул руку, в которой был зажат его завтрак. — Носик, хочешь колбаски?

Носорог встал на ноги — у него это получилось легко и бесшумно, словно огромная туша весила сущие пустяки, — и медленно двинулся к мальчику. Он шел, и его лопатки, как шары, перекачивались под толстой кожей. Кожа была рыжеватой, как броня, слегка проржавевшая от долгих дождей. На морде сверкали два острых рога, один подлиннее, другой покороче.

В этот момент мальчик понял, что носорог самый красивый зверь на свете и что за его грозной внешностью скрывается доброта и кротость. Если к нему относиться по-человечески, он не пустит в ход свои страшные рога.

Мальчик смотрел на Носика, а Носик смотрел на него. Они стояли друг против друга и разговаривали. Тихо, про себя.

«Как твое здоровье?» — спрашивал мальчик.

«Ничего, — отвечал носорог, — температура нормальная. Выпускают на улицу».

«А тебе старушка не передавала, что я заходил?»

«Как же, передавала».

Тут он вспомнил про бутерброд и протянул его своему новому другу:

«На, попробуй. Колбаса свежая, без жира. Докторская».

Носорог втянул в себя запах колбасы. Но есть не стал.

— Он вегетарианец. Не ест мясного, — слышался за спиной мальчика ворчливый голос.

Он повернулся и увидел старушку в синем халате. На этот раз она появилась не в клетке, а пришла по аллее.

— А что же он ест? — спросил мальчик.

— Веники.

— Какие веники?

— Зеленые. Из веток молодой акации. Очень любит.

Алексей Бочаров решил тут же наломать другу зеленый веник, но, оглядевшись вокруг, увидел, что листья на деревьях пожелтели и до будущей весны негде раздобыть свежей зелени.

— Я принесу ему из дома фикус, — предложил мальчик, — он у нас зеленый и свежий.

— Носик не ест фикусов, — сухо сказала старушка. — И вообще, дразнить и кормить зверей строго воспрещается.

Этот разговор был неприятен не только мальчику, но и носорогу. Зверь повернулся спиной к старушке, и теперь вместо клыков был виден хвостик — маленький и сухой, как у арбуза.

Мальчик сунул в карман ненужный бутерброд и спросил старушку:

— А где же бюфаг?

— Бюфаг? — поморщилась старушка, будто это слово было ей очень неприятно. — У нас нет такого вида.

— Это не вид, а птица. Она спасает носорога от пиявок и moskitov...

— У нас нет пиявок и moskitov! — отрезала старушка и быстро засеменила прочь.

Алексей Бочаров опустил голову.

«Когда рядом нет верного друга, то даже самый сильный и бесстрашный может попасть в беду. И никакие рога не помогут. Здесь нет бюфага, но должен же быть у носорога друг!» Так думал мальчик, стоя у железной клетки. В это время Носик повернулся и одобрительно кивнул головой. И они стали друзьями...

— Как поживает Носик? — спросила однажды Валентина Васильевна, встретив Алексея Бочарова на лестнице.

— Хорошо поживает, — сказал он, — поправился.

— А какие у него уши? — продолжала расспрашивать учительница.

— Уши? — Он совсем забыл про уши. Думал-думал об ушах и забыл.

— У него красивые уши! — выпалил мальчик. — А сам он вегетарианец. Это значит — не ест колбасы.

И мальчик стал рассказывать о носороге все, что ему удалось узнать. И то, что носорог весит полторы тонны и что он, как лошадь, ест овес и сено, а еще картошку и крупу и даже пьет рыбий жир для укрепления здоровья.

А Валентина Васильевна слушала его и не перебивала. Руки у нее были заняты: в одной руке — портфель, а в другой — под мышкой — огромная стопка тетрадей. И она не могла положить руку ему на плечо и потрясти его легонько. Но глаза ее весело поблескивали и одобряли.

В доме номер двадцать пять меняли водосточные трубы. Новые трубы были похожи на серебристую кору высоких прямых деревьев, а старые — потрескавшиеся, облупившиеся — валялись на земле. Будто огромная змея сбросила старую, ненужную кожу и уползла дальше.

Обычно Алексей Бочаров задолго до дома двадцать пять переходил на другую сторону. Этот дом славился мальчишками, которые вечно толпились у ворот и норовили пристать к каждому проходившему мимо. И сегодня, возвращаясь из школы, он уже собрался свернуть с тротуара, но вдруг ему показалось, что носорог Носик сейчас наблюдает за ним и качает головой: «Что ж ты, друг мой? Неужели не решишься пойти напрямик?»

Ему очень не хотелось идти напрямик. Другая сторона улицы прямо-таки звала его: «Иди сюда, иди сюда...» Но ему стало стыдно перед новым другом, и он пошел напрямик.

Он вдруг почувствовал прилив сил. словно впереди, мягко ступая по асфальту короткими ногами, шел тяжелый носорог. Глаза зверя внимательно посматривали по сторо-

нам, острые рога — один подлиннее, другой покороче — приведены в боевое положение. Носорог не сворачивал на другую сторону, шел прямо мимо дома двадцать пять. И он, Алексей Бочаров, идет за носорогом. А когда идешь за носорогом, то ничего не трудно и ничего не страшно.

«Я иду за носорогом», — сам себе говорит мальчик и ускоряет шаги. Он проходит мимо ворот, у которых стоят мальчишки, переступая с ноги на ногу. Им не терпится подставить подножку или дать пинка невысокому школьнику в серой курточке с большим портфелем в руке. Но они озадачены тем, как бесстрашно и спокойно он проходит мимо них. Они таращат глаза и не решаются сойти с места.

Они наверняка проведали, что он дружит с носорогом, и предпочитают его не трогать.

С некоторых пор у Алексея Бочарова появился четвероногий помощник. Когда Валентина Васильевна давала трудную задачку, носорог помогал мальчику решать ее быстро и верно. Он превращал обыкновенные скучные цифры в своих братьев-носорогов, в своих друзей — птиц бюфагов и в пиявок, которых нужно было немедленно пересчитать и загнать в темный ил. В тихих задачах, написанных мелом на доске, звучали сигналы тревоги, происходили битвы, погони, и все зависело от того, насколько быстро и точно считает Алексей Бочаров.

Сам того не замечая, мальчик научился ловко прибавлять к носорогам бюфагов и делить пиявок на носорогов. А однажды носорог помог ему выучить наизусть стихи.

Обычно в школе всем ребятам задают учить одно и то же стихотворение. Будто на свете так мало стихов, что на каждого не хватит. Очень скучно сидеть и слушать, как двадцать человек подряд выходят к доске и не своими голосами читают:

Однажды в студеную зимнюю пору
Я из лесу вышел. Был сильный мороз...

Валентина Васильевна задавала всем ребятам разные стихи.

И Алексею Бочарову досталось вот какое стихотворение:

Жил да был носорог
С носорожницей.
И у них был сынок
С глупой рожицей.

Был хорош и пригож
Носорожек.
Почему ж, отчего ж
Он без рожек?

И у папы рога,
И у мамы рога,
И с рогами сестрица-красавица.

И сказал носорог:
— Не ходи за порог,
Пока рог у тебя
Не появится...

Днем и ночью
Носорожек
Терся носом
О порожек.

Ел картошку,
Ел творог,
Лишь бы только
Вырос рог.

Терся носом о порог —
Появился бугорок.
И уже из бугорка
Прорезаются рога.

Ходит гордый носорожек.
Щеголяет парой рожек.

Больше всего Алексей Бочаров не любил учить стихи. Он краснел от натуги: стихи не лезли ему в голову, как он их туда ни загонял. И когда его вызывали к доске, он забывал половину. В классе звучало шипение — это ребята пытались подсказать ему.

Но стихотворение, которое на этот раз досталось ему, само укладывалось в голове. Вернее, не само, а с помощью носорога. Мальчик представил себе своего друга маленьким, беспомощным существом, у которого на носу не было даже самого маленького рога. И ему подумалось, что пока он не будет знать стихотворения до конца, рожки не появятся и его друг не станет грозным носорогом.

На другой день он прочитал стихи в классе у доски. Он ни разу не запнулся. И Валентина Васильевна поставила в дневнике большую пятерку, похожую на серп.

Когда осень становится холодной и дождливой, волей-неволей приходилось надевать пальто. А если дождь льет без передышки, то никто тебя не выпустит из дома без галош. В галошах человек становится неповоротливым и неуклюжим. Галоши всегда велики и после каждого шага спадают — приходится волочить ноги по мокрой, грязной мостовой.

В один из таких дождливых «галошных» дней Алексей Бочаров услышал по радио тревожное сообщение:

«В зоологическом саду опустели летние клетки, все звери перебрались на зимние квартиры. И только носорог по кличке «Носик» не пожелал покидать свой дом. Уже третий день рядом с его жильем стоит большая клетка на колесах, которая должна перевезти его в теплое помещение. Но своенравный житель Африки мерзнет, не ест, а перебраться в новую клетку не желает».

Для Алексея Бочарова это сообщение прозвучало как колокол пожарной машины. Он вскочил с места и побежал

к окну. Но что можно увидеть в запотевшем окне, кроме кривых ручейков и мокрой улицы...

«Он мерзнет и ничего не ест». Эти слова продолжали звучать, как будто радио повторяло их бесчисленное количество раз. От них сжималось сердце.

А может быть, носорог ждет его, Алексея Бочарова, и поэтому мерзнет и голодает? Надо немедленно бежать в зоологический сад!

Он натянул пальто и надел галоши, которые спадают после каждого шага. Сейчас эти галоши были пропуском, без которого не выпустят из дома.

Несколько раз на улице галоши спадали с ног. Ему надоело останавливаться и топтать ногой. Он скинул галоши и взял их в руки. Он промчался мимо дома номер двадцать пять. Дождь разогнал задира мальчишек, и у ворот никого не было. Он задел ногой старую трубу, и та с грохотом покатила по мостовой.

«Он мерзнет и ничего не ест. Он мерзнет и ничего не ест...»

В зоологическом саду не было ни посетителей, ни зверей. Может быть, в предчувствии снега и мороза звери покинули свои клетки и вместе с перелетными птицами поспешили на юг, чтобы вернуться обратно только с приходом весны? Даже белого медведя не оказалось на месте — ушел за компанию.

И только носорог не испугался зимы и ждал друга. Он лежал в углу клетки, поджав под себя толстые короткие лапы, и дремал. Его большие, свернутые фунтиком уши вздрагивали от ветра.

Рядом с его клеткой стояла другая — на колесах. Она уже третий день ожидала упрямого пассажира. Немного в стороне застыли две фигуры. В брезентовых плащах с треугольными капюшонами они были похожи на двух пингвинов: большого и маленького.

— Может быть, покормим его? — говорил маленький пингвин.

— Нет, — отвечал большой пингвин, — тогда он еще неделю просидит здесь.

— Жалко зверя.

— Что поделаешь!

Алексей Бочаров подбежал к клетке и взялся за мокрый железный прут. Носорог дремал. Он не знал, что пришел товарищ. Тогда мальчик позвал:

— Носик! Носик!

Носорог слегка приоткрыл глаза и недоверчиво посмотрел перед собой. Может быть, его обманывают и никакого Алексея Бочарова здесь нет?

Но, увидев своего знакомого, носорог широко открыл глаза и втянул ноздрями воздух, чтобы проверить по запаху, не ошибся ли он. Потом он поднялся и подошел к решетке. Он осунулся и похудел. И большие складки на его толстой шкуре стали еще глубже.

«Что же ты не ешь и мерзнешь в летней клетке?» — про себя спросил мальчик носорога.

«Жду тебя», — про себя отозвался тот.

«Все звери уже перебрались. Надо и тебе переезжать, а то замерзнешь».

«Успею».

«У нас зимы холодные. Вместо дождя идет снег. А вода становится твердой, как камень».

«А как же я?»

«Переезжай скорей на зимнюю квартиру. Это очень близко. Прокатишься. Я за тобой пойду».

Мальчик и носорог смотрели друг на друга и вели разговор, который не слышал никто, кроме них. А два пингвина — большой и маленький — стояли в стороне и ждали, что будет дальше. А дальше произошло вот что. Мальчик пошел вдоль клетки, перебирая рукой прутья. И носорог двинулся за ним. Он дошел до порога и остано-

вился перед клеткой на колесах, которая доставляет львов, тигров и бегемотов, куда им полагается.

— Он идет,— прошептали пингвины.

Мальчик подошел к клетке на колесах. Носорог вопросительно поглядел на него. И мальчик кивнул: «Иди смелей!» Носорог бесшумно двинулся вперед. Сперва вошли передние ноги, потом задние. Дверка захлопнулась, и клетка покатила по мокрой дорожке.

Носорог ехал в клетке, а мальчик шел за носорогом и подбадривал его:

«Ты не волнуйся, все будет в порядке. В новой клетке тебе будет тепло, как в Африке. А когда настанет весна, я угощу тебя ветками молодой акации, раз ты вегетарианец и не ешь докторской колбасы».

А носорог молчал, стараясь удержать равновесие в движущейся клетке.

Так они доехали до зимнего помещения.

Пингвины сбросили свои плащи с капюшонами и сразу превратились в знакомую старушку и незнакомого мужчину. Они так обрадовались, что им удалось перевезти Носика в зимнее помещение, что принесли ему множество разных носорожьих лакомств. А мальчик стоял рядом, улыбался и прижимал к себе мокрые, грязные галоши.

Когда протираются брюки и рукава курточки без помощи ножниц становятся короткими, когда учебники подходят к концу, а парту, как веснушки, покрывают рябые кляксы, наступает весна.

Весной особенно интересно смотреть в окно, потому что с карнизов домов сбивают сосульки, а на буквах «Т» сидят птицы. Голова сама поворачивается, а шея незаметно вытягивается и становится длинной, как у жирафа, чтобы было видно, что делается на улице.

— Алексей Бочаров!

Шея сразу из жирафьей превратилась в нормальную, а глаза прыгнули с крыши и очутились в классе.

— Алексей Бочаров,— повторила Валентина Васильевна,— ты слышал о том, что возвращаются птицы и что на ветках акации скоро появится нежная зелень?

Никто из ребят не понял, почему Валентина Васильевна рассказывает Алексею Бочарову о прилетающих птицах и о ветках акации. Но для него это был тайный сигнал. По этому сигналу могучий четвероногий друг вошел в класс и очутился рядом. Он пришел, чтобы помочь смотреть на доску, слушать объяснения и не получать замечаний.

Алексею Бочарову даже показалось, что носорог сидит рядом с ним за партой. Он покосился на своего соседа и впервые заметил, что Попотенко чем-то похож на носорога. Только на носу у него не растут рога.

— Легкие предметы,— объясняла Валентина Васильевна,— взвешиваются мелкой мерой веса — граммами. Более тяжелые предметы — килограммами.

Алексей Бочаров подумал о носороге и спросил:

— А чем взвешиваются самые тяжелые предметы?

— Тоннами,— ответила учительница.— Ты же сам мне рассказывал, что твой Носик весит полторы тонны.

— Чей носик? — спросил Попотенко.

— Мой,— буркнул Алексей Бочаров и увидел, как от удивления выкатились и округлились глаза его соседа по парте.

...Только плохие люди морщатся при виде кошки и замахиваются палкой на собаку. А когда у человека сильное и доброе сердце, он будет дружить с собакой, или пустит в банку с водой красных рыбок, или смастерит голубятню. Но редко кто из людей заведет дружбу с носорогом. Потому что его нельзя погладить и почесать за ушком и побегать с ним вперегонки. Даже служащие зоологического сада отзываются о носорогах прохладно.

— Ничем не выдающееся животное. Ходит, ест, пьет!

Что они понимают! Живут около него и не чувствуют, какой он тихий и задумчивый. И если он не может, как слон, обвить тебя хоботом и посадить к себе на спину, то это только потому, что у него нет хобота. Но он помогает решать задачки и учить стихи, он делится с тобой смелостью, и ты перестаешь бояться мальчишек из дома двадцать пять. И вообще ты становишься другим человеком, если идешь за носорогом.

В солнечный майский день Алексей Бочаров очутился перед клеткой носорога. Он стоял, просунув голову между прутьями, а за спиной у него был спрятан светло-зеленый, свежий веник из нежных веток акации.

Он наблюдал за Носиком, который улегся на спину, поднял четыре ноги вверх и грел на солнышке живот.

И вдруг мальчик почувствовал, как кто-то сильно сжал его руку. Он вздрогнул. Рядом стоял человек с красной повязкой на рукаве.

— Ты портишь зеленые насаждения, пойдем в милицию, — сказал дежурный, не отпуская руки мальчика.

— Я не портил зеленых насаждений, я...

— А это что? — дежурный кивнул на зеленый веник.

Услышав громкий разговор, Носик перевернулся на бок, потом встал и подошел к передней решетке. Он, видимо, собрался заступиться за друга, и плохо пришлось бы человеку с красной повязкой на рукаве, если бы железные прутья не сдержали носорога.

— Пойдем в милицию, — повторил дежурный, — там разберутся.

— Я не ломал зеленых насаждений! — отчаянно выкрикнул мальчик и попытался вырвать руку, но она была зажата, как в клешне.

Носорог надавил лбом на прутья, но не смог согнуть их. Мальчик посмотрел зверю в глаза и про себя сказал ему: «Честное слово, я не ломал зеленых насаждений».

Неожиданно знакомый голос тихо, но твердо произнес:

— Отпустите его.

Алексей Бочаров оглянулся и увидел учительницу. Она стояла рядом, и в руке у нее был такой же зеленый веник, как и у него. Дежурный удивленно выкатил глаза.

— Вы сами ло... — Он начал было говорить, но Валентина Васильевна не дала ему закончить.

— Я его учительница, — сказала она, кивая на мальчика, — а ветки мы наломали за городом. И прежде чем обвинять человека, надо разобраться.

Мальчик почувствовал, как клешни, сжимавшие его руку, медленно разжались.

— Кто вас разберет, — пробормотал дежурный и пошел прочь.

Валентина Васильевна улыбнулась Алексею Бочарову, а он удивленно вытянул губы, словно собирался сыграть на дудочке, и тихо сказал:

— Спасибо.

И в эту минуту он подумал: «Как жаль, что с учительницами нельзя дружить. Не станет же учительница заодно с тобой перелезать через забор, когда есть калитка, или менять спичечные коробки на марки... А ученик не может проверять тетрадки, потому что он сам не знает, где верно, а где ошибка, и он не смеет говорить директору: «Анатолий Георгиевич, в данном случае вы не правы». Для ученика директор всегда прав, и не поднимется рука поставить товарищу двойку... Если бы Валентина Васильевна была мальчишкой, как Попотенко... Или хотя бы девочкой...»

— Ну, давай угощать нашего друга, — сказала учительница и кивнула на носорога.

Они подошли к клетке и просунули туда два вкусных, аппетитных веника. Носорог долго смотрел на веники и никак не мог решить, какой есть сначала. И он стал попеременно отщипывать то от одного веника, то от другого, словно не хотел никого обидеть, и все трое — носорог, мальчик и Валентина Васильевна — чувствовали себя друзьями.

Мой знакомый бегемот

Человек устроен так, что летом он мечтает о синих мятных снегах и о ледяных узорах в окне своей комнаты. Зато зимой подай ему палящее солнце, зеленый шелест ветвей, запах черники.

Я шел по глубокому рассыпчатому снегу и думал о лете. Не о скромном русском лете, а о южном — с приторными запахами ярких цветов, с камнями, раскаленными, как печь, с ленивым, обессиленным от жара морем. Мне даже стало жарко от своих мыслей — я растегнул дубленку и сдвинул шапку со лба. Снег превратился в сыпучий кварцевый песок, елки взметнулись кипарисами, а ветви сосен закачались, как зеленые веера пальм.

И тут на белом снегу я увидел розовое облако. Оно двигалось медленно, переваливаясь с боку на бок. Иногда оно останавливалось, поворачивалось ко мне и снова продолжало свой путь. Это был бегемот. Ног не было видно — у бегемота ноги коротышки, они наверняка тонули в снегу, —

и бегемот как бы плыл, касаясь снега своим круглым животом.

Этот бегемот был воображаемый, как сыпучий песок, кипарисы, веера пальм.

Но в последние дни в моей жизни появился вполне реальный бегемот. Я с ним разговаривал и почесывал за ухом. Уши у него маленькие, скрученные фунтиком — два розовых фунтика. Бегемот выступал в цирке. И после выступления я отправился к нему за кулисы. Откровенно говоря, мне захотелось почесать его за ухом. У меня в этом деле есть некоторый опыт. Я, например, чесал за ухом маленького крокодила. У него были зеленые глаза с черными ромбиками-зрачками. Кончик носа загнут кверху, как у стоптанного ботинка. Короткие лапы прижаты к бокам, а по спине от загривка до кончика хвоста — цепочка бугорков. Я чесал крокодила за ухом, а он закрывал глаза от удовольствия и тихо гуркал. Интересно, как отнесется к моей ласке бегемот.

Бегемот был ярко-розовым. Можно было подумать, что он только что вышел из жаркой бани, где его мыли, скоблили, терли мочалками, щетками. Потом поддали сухого пара и стали бить пахучими вениками по крутым бокам. И распаренный, чистый зверь стал розовым как фламинго. Только те места, которые не удалось отмыть, были как бы присыпаны угольной пылью.

Я стоял перед клеткой и рассматривал его вблизи.

Его голова — большая и тяжелая, как колокол. Огромный рот до ушей, а вокруг натыканы рыжие еловые иголки — щетина. Иголки-усы, иголки-борода. Когда же бегемот открыл пасть, я даже попятился — зубастая, необъятная, пышущая жаром, она оглушала ослепительным розовым цветом. Розовый язык, розовая гортань, розовое небо. Не небо, а небо, озаренное зарей. И кажется, из огромного зева вот-вот выкатится солнце. И жаркое дыхание — это приближение солнца...

То ли от мыслей о бегемоте, то ли от ходьбы по глубокому снегу, мне стало еще жарче. Я прокладывал в снегу теплую дорожку, и передо мной возникали глаза бегемота. Они все время смотрели в одну точку и ни на что не обращали внимания. Но в них не было ленивого безразличия увальня. Глаза были на чем-то сосредоточены. Может быть, бегемот вспоминал свой родной край, или думал о подруге, или у него что-то болело...

Каждый раз, когда я приходил в цирк, я чесал бегемота за ухом. У него холодная толстая кожа, но она теплела от моей руки. Бегемот не закрывал глаза и не гуркал. Он смотрел в одну точку.

Я приходил к бегемоту с его другом — дрессировщиком Степаном. И бегемот салютовал ему раскрытой пастью — своей великолепной улыбкой, улыбкой до ушей, улыбкой во все зубы, улыбкой теплой и ослепительной. Степан запускал руку в пасть и начинал почесывать десны своего питомца. У бегемота постоянно растут зубы. Он их ломает, они вырастают снова. И десны всегда чешутся. Как у маленького. Потом Степан принимался за «мешки», в которые, как в ножны, прячутся клыки. В такой «мешок» свободно влезает кулак. Когда будете ласкать бегемота, не забудьте почесать ему «мешки» — это очень приятно животному.

С приходом Степана бегемот стал подвижным. Он ворочался в бассейне, вертел маленьким хвостом, отчего брызги летели во все стороны. И только глаза — загадочные глаза бегемота — оставались неподвижными и даже грустными.

Я шел по зимнему лесу, а розовое облако всюду следовало за мной, создавая путаницу между югом, севером, летом, зимой. И вообще то, что обитатель Центральной Африки живет в России, уже непорядок.

Бегемотов используют у нас для самых обидных сравнений: толстый, как бегемот; неуклюжий, как бегемот; ту-

пой, грубый, толстокожий... А он третий день не ест сено. Ему не по вкусу местное сено. Может быть, недостает клевера, а тимopheевка горчит? Ни лошадь, ни корова не разобрались бы, а этот толстокожий разбирается. И у него грустные глаза.

Я чешу его за ухом, он не улыбается. Боится испугать меня своей необъятной улыбкой. А может быть, я не заслужил его улыбки, слишком большой для скромных заслуг перед ним.

Степан разговаривает с ним и подает команды, и бегемот все понимает, слушается.

— Ложись!

По бассейну проходит волна и с грохотом ударяет о борт. Бегемот погрузил свое округлое тело в воду. Я сразу вспомнил закон Архимеда. Вода дошла до края бассейна. У бегемота хватает мочи справиться с выталкивающей силой. Он вообще необыкновенно сильный.

— С головой! — скомандовал Степан, и бегемота не стало.

Он исчез. Растворился. В бассейне слегка колыхалась вода. Через некоторое время на поверхности появились перископы — глаза. Потом всплыли шарообразные ноздри. И наконец с громким всплеском вынырнула голова.

— Молодец!

Бегемот улыбнулся. Пасть раскрылась. Ноздри раздулись. Уши встали топориком. Только глаза не участвовали в улыбке. Они жили сами по себе.

Я вспомнил, что встречал точно такие глаза. Правда, у человека. Он был добрый и толстый. На его лице был постоянный налет грусти. Грусть стояла в больших выпуклых глазах. У него были маленькие уши и розовые щеки...

Я все-таки разгадал тайну глаз бегемота. Выследил их, подстерг, застал врасплох. Мне помог случай, который для Степана мог кончиться трагически. Шла обыкновенная цирковая репетиция. Удивительно легко балансируя

своим облачно-круглым телом, бегемот шагал по невысоким столбикам, расставленным на манеже. Он шел, не глядя под ноги — бегемоту вообще невозможно смотреть под ноги, — и был занят своими мыслями. Он мог бы ходить с завязанными глазами. На манеже «росли» пальмы с резиновыми ветвями и высилась «скала». Под пальмами расхаживала антилопа.

Антилопа — огромная пегая корова с узкой лошадиной головой. Лошадиная голова с рогами — длинными, острыми, закрученными в штопор. Антилопа расхаживала, а бегемот работал. Потом он отошел в сторону. Выстрелил хлыст — и антилопа побежала по кругу. Она бежала легкими прыжками. Рога опускались и поднимались. Хвост с кисточкой болтался. Степан следил за ее пробежкой и время от времени постреливал хлыстом. А бегемот стоял в сторонке, занятый своими мыслями.

И вдруг антилопа испугалась. Непонятно, чего она испугалась: то ли щелчка хлыста, то ли хлопнувшей двери. Она испугалась так, как могут испугаться только антилопы — иступленно, яростно, отчаянно. Прыжок в сторону, прыжок на Степана. Он оказался в центре страшной рогадины, прижатый к бутафорской скале большим каменным лбом. Нападение испуганной антилопы было таким неожиданным и стремительным, что никто не мог сообразить, что произошло. Степан тоже молчал. Потом выяснилось, что он не мог крикнуть, не мог вздохнуть — его грудь была сдавлена головой антилопы. Дикому животному оставалось сделать еще один маленький рывок — и жизнь дрессировщика оборвалась бы...

И в это мгновение рядом оказался бегемот. Он не опоздал, этот неторопливый зверь с грустным мечтательным взглядом. Он почувствовал опасность, грозящую его другу, быстрее всех. словно ждал этого критического момента, был предупрежден о нем. Бегемот слегка тряхнул головой — и антилопа весом в восемьсот килограммов была

отброшена в пятый ряд партера. Бегемот вернулся на свое место и снова устался в одну точку.

Мне открылась тайна его глаз. Он всегда был сосредоточен на том, чтобы не пропустить опасность, вовремя поспеть на помощь другу. Он всегда думал об этом. Это была его главная мысль, пробужденная в нем любовью к человеку.

Не знаю, отчего порозовел снег: от заходящего солнца или от улыбки бегемота, который сопровождал меня в мыслях. Я шел по теплой дорожке, проложенной в снегу. Облака тоже порозовели. Их было целое стадо — медленных, круглобоких облаков. Я помахал им шапкой.



СЕМЕН- ПОЛОСАТЫЙ

Придите спросите: кто за собак? И сразу поднимется лес рук. А за кошек всего две-три руки. Может, пять. Кто любит кошек? Девчонки да старики-пенсионеры. Кроме тех, которые вообще никого не любят. Что может кошка? Ловить мышей. Только мыши перевелись, не заводятся в наших домах. Лежебоки они, эти кошки. Бродяги чердачные. Разорительницы птичьих гнезд. Что бы еще вспомнить о них? Царапины на руках и мерзкий запах на лестнице...

Давайте, давайте, вспоминайте! А Ленка будет вспоминать свое. Она будет вспоминать тундру, плоскую, бескрайнюю. Чахлые деревья. Мох ягель, ягоду морошку. Угрожающе звенящие облака комаров. Солнце — светлое, расплывчатое, словно налитое на блюдечко. Странное солнце, непохожее на московское или воронежское. Не заходит все лето. Сползает по небу к земле и вдруг останавливается, замирает и начинает подниматься, а потом снова скатывается.

Эту тундру зовут «большеземельской». А где «малоземельская», Ленка не знает.

Идешь по тундре — и шаги пружинят от ягеля, и карликовые березки задевают за коленки, даже если ты маленького роста. И еще в тундре буровые вышки. Издалека вышка похожа на ракету, застывшую на старте. И Ленке всегда казалось, что вот-вот сверкнет пламя, раздастся грохот — и вышка-ракета устремится в небо. И опустится где-то на Луне. И вместе с буровой полетит и опустится на Луну кот — Семен-полосатый. Потому что без него здесь, в тундре, не проходит ни одно событие. Даже полет на Луну.

Говорят, природа напутала: Семен-полосатый должен был бы родиться собакой. Он бы мог быть и полярным волком, и лисой, и тигром. Какое это имеет значение! Для Ленки он был тем, чем надо, — настоящим другом.

Ленка вспоминает Семена-полосатого, и ее сердце сжимается от смутной боли. Сколько Ленка будет жить, никогда не простит себе, что оставила его в тундре, в домевагончике.

Возле этого дома нет ни сада, ни грядки, ни заборчика с калиткой, ни сараюшки со всяким барахлом. Он, как избушка на курьих ножках, без фундамента. Вместо фундамента — сани-волокуши. Куда переезжает буровая Антонова, туда и катит домик на собственных санях. Трактор подцепит два-три таких домика — и поехала деревня. Только стаканы позвякивают в буфете и лампа раскачивается, как маятник, и не горит, потому что, когда дом движется, силовая сеть отключена. Света временно нет.

В этом доме и остался Семен-полосатый. Сидит на ступеньке и смотрит в небо, ждет вертолета, который привезет Ленку обратно. Не верит, что Ленка уехала насовсем, в город, в интернат. Он даже не знает, что существуют города. Думает, что весь мир — это тундра с буровыми.

Буровая Никифорова, буровая Еремяна, буровая Самсонова. Когда Ленка была совсем маленькой, она сама так думала.

Ленка вспоминает о своем друге не только когда спрашивают «кто за собак?», а самым неожиданным образом. Когда, например, учительница рассказывает про какого-нибудь великого человека — «он родился и вырос», Ленка тут же повторяет про себя: «Семен-полосатый родился и вырос в тундре...» И дальше она уже не слушает учительницу, а вспоминает...

Семен-полосатый не был похож на обычных котов, хотя сам он был что ни на есть беспородный: ни сибирский, ни ангорский, ни сиамский. Русский кот. У него были впалые бока, на которых чернели, словно нарисованные углем, полосы. Как у тигра. Только шкура у тигра цвета апельсиновой корки, а у Ленкиного кота шкура серая, золистая, пасмурная. И не хватает у кота одного уха. И выходит — он инвалид одноухий. У Семена-полосатого зеленые крыжовниковые глаза с черной сердцевинкой. Когда глаза разгораются, черная сердцевинка сразу вырастает, и зеленого цвета становится совсем мало. И тут в кошачьих глазах появляется такое свирепое озорство и такая жажда приключений, что, глядя на него, начинаешь чувствовать, как весь этот сумбур передается, тебя подмывает выкинуть какое-нибудь коленце. Например, сгонять к озеру и побегать по мелководью, чтобы ноги горели, как обожженные.

Озеро возле буровой большое, но мелкое. За это его прозвали лужей. Но однажды на озеро опустились лебеди. Ленка хорошо помнит этот день. Солнце стояло над горизонтом и почему-то было не бесцветным, а малиновым. В лучах солнца лебеди тоже стали малиновыми. Они плыли медленно и величественно. За каждой птицей на воде появлялись морщинки в виде клиньев, и Ленке захотелось броситься в воду и поплыть рядом с лебедями, чтобы рассмотреть их

вблизи. И вдруг один лебедь вскрикнул, забился, стал плаваться ввысь, но какая-то невидимая сила удерживала его, как якорь. Вся стая поднялась, стала кружить над попавшим в беду товарищем. А он, собрав все силы, рванулся, и тут Ленка и Семен-полосатый увидели мерзкую щучью голову. Рыбина откусила лебедю лапу и как бревно плюхнулась в воду. И оттого, что эта зубастая совершила такую низость, озеро сразу превратилось в лужу. И солнце стало бесцветным. А раненый лебедь долго кричал, улетаая со своими товарищами.

Ленка заплакала. Кот заскулил. В отличие от других представителей кошачьего рода, он не умел ни мяукать, ни мурлыкать. Голос у него — северного жителя — был простуженный и сиплый. Ленка и кот переглянулись и молча решили отомстить щуке, которая была единственной хозяйкой озера, жила здесь много лет, и на буровой ее звали Старая Карга.

Давайте, давайте, поднимайте руки за собак! Собак все хорошие люди понимают и любят. Собак любить не мудрено. Попробуйте поднять руку за кота! За Кота Котовича, за Семен Петровича... Но для этого надо знать хорошо Семена-полосатого. И не просто знать, но и пожить с ним рядом под крышей маленького домика на саях-волокушах в огромной большеземельской тундре, где над головой денно и ночно неровное бесцветное солнце, которое порой скрывается за комарами, как за тучей. За звонкой тучей, которая жалит всех и вся.

У Ленки и Семена-полосатого было два общих врага: щука Старая Карга и дизелист с буровой Самсонова — Кокоба. И друзья одолели обоих врагов. Одолели в бою, где нужна была не столько богатырская сила — откуда у Ленки и кота быть богатырской силе! — сколько смелость и сноровка. И горячее желание победить.

Ленка раздобыла нечто вроде остроги, и они ежедневно отправлялись с Семеном-полосатым на озеро, чтобы дать

бой щуке. Ленка далеко заходила в воду и все присматривалась, присматривалась. Кот, осмелев, шел за ней с тайной надеждой запустить свои когти, похожие на рыболовные крючки, в спину Старой Карги. Ведь все коты в душе рыболовы.

Однажды Ленка вздрогнула от рева кота. Да, да, это было не мяуканье, не стон, а настоящий рев. Ленка кинулась к другу — и тут мимо нее прошмыгнула узкая остроносая щука. Когда же девочка очутилась рядом с другом, то увидела, что у Семена-полосатого не хватает одного уха. Острые щучьи зубы отхватили его.

Вы думаете друзья бросили свою затею? Ничуть! Они стали только более осторожными. Потому что щука, проглотив ухо, наверняка дала себе слово проглотить всего кота. Кот понимал это, и уже близко к воде не подходил. Следил за ней с берега. Однажды он заметил, что Старая Карга заплывла в маленькую заводь, соединенную с озером узкой протокой. Кот подал сигнал Ленке.

Эх, щука, щука! Что же ты, Старая Карга, совершила такую оплошность! Не шла на приманку, не подставляла спину под острогу, а тут сама заплывла в ловушку. Ленка принялась сооружать плотину. Она таскала тяжеленные комки и коряги, а Семен-полосатый бегал по берегу и мысленно потирал лапки. Когда щука решила вернуться в озеро, на ее пути оказалась стена. Она заметалась, как подводная лодка, запертая в узком фиорде противолодочными минами. Погружалась на дно. Всплывала.

Она заплатила жизнью за оторванную лапу малинового лебедя и за откушенное ухо полосатого кота.

Но у друзей оставался еще один враг. Поопасней Старой Карги. Дизелист Кокоба.

Он приезжал на буровую на тархтящем мотоцикле, который прыгал по кочкам, как Конек-горбунок. Кокоба был маленьким, чернявым, большеруким, с множеством поперечных морщин на лбу. От него пахло железом, дизель-

ным маслом и куревом. Он ставил свой мотоцикл за Ленкиным домиком, одергивал кургузый пиджачок с короткими рукавами и стучал в дверь. Он приезжал к Ленкиной матери. Но гостем был нежеланным. И после его приезда Ленкина мать несколько дней ходила хмурая, неуравновешенная и блюдца «сами вываливались у нее из рук».

Ленка и Семен-полосатый не любили его за железный запах, за нечеловечески большие руки, за голос, за кургузый пиджачок — за все! Несколько раз Ленка подслушивала разговор, который происходил между ее матерью и Кокобой. Разговор был одним и тем же:

— Давай жить вместе, — говорил Кокоба и тянул книзу свои рукава, словно хотел сделать их длиннее.

— Не хочу! — коротко отвечала Ленкина мать.

— Тебе нелегко одной. В тундре, с дочерью на руках.

— Не твоя забота!

— Не могу я без тебя, Алевтина!

— А я тебя не люблю!

Вот и весь сказ. Но Кокоба не соглашался с этим сказом. Он долго канючил, обещал, уговаривал. Его глуховатый голос звучал монотонно и скучно. Кончалось дело тем, что мать выгоняла его.

— Все равно ты будешь моей, — говорил Кокоба, сжимая руки в кулаки, и уходил.

По пути он враждебно смотрел на Ленку, а Семену-полосатому норовил дать пинка. Словно оба они были виновниками его неудач. Затем вскакивал на своего конька-горбунка и мчался прочь. Семен-полосатый выгибал спину верблюдом и шипел ему вслед. А Ленка показывала незваному гостю язык.

Что они могли еще сделать?

Ленкина мать Алевтина работала в бригаде Антонова коллектором. Она собирала керны — пробы грунта. Женщиной она была молчаливой и необщительной. Здравствуй-те — до свидания. Сперва в бригаде посмеивались над ней.

Потом махнули рукой. Раз уж такая молчаливица, пусть молчит на здоровье.

Ленка часто вспоминает свой тундровский дом на саночках. Он мал, и вся его утварь состояла из двух коек, стола, табуреток и буфета. Буфет был ненастоящий — его сколотили из досок от ящиков с оборудованием, и висел буфет на стене.

Еще Ленка вспоминает императора Наполеона. Его фото висело над мамкиной кроватью. Император — французский царь — был в старинной шляпе, похожей на треугольник, и в длинном пиджаке. Ни у кого в бригаде Антонова не было таких длинных пиджаков и такой шляпы. Иногда мамка вдруг начинала рассказывать Ленке про Наполеона. Он служил матросом на траулере, ходил в Атлантику за сельдью. Однажды траулер не вернулся. Потонул вместе с Наполеоном. И вообще-то, его звали Костей и ходил он в обыкновенном пиджаке и кепочке, а Наполеона изображал в клубе в спектакле. И был он Ленкиным отцом.

Ленка редко думает об отце и представляет его в шляпетеугольнике, в длинном пиджаке. Как-то в интернете ее спросили:

— Кто твой отец?

— Наполеон, — ответила девочка, — но звали его Костей...

Больше всего Семен-полосатый любил сгущенку. Любил ее больше свежей рыбы и больше жесткой пахучей колбасы, которую иногда привозили на буровую... Была у кота сладкая мечта: хоть раз в жизни съесть целую банку сгущенки. И надо же было так случиться, что его мечта сбылась. Совершенно неожиданно, как и полагается сбываться мечтам.

Шел обычный рабочий день. В стороне от буровой тархтел движок. Мерно работал бурильный станок. Лился густой, похожий на кофе с молоком глиняный раствор.

Вращалась колонна труб. Бурильщики же сидели в стороне — мастер Антонов трубным голосом читал им газету. А Семен-полосатый лежал на своем излюбленном месте — на теплом кожухе мотора. Иногда он приоткрывал один глаз. И снова закрывал его, как бы гасил зеленую лампочку. И вдруг случилось нечто такое, отчего Семен-полосатый вскочил со своего места и заорал так, словно Старая Карга откусила ему второе ухо. Перед носом кота, в жидком глиняном растворе, возник большой пузырь, похожий на мыльный, какие пускают дети. Кот не видел пузыря. Но когда пузырь громко лопнул и в нос ударил едкий запах газа, кот вскочил и заорал. Не от страха заорал, а от неожиданности.

Антонов прервал чтение газеты и посмотрел в сторону буровой.

— Что это Семен орет благим матом? Ну-ка, Саня, сбегай, посмотри!

Саня легко вскочил на ноги и побежал к буровой. А через мгновение сам закричал погромче кота:

— Ребята, газ! Ура! Останавливай машину!

Все кинулись к буровой. Остановили станок. Все запрыгали от радости, любясь, как надувались и лопались газовые пузыри. И все кричали:

— Газ! Газ! Газ!

— А ведь если бы не Семен-полосатый, мы бы прозевали газ, — сказал седой дизелист Письменный. — Прошли бы газовый горизонт. И точка.

Все с уважением посмотрели на Семена-полосатого. А тот как ни в чем не бывало сидел на кожухе и мылся лапой.

— Зачислить Семена-полосатого в бригаду! — радостно пошутил Саня и погладил кота по спине. — Мужик он стоящий.

— Послушай, Алевтина, — обратился Антонов к Ленкиной матери, — что твой кот любит больше всего?

— Что он любит? Сгущенку, известное дело.

— Выдать ему банку сгущенки! — распорядился бригадир. — Премировать кота за службу!

А вы небось думаете, что только собак награждают за службу, за помощь, за отвагу. Думаете! И поэтому не хотите за котов поднять руку.

Когда лето кончилось, кончился и день. Солнце провалилось в яму — наверное, есть где-то в тундре такая яма, — и наступила долгая зимняя ночь. А может быть, солнце никуда не проваливалось, а над тундрой поднялся темный купол, и солнце осталось там, снаружи. Этот купол старый, весь в крохотных дырочках. И сквозь них проникают капельки высокого солнца.

Так думала Ленка, разглядывая маленькие колючие звезды. А когда неожиданно вспыхивало северное сияние, Ленке казалось, что солнце пошло на штурм черного купола и прорвавшиеся лучи зажглись в небе цветастой бахромой.

Ленка спала на своей узенькой скрипучей коечке. А Семен-полосатый спал у нее в ногах, на одеяле.

— Не пускай кота на одеяло, — говорила мать Ленке.

— Ладно, — отозвалась та.

А кот в это время сидел под кроватью и ждал, когда погаснет свет. Тогда он тихо прыгал на кровать и замирал. Ленка сквозь одеяло легонько пихала кота ногой — мол, все в порядке. И они засыпали.

Ленка и ее кот никогда не болели, никогда не скучали. Что ела Ленка, доставалось и коту. Даже к соленым огурцам пристрастился.

Всходила луна, и зимний день становился светлым. Луна была ровной, словно обведенной циркулем. Она сверкала, словно на ней выпал снег и лучи солнца отражались не от безжизненных лунных камней, а от свежего снега. Вот в такой день к Ленкиному домику тихо подкатила собачья упряжка. Собаки улеглись на снег отдохнуть. От них шел пар. С нарт поднялся человек, одетый в долгопо-

лый совик из оленьего меха. Он кинул собакам вяленой рыбы, чтобы они не брехали, и стал чего-то выжидать.

Когда Ленкина мать вышла из дома, человек в совике преградил ей дорогу и сказал:

— Алевтина, я за тобой.

— Никуда я не поеду с тобой, Кокоба, — ответила Ленкина мать.

Но Кокоба стоял на ее пути.

— Нет, поедешь, — твердо сказал он и шагнул к Ленкиной матери.

— Пусти! — она оттолкнула Кокобу двумя руками.

Но тут из рукавов совика высунулись две длинных лопастых руки и схватили Ленкину мать. Она только успела крикнуть:

— Ленка! Кокоба!

А он уже нес ее к своей собачьей упряжке. Она билась в его руках, как огромная пойманная рыба. Но дизелист из бригады Самсонова был сильным и упрямым.

— Лен-ка! Ко...

Он закрыл ей рот. Положил ее на нарты и стал привязывать веревкой.

Ленка услышала зов матери. Выбежала на улицу. Семен-полосатый за ней. Ветер распахнул незастегнутую кухлянку, пимы жалобно закричали по мерзлому снегу. Кот первым добежал до угла дома и, выгнув спину верблюдом, зашипел, Ленка кинулась за котом и увидела собак. И увидела Кокобу, который что-то привязывал к нартам.

— Пусти, подлец!

Ленка узнала голос матери. Ей хотелось закричать, но она поняла, что крик не долетит до буровой. Тогда она отчаянно кинулась на врага и изо всех сил стала колотить его своими маленькими кулачками по спине. Но оленьи шкуры защищали похитителя от ударов. Он оттолкнул Ленку, и девочка упала на снег. Кот заревел. Собаки заволновались.

— Пусти мамку! — крикнула Ленка, но ее крик маленьким мячом улетел в бескрайнюю тундру и пропал.

И тут Ленка посмотрела на Семена-полосатого, а Семен-полосатый посмотрел на Ленку. И они поняли друг друга. Девочка схватила кота в охапку, обежала вокруг нарт и бросила его на снег перед носом у собаки. Собаки вскочили как ужаленные. Кот сделал прыжок. Вожак рванулся за котом. Кот сверкнул зелеными глазами и побежал. И вся упряжка помчалась за ним. Напрасно Кокоба размахивал хореом, бежал сзади, кричал дурным голосом. Собаки унесли Ленкину мать от ненавистного Кокобы. А Ленка стояла на месте, и слезинки замерзали у нее на щеках.

Будь Семен-полосатый трусом, он бы забился под дом и ни одна собака не достала бы его. Будь он глупым, побежал бы в тундру и там в конце концов попался бы на собачьи клыки. Но он был умным и смелым. Он побежал к буровой, которая, как ракета перед полетом, серебрилась впереди в лунном сиянии. Он слышал, как за его спиной угрожающе лаяли ездовые псы. Чувствовал спиной их жаркое дыхание. Но не поддавался страху. Как настоящий боец. Он делал свое опасное дело точно и самоотверженно.

Так Семен-полосатый добежал до вышки, вскочил на станок и повернулся лицом к своим врагам. Он выгнул спину, но не зашипел, а издал какой-то отчаянный жалобный крик и прижался к теплomu, родному кожуху мотора.

Собаки остановились, яростно залаяли. А кот в своем убежище молча ворочал глазищами.

— Эй, ребята, откуда это Семен привел пустую упряжку? — закричал Сашок, в ватнике и шапке-ушанке, завязанной под подбородком.

— Там кто-то есть, — отозвался другой рабочий.

— Да это ж наша Алевтина. Привязана!

Бригада окружила нарты.

— Кто это тебя? — спросил Антонов, разрезая веревки большим ножом.

Ленкина мать молчала. Она все еще не могла прийти в себя. Ее подняли, поставили на ноги. Собак отвели в сторону.

— Но, но, Алевтина, все же в порядке. Держись. Ты же со своими, — утешал ее мастер.

— Со своими, — пролепетала Ленкина мать и вдруг прижалась к плечу Антонова и заплакала.

А тот похлопывал ее по спине и говорил:

— Ладно, ладно тебе. А не работа ли это Кокобы?

— Кокоба, — прошептала женщина, — он хотел меня увести... окаянный.

Антонов грозно откашлялся и крикнул:

— Найти Кокобу и сюда его!

Через пять минут привели разбойника. Двое здоровых ребят держали его за руки. Шапки на нем не было — потерялась в борьбе. Не хотел Кокоба идти на суд в бригаду Антонова.

— Ну вот что, пират недостойный, — сказал Антонов, откашливаясь, и положил свою тяжеленную руку на плечо похитителя, — был бы ты из другой бригады, мы бы посчитали твои косточки. Но на твоё счастье, мы соревнуемся с Самсоновым. Будем подводить итоги, тебя приплюсуем... к недостаткам вашей бригады. А теперь катись ко всем чертям! Еще раз увидим в нашей деревне, пеняй на себя.

Кокоба ничего не сказал. Тяжело опустил на нарты. Прикрикнул на собак и умчался восвояси.

В этот день Семен-полосатый получил вторую банку сгущенки. Но съел только полбанки: так устал от всего пережитого, что не смог доесть лакомство, и — была не была! — забрался к Ленке на коечку и уснул. Так Ленка и Семен-полосатый победили двух своих врагов.

Голосуйте за собак. Поднимайте руки. И я тоже подниму руку. Но у меня есть еще вторая рука, и никто не запретит мне поднять ее за кота — за Кота Котовича, за Семена Петровича и за весь его славный и удивительный род.

Продается старая лошадь

В дачном поселке все фонарные столбы обклеены объявлениями. Даже когда наступает зима и жизнь здесь замирает, маленькие поблекшие листочки продолжают сообщать, что «сдаются две комнаты с террасой», «продается детская коляска», «требуется няня», «имеются клубничные усы «Наполеон» и «учительница-пенсионерка дает уроки английского языка». Эти объявления, сделавшие свое дело, никто не читает, и они напоминают прошлогоднюю газету, в которой все новости давно устарели.

По узкой дорожке, протоптанной в глубоком снегу, шел мальчик в валенках с подшитыми кожей задниками и в меховой шапке, которая налезала на переносицу и грозила закрыть глаза. Мальчик возвращался из булочной и в согнутой руке нес два кирпичика хлеба. Хлеб был теплый, и мальчик грел об него маленький широкий нос и подбородок со впадиной.

Светило солнце, красное от мороза. Со стороны леса тянул леденящий сквознячок. Покрытые густым инеем провода свисали белыми шершавыми канатами. Под ногами мальчика весело похрустывал снег. А теплый хлеб как бы попал к нему прямо из жаркого лета.

Вдруг мальчик услышал слабый шорох. Он остановился, прислушался, огляделся и увидел, что на столбе отклеился верхний уголок бумажки и шуршит, как бы призывая прохожих прочитать, что написано. Мальчик хотел было идти дальше, но бумажка слала ему свой настойчивый сигнал. Он сошел с тропки и, сделав несколько шагов по глубокому снегу, подошел к фонарному столбу. На объявлении с оторванным уголком было написано: «Продается старая лошадь. Красносадская, 113». Слова были выведены неровными печатными буквами. Так пишут дети, которые учатся писать, или старики, у которых не гнутся пальцы. Чернила утратили яркий цвет, и буквы были бурыми, словно заржавели от долгих осенних дождей.

«Лошадь продается!» — усмехнулся мальчик и уткнулся носом в теплый кирпичик. Ему никогда не приходило в голову, что лошади продаются. Никто из его знакомых никогда не продавал и не покупал лошадей. «Интересно, сколько стоит лошадь? Собака стоит пять рублей, — рассуждал он, — а лошадь в сто раз больше собаки. Дорого! — вздохнул мальчик и тут же подумал: — Может быть, старая лошадь стоит недорого? Все старое дешевле».

Мальчик потоптался у столба, поразмышлял и, поскольку покупка лошади не входила в его планы, зашагал дальше.

Солнце поднималось выше, разгоралось, и тени на снегу стали синими. Мальчик шел домой, грыз вкусную душистую горбушку и следил за своей синей тенью, бесшумно скользящей по колючему кристаллическому снегу. Мысль о лошади осталась сзади, у столба с шуршащим листком.

Но неожиданно мальчик подумал: «Хорошо бы купить лошадь. Лошадь даже лучше велосипеда. А что делать с лошадей? Гулять. Скакать верхом. Если на белой в яблоках лошадь прокатиться по поселку, все ребята умрут от зависти!»

Он зажмурил глаза, чтобы явственно представить себя в седле, пахнущем кожей, но вместо гордого скакуна в яблоках увидел гнедую рабочую лошадь с тяжелыми ногами, с челкой, налезавшей на глаза, с большими усталыми глазами. Это была единственная лошадь, которую он знал, — встретил ее, когда ездил к бабушке в Рязанскую область, в деревню Шемордино. Лошадь звали Стрелкой. Вероятно, когда ей давали имя, думали, что она будет мчаться, легко нести на себе всадника. Но судьба лошади сложилась иначе: всю жизнь она работала в поле, на огородах, ходила в упряжке — тянула то телегу, то сани.

Когда Стрелку привели из колхоза к бабушке на огород, мальчик заметил, что глаза у нее пустые — будто она не высыпалась со вчерашнего дня. Покачивая тяжелой головой, лошадь медленно тянула плуг, а мальчик прыгал рядом по рыхлой земле и с интересом наблюдал за ее работой. Лемех плуга холодно поблескивал, земля поднималась волной и отваливалась в сторону. Потом все отдыхали, а бабушка дала мальчику ломоть черного хлеба, густо посыпанного солью, и велела дать Стрелке. Он с опаской протянул лошади хлеб, думал — укусит. Но лошадь большой мягкой губой осторожно взяла угощение. И было даже приятно почувствовать на ладони теплое дыхание лошади.

А бабушка стояла рядом со Стрелкой и выговаривала парню, который привел лошадь:

— Что это у тебя лошадь худая, некормленная, нечищенная? Небось на базар ездите, ведро забываете привязать к телеге, не попоите вовремя лошадь. А зимой стоит она у вас на морозе без попоны, вся белая от инея. Не жалеете вы, молодежь, лошадей...

«А если накопить много-много денег и купить лошадь!» — неожиданно подумал мальчик и сам же себе возразил: «А куда я ее дену?» — «Можно выкинуть из сарая весь хлам и поставить туда лошадь...» — «А чем кормить?...» — «Наготовить летом сена...» — «Не позволят родители держать лошадь, ни в жисть не позволят...» — «А если держать ее тайно? Вырыть в лесу большую землянку, а вход завалить лапником? И каждый день приходить к ней».

Он так увлекся своими мыслями, что прошел мимо дома. А синяя тень то забегала вперед, то отставала.

Что же за лошадь продается на Красносадской, 113? Может быть, она когда-то была на войне, а может быть, работала в цирке и ушла со своим наездником на пенсию, как Стрелка из бабушкиной деревни Шемордино? Мальчику показалось, что он слышит шорох отклеившегося уголка бумаги, на которой написано: «Продается старая лошадь». И перед его глазами возникли тусклые ржавые буквы цвета крови, засохшей на бинте. Он подумал: вдруг старая лошадь стоит на холоде без попоны и от инея из гнедой превратилась в белую, в седую. Она никому не нужна, раз продается, и ее не накормили, а у него в руке два кирпича хлеба. Правда, нет соли, но ведь хлеб можно съесть и без соли.

И вдруг мальчик побежал. Это получилось само собой. Он почувствовал, что надо спешить, что если он опоздает, со старой лошадей что-то случится. Он уже не думал, где раздобыть денег на покупку лошади, куда поместить ее, что скажут родители. Он спешил, чтобы спасти старую лошадь, которая продается, а значит, никому не нужна и находится в беде.

Он бежал вдоль заборов, заваленных снегом, мимо спящих дач с закрытыми ставнями, мимо водоразборных колонок с ледяными бородами. Плакучие березки задевали его шапку серебристыми ветвями. А синяя тень где-то отстала,

потерялась. Тяжелое дыхание заглушило хруст снега.

Наконец он добежал до дома, похожего на барак. На стене висела табличка: «113». Дом казался нежилым и заброшенным, и только слабый дымок над закоптелой трубой выдавал признаки жизни. Где лошадь?! Он обежал дом вокруг. Лошади не было видно. И не было рядом никакой сараюшки, где могла бы приютиться лошадь. Мальчик взбежал по скрипучим ступенькам на крыльцо, долго стучал, пока дверь не открылась и на пороге не появился окутанный паром старик в засаленной телогрейке.

— Где лошадь?

Старик выкатил на мальчика глаза с водянистыми прожилками, смахнул со щеки перышко от подушки и сказал:

— Нет лошади.

— Купили? — спросил мальчик и почувствовал, что опоздал.

— Пала,— сказал старик,— еще в конце октября пала.

— Как же так...— пробормотал мальчик,— как же так... пала?

Старик с любопытством посмотрел на него. Кашлянул. Почесал пятерней грудь.

— Все там будем,— безразлично сказал он и медленно закрыл дверь.

— Пала...— прошептал мальчик, глядя на закрытую дверь, и сердце его сжалось, словно он был виновен, не успев вовремя прийти на помощь. И она пала.

Обратно он шел по бесконечно долгой Красносадской улице. У него замерзли и нос и подбородок. И он уже не мог согреть их о хлеб, потому что хлеб остыл, погас. Но мальчик крепко прижимал к пальто холодные кирпичики и горячо дышал на них, словно отдавал долг: сперва они согревали его, теперь он согревал хлеб своим дыханием.

Вам когда-нибудь случалось скучать по собаке? По милому четвероногому существу, которое осталось далеко дома? Это чувство — горькое, но удивительно светлое — подстерегает меня в чужом городе, в неуютном гостиничном номере, когда я остаюсь один. Мне вдруг начинает не хватать холодного носа, который тычется в руку, длинного розового языка, который норовит лизнуть меня в щеку, преданных глаз, частого дыхания, запаха чистой собачьей шерсти.

Мне хотелось открыть окно и громко позвать:

— Доня! Донюша...

Я знаю, если бы мой зов долетел до собаки, она примчалась бы не раздумывая. По сугробам, по шпалам, вплавь, как угодно. Без отдыха, без сна, без вкусной похлебки.

Я звоню домой. В Москву, на Пушкинскую улицу. Едва успеваю поздороваться и сразу спрашиваю:

— Как Доня?

- Ничего.
- Скучает?
- Спит на твоём диване.
- Передай ей привет.

На том конце провода не смеются. Там все понимают и говорят:

- Хорошо. Передам. Когда ты приедешь?

Когда я приеду! Закончу дела и тут же — на вокзал. Если я скучаю по своей собаке, значит, мне не хватает целого мира — близких, рабочего стола, звонка над дверью, всего, что меня окружает дома.

Междугородный разговор кончился. Я кладу трубку и снова поднимаю ее. Я набираю номер своего здешнего друга.

- Слушай, своди меня в гости.
- Приходи ко мне.
- Да нет, своди меня в гости к собаке.

На другом конце провода покашливание.

- То есть как к собаке?
- Есть у тебя знакомые с собакой?
- Надо подумать.

Я кручу телефонный шнур.

— Может быть, кто-нибудь держит. Хотя бы дворняжку.

Друг дышит в трубку. Думает. И вдруг он восклицает:

- Слушай!

Вероятно, он вспомнил про какую-то добрую душу, которая держит собаку.

- Ну?!

— В нашем цирке сейчас работает Наташа Дурова. Знаешь ее?

- Знаю.

Перед глазами возникает моя старая знакомая: щеголе-

ватая молодая женщина, рано поседевшая, с тонким покатым носом, с серыми глазами, расположенными близко к переносице. Энергичная, самостоятельная, вечно чем-то озабоченная...

Мой друг с подъемом кричит в трубку:

- У нее морские львы, моржи, еноты, индюки...
- Стой! Не нужны мне индюки. Мне нужна собака.

Есть у нее собака?

Молчание. Потом мой друг нерешительно говорит:

- Наверное, есть... У нее все есть. Поезжай.
- Ладно, пусть морские львы. Поеду.

Я быстро собираюсь и еду, в надежде уехать от самого себя. Хотя бы к моржам.

И вот я попадаю в цирк. Не в праздничный бархатный амфитеатр, заполненный публикой, а за кулисы. Иду по незнакомым каменным лабиринтам. Здесь полутемно. Холодно. Несет звериным духом. Здесь в неприглядных серых помещениях трудом и потом создаются удивительные живые картины, которые в свете прожекторов сменяют одна другую в круглой раме манежного барьера.

Я нахожу конюшни. Это одно только название — конюшни. Здесь не слышно ржания лошадей, а режут львы, медведи, кричат птицы. Совсем как в джунглях. И в самом деле я иду не просто по коридору, а по тропе, по которой ходят львы и тигры. На манеж, как на водопой.

И вдруг с тигриной тропы доносится Наташин голос:

— Простой рыбий жир не годится. Для Васи нужен витаминизированный. Вы понимаете?

Нет, второй — мужской — голос не понимает:

— Не все ли равно какой рыбий жир.
— Ваш не годится, он с осадком. А Вася маленькая, ей одиннадцать месяцев. И потом, она морж.

Морж — она, а зовут ее — Вася. Я пропускаю мимо ушей это несоответствие. Когда моя собака была малень-

кой, ей тоже давали витаминизированный. Мне сразу становится любопытно посмотреть на Васю, которой, как и моей Доне, не годится простой рыбий жир, с осадком. Я прибавляю шаг.

— Ладно, — примирительно говорит Наташа, — куплю на свои деньги.

И тут я подхожу и здороваюсь. И сразу меня окружает особое гостеприимство, которое оказывают питомцы внучки дедушки Дурова.

— Вася! Васенька!

Передо мной огромное, беззащитное в своей неподвижности существо. Розовато-коричневая шкура с перламутровым отливом. Ласты плоские, словно вылепленные из теста, а потом раскатанные катком. В светлой оправе темные круглые глаза. А вокруг рта усы, висят как макаронины. Это Вася, Василиса. Малютка весом в семьсот килограммов. Она вылезает из «моря» на «берег», и каждое движение стоит ей огромных усилий. Вася вздыхает. Она таращит свои добрые глазки и вздыхает. Что с тобой? Может быть, у тебя что-нибудь болит, а может быть, прорезаются зубки?

Из-под усов видны небольшие клыки. Пройдет время, и они станут бивнями. Бивни похожи на соху. Ими моржи перепахивают дно моря, извлекают раковины, а потом несут их на усах к берегу. И раскалывают клыками, как грецкие орехи.

Вася разглядывает меня, а я — Васю. И мне кажется, что она страдает оттого, что не может говорить. Я всегда подмечал это чувство в собаках. Но собаку, которая днем и ночью рядом с тобой, легче понять. А как узнать, что за тонкие переживания скрыты под толстой кожей этой морской царевны?

Из-за плеча на моржиху смотрит Наташа:

— Что тебе, доченька?

Доченька вздыхает. Как человек — только сильнее и

глубже. Потом переворачивается на спину, ловко подхватывает ластом мячик и начинает перекатывать его по животу. И я угадываю в этом странном существе что-то наивно детское, что звери хранят дольше и бережнее, чем люди. Капля за каплей я вбираю в себя это доброе детское начало, и мне становится легче.

...А потом я подхожу к морскому льву. Он черный и гладкий, как бритый черт. Движения плавные, волнообразные. Ни одного острого угла. Кажется, что Лель не движется, а ласкается. Он топорщит белые капроновые усы и лает.

— Не скрипи! — командует Наташа. — Разговаривай мягче. А теперь накажи себя.

Лель все понимает. Он начинает легонько — хитрец! — похлопывать себя ластом по мягкому месту. Впрочем, у него все места мягкие. Черные глазки. Крохотные уши. И весь он такой самостоятельный, умный, понимающий.

— Я думала, что он не выживет, — словно сама себе, говорит Наташа. — У него был авитаминоз. Все тело в нарывах. Совсем угасал. Он жил тогда у меня дома, в ванной. А я бегала по рынкам, доставала ему свежую рыбу.

За спиной раздается тяжелый вздох. Это вздыхает Вася. Ревнует к Лелю. И косит в нашу сторону шарообразным глазом.

— Пойдем?

И вдруг я ловлю себя на том, что мне не хочется уходить от этих ласковых питомцев моря. Какое-то чувство проклюнулось во мне и уже дало робкий всход.

— Можно дать им сахара?

— Нет, дай лучше рыбы.

Рыбы у меня нет. Но Наташа сует мне в руку серебряные слитки салаки. Я беру их и кормлю Леля, а потом Васю. Запах рыбы приближает море. Наташа улыбается. В волосах у нее застряла рыбья чешуйка.

Надо уходить, пока не привязался!

...И снова каменные коридоры и двери с надписью: «Осторожно: хищники!» Я смотрю по сторонам, прислушиваюсь. Из-за железной двери доносится тихий стон.

— Что это?

— Медвежонок.

— Болен?

— Да, болен... Его избил дрессировщик.

— Разве это разрешается?

— Болевой способ дрессировки.

— Этого дрессировщика болевым бы способом!

— Идем сюда.

Мы идем молча. Не поднимая глаз. Нам стыдно перед медвежонком за человека.

Почти в каждом живом существе скрыты удивительные таланты. Их можно вызвать к жизни трудом и терпением. И тогда сложные цирковые номера будут казаться самым четвероногим исполнителям игрой, состязанием. Но можно разбудить способности страхом, болью — болевым способом. Тогда исчезнет веселая непринужденность. Ее сменит чувство самосохранения. Это бумажные цветы. Но доверчивый зритель не сразу отличит их от живых.

А вот и арена цирка. Она может превратиться в степной простор, может стать морем, небольшим круглым морем. По трубам хлынет искусственный холод, и круглое море станет круглым катком. Выступают медведи. Медведи-конькобежцы. Под руководством дрессировщика Капитонова. Зрители будут хлопать, смеяться. И никто не будет знать, что сегодня утром служители соскребали со льда кровь. После репетиции с медвежонком.

— Осторожно!

Наташа схватила меня за руку и оттащила в сторону. Мимо, тяжело дыша, прошла огромная медведица. Ее вел невысокий человек в костюме тореадора. Он держал ее за ухо — так больней и надежней — и тихо приговаривал:

— Но, но, старая дрянь!

Мне вдруг стало страшно. Не огромной медведицы, а человека, вцепившегося ей в ухо, как клещ. Мне стало страшно его трусости, которая рождает жестокость.

Две фигуры скрылись за поворотом. Настроение было испорчено. Надо было просто пойти в гости к собаке, а не тащиться сюда.

— Ну идем, идем, — торопит меня Наташа, — я тебя еще не со всеми познакомила.

Она стоит передо мной усталая, растрепанная, платье все в шерсти животных и в рыбьей чешуе. От нее пахнет рыбой, словно она из одной стихии с Лелем. Усталая русалка без хвоста. Она совсем не похожа на московскую щеголеватую Наташу.

— Идем к Бемби.

— К Бемби так к Бемби!

Наши шаги отдаются щелчками под потолком.

Надо только раз посмотреть на маленькую косулю, и сразу поймешь, что жизнь лишилась бы одной удивительной краски, одного тонкого звука, одного живого аромата, если бы не было на свете этого маленького существа.

Бемби длинноногий и легкий, как кузнечик. Он передвигается прыжками. А выпуклые черные глаза определяют, куда бы прыгнуть.

— Где ты такого раздобыла?

— Он сломал ногу. В зооцентре. Его хотели «списать». Кому был нужен — хромой.

— А тебе в самый раз?

— Видишь, как я его починила.

Я протягиваю руку, косуля-кузнечик делает прыжок в сторону. Потом стоит, расставив передние ножки, и внимательно изучает меня: кто я такой, как я сюда попал и что от меня можно ждать? У него только что прорезались рожки — два заросших шерстью бугорка. Почесать бы их.

Я вспоминаю японский город Нару, где в парке на свободе гуляют олени. Их около тысячи. Там я чесал рожки олененку. Подойди сюда, Бемби, я тебе тоже почешу. Он не сразу проникается ко мне доверием. Но потом подставляет голову, и я начинаю почесывать за маленькими рожками и за большими ушами. Бемби приятно. Он не собирается прыгать и закрывает глаза. Большой кузнечик с пятнышками на шкурке.

Рядом с Бемби живет индюк. Он похож на догорающий костер: весь черный, как головешка, а гребень и борода ярко-красные, как непогасшие угольки. Я подхожу к индюку, и он начинает переступать с ноги на ногу и раздуваться. Появляется больше черного и больше красного. Словно кто-то решил не дать погаснуть костру, раздувает его, и угольки разгораются ярче. А рядом стоит самка. Серая, как зола. С одной красной головкой на месте гребня.

Сквозь ворох перьев в янтарном чопорном взгляде трудно разглядеть что-то доброе и теплое. Но, видимо, надо уметь смотреть.

Чьи-то цепкие холодные лапки хватают меня за палец. Я оборачиваюсь и вижу мохнатого зверька, который стоит на задних лапах и выжидательно смотрит на меня. Что ему надо? Ничего. Просто немного внимания.

Хорошо, что у меня в кармане есть сахар и печенье. Можно его угостить. Он берет двумя лапками печенье и прежде, чем съесть, макает его в воду.

— Это кто еще такой?

— Это Мишка. Енот.

Он тихий и застенчивый. И палец мой он держит не сильно. Вероятно, человеческая рука никогда не причиняла ему боли, а кормила, ласкала, врачевала. И он тянется к человеческой руке, даже не зная, кому она принадлежит.

Мишка ест печенье. Ест сахар. Ест без торопливой жадности. И все макает в воду, как беззубый старичок. А зубов у него полон рот.

— Недавно болел чесоткой. Насилу выходила.

Наташа не отходит от меня. Но она не забегает вперед, не лишает меня самостоятельности. И вместе с тем я чувствую на себе ее ревнивый взгляд: не слишком ли ласковы со мной ее звери?

— Хочешь, я тебе покажу сестру милосердия?

— Конечно.

И вот у меня на руках кошка — Кисоль. Некрасивая: нескладная, белая с черными кляксами. Когда болел Мишка, она была с ним рядом в изоляторе, чтобы он не очень скучал. А когда появился Бемби со сломанной ногой, добровольно перешла к нему в вольер. Действительно, сестра милосердия.

— Где ты ее откопала?

Наташа пожимает плечами:

— В сточной трубе. Кто-то бросил. Маленькую, слепую. Я ее из пипетки кормила...

Я то приседаю на корточки, то встаю на носки и тянусь, тянусь к доверчивым существам. В каждом открываю что-то новое, необычайное, благородное. Я чешу их за ушами, глажу по шерсти, называю ласковыми, позаимствованными у Наташи именами. И чувствую, как меня наполняет новая волна любви к жизни.

И вдруг:

— Зверям пора спать!

...Наташа стоит и улыбается. В волосах поблескивает рыба чешуя.

Надо уходить. Я прощаюсь с Васей, с большеглазой морской царевной, с лакированным Лелем, с костром-индюком, с большим кузнечиком Бемби, с Мишкой, которого недавно вылечили от чесотки, и с его сестрой милосердия.

- Стой! Мы забыли Шарика и Прохора!
- Кто такие?
- Скворцы. Одного подбил мальчишка из рогатки, другой чуть не замерз зимой...

Я вернулся домой поздно. Весь мой костюм был в шерсти, а от рук пахло свежей рыбой. Счастливая усталость овладела мной. Я опустил на стул и закрыл глаза. И тут зазвонил телефон.

— Как дела? — спрашивал меня здешний друг. — Был в гостях у собаки?

Я на мгновение задумался и, помедлив, ответил:

— Был. Все в порядке.

ПОВЕСТИ ▶



БЫЛ НАСТОЯЩИМ ТРУБАЧОМ ● НЕПО-
СЛУШНЫЙ МАЛЬЧИК ИКАР ● ТАЙНА ФЕ-
НИМОРА ● МАЛЬЧИК С КОНЬКАМИ ●
СТАНЦИЯ МАЛЬЧИКИ

Был настоящим трубачом

1

Вспомните картину, на которой изображен Петр Первый, шагающий по берегу Невы. Огромный царь яростно печатает шаги. Выпуклый лоб, глаза навывкате, усы торчат, как проволочные, ноздри раздуты. Царь спешит. Свита еле поспевает за ним. И кажется, слышно, как гремят о камни тяжелые, кованные, с пряжками башмаки и свистит ветер, развевающий полы густо-зеленого камзола.

Теперь представьте, что картина ожила. Заплескались невские волны, и в лицо пахнуло глубинным холодом. Рослый мужчина с вьющимися, как у Петра, волосами, шагает по набережной, держа в руке, вместо треуголки, фуражку защитного цвета с алой пятиконечной звездочкой. Камзол ему заменила красноармейская гимнастерка. А дальше — совсем не царские и не красноармейские — брюки навывпуск и остроносые штиблеты. По-настоящему царские у него только осанка и шаг — широкий и тяжелый.

За ним, как на известной картине, поспевают свита, состоящая из двух человек: женщины и мальчика. Женщина невысокая, смуглолицая, с коротко подстриженными волосами по моде первых лет революции. Глаза большие, словно расширенные от удивления. За ней идет, вернее, бежит мальчик, такой смуглолицый и большеглазый, что в нем без труда можно признать сына женщины. От отца же, который по-петровски шагал впереди, мальчику достались лишь вьющиеся волосы. На мальчике матроска с выцветшим голубым воротником и картузик, тоже выдавший виды.

Мальчика звали Котей, отца его — Николаем Леонидовичем, а мать называли просто Ксаночкой, без отчества.

Котя бежал, чтобы не отстать от родителей. При этом он все время оглядывался, потому что по мостовой с дружным аппетитным хрустом шагала команда военмор — военных моряков. Над белыми тарелочками бескозырок поблескивали вороненые штыки. Ветер упруго надувал кумачовый транспарант со словами: «Смерть Юденичу!»

Котя смотрел на моряков, и его глаза загорались тайным восторгом. Он представлял себя идущим в строю с тяжелой винтовкой, которую можно сколько угодно трогать и даже стрелять из нее по врагам. Может быть, это было бы несбыточной мечтой, если бы не событие, которое произошло час назад.

Все началось в узком дворе петроградского дома, что на Васильевском острове.

По этому двору расхаживал старый татарин с необъятным полосатым мешком за спиной. Задрав голову, он пел свою странную песенку:

Халат! Халат!
Костей, тряпок!
Бутылок! Банок!
Халат! Халат!

Котя подошел к старьевщику и спросил:

— Зачем вам кости и тряпки?

Старьевщик выкатил на мальчика черные глаза и тихо сказал:

— Я всю жизнь собираю кости и тряпки... А теперь ни костей, ни тряпок.

В это время где-то на пятом этаже распахнулось окно, и папа на весь двор крикнул:

— Котя, быстро наверх! Тетушка дома!

Мальчик тут же юркнул в подъезд, провожаемый печальными глазами старьевщика, который вслед ему снова пожаловался:

— А теперь ни костей, ни тряпок.

В заставленной вещами комнате в старинном плюшевом кресле бутылочного цвета сидела старушка — тетушка. Перед ней, как просители перед вельможей, стояли папа и мама. Из-за них выглядывал Котя. Он рассматривал тетушку со смешливым любопытством. Тетушка была маленькой, востроглазенькой, с сизыми колючими усиками по краям рта.

— Мальчик он послушный, — говорила мама про Котю.

— Слушается с полуслова, — добавлял папа, заискивающе глядя в глаза тетушке.

Котя же из-за спины родителей подавал тетушке тайный сигнал — отрицательно качал головой.

— Я, соколики мои, еле ноги волочу, — отвечала тетушка, предупрежденная Котей.

— Он помогать будет! — с готовностью обещал папа.

Котя изо всех сил качал головой: мол, не буду помогать.

— Он и за хлебом сходит, и дома подметет, — вторила папе мама.

«Не схожу! Не подмету!» — сигнализировал Котя старушке.

И та отвечала:

— Он больше намусорит, чем уберет.

Было похоже, что Котя и тетушка находятся в тайном сговоре.

Тогда мама шагнула вперед и с отчаянием сказала:

— Тетушка, дорогая, не можем же мы взять с собой мальчика на фронт!

А папа, для убедительности, протянул мандат с лиловыми печатями. Но старушка даже не взглянула на этот серьезный документ.

— В другой раз! — решительно сказала она. — А теперь извините и увольте. Ты уж не обижайся на старую тетку, Ксаночка.

Когда удрученные отказом Котины родители покидали тетушкин дом, Котя оглянулся. Тетушка победоносно смотрела вслед уходящим. Котя кивнул ей на прощание и закрыл дверь.

Спустя некоторое время «Петр и его свита» прошагали по Морской улице и остановились у дома с кариатидами — могучими каменными женщинами, которые на своих плечах держали массивный балкон. Женщины-кариатиды загадочно улыбались, словно были свидетельницами заговора с тетушкой и полностью поддерживали Котю.

— Здесь! — сказал отец, и это слово прозвучало, как команда.

Все остановились. Повернулись. Вошли в подъезд.

На третьем этаже, у дубовой двери, на которой висела потемневшая медная табличка с надписью: «Артист императорских театров Петр Иннокентьевич Пархоменко», отец дернул за бронзовую шишечку, и где-то в глубине тонко зазвонил колокольчик. Гостям долго не открывали. Наконец послышались шаги. Щелкнул замок, и дверь медленно отворилась. На пороге стоял тучный кудрявый мужчина в бархатном, давно не стиранном халате. В руках он держал тарелку и ложку. Артист императорских театров стоял ел суп.

— Здравствуй, брат! — воскликнул он трубным голосом и тут же отправил ложку в рот.

— Здравствуй, брат! — отозвался Николай Леонидович. — Ты с утра пораньше ешь суп?

— Не ем, а рубаю! — Артист вытер рукавом халата рот и захохотал. Его смех отозвался в парадном, как раскат грома. — Прекрасное изобретение революции — суп «карие глазки».

— Какие глазки? — спросила мама.

— Ксаночка? Здравствуй, девочка моя! — обрадовался артист. — И ты здесь? Суп из голов воблы. Объединение! Хочешь попробовать?

— Разве у воблы карие глаза? — неожиданно спросил Котя.

Артист перестал есть и уставился на Котю.

— Здравствуй, Шурик!

— Меня зовут Котя, — отозвался мальчик.

— Мы на фронт уезжаем, не с кем оставить его — сказал папа, незаметно подталкивая вперед сына.

— Беспризорник, значит, — весело сказал артист императорских театров.

— Беспризорник, — подтвердила мама, лишь бы потрафить толстяку. — Ты бы не взял его на время?

Артист удивленно посмотрел на маму, потом перевел взгляд на Котю и сказал:

— Да я ведь сам беспризорник! Жена удрала на юг от голода. А я меняю брюссельские кружева на воблу.

— Ну да, — растерянно сказал папа, — конечно. Мы пойдем, Петя.

Все трое, не сговариваясь, повернулись и стали медленно спускаться вниз, а бывший артист императорских театров механически хлебал суп «карие глазки» и смотрел им вслед. И вдруг он громогласно крикнул:

— Стойте! Разве в Петрограде появился новый театр?

— Появился! — с нижнего этажа ответил ему Николай Леонидович.

— Героический рабочий театр! — крикнул Котя.

— Николай уже собрал труппу. У него мандат Петровета. Мы едем на фронт! — крикнула снизу Котина мама.

— Когда? — Пархоменко сбежал на несколько ступенек, свесился с перил, расплескивая остатки супа.

— Завтра утром, — ответил Николай Леонидович.

— А харчи давать будут? — Артист постучал ложкой по пустой тарелке.

— Как и всем бойцам, — ответил за отца Котя. — И мыло будут давать.

— Да здравствует театр! — на всю лестницу крикнул толстяк в бархатном халате. — Да здравствует революция! Я — с вами! Ура!

Трое, стоявшие на нижней площадке, крикнули «Ура!».

Только очутившись на улице, папа и мама поняли, что их главная задача не решена: Котю пристроить не удалось, и он, по словам бывшего артиста императорских театров, остался беспризорным.

— Что же делать? — спросил папа и стал чесать затылок.

Мама сокрушенно опустила глаза. Котя посмотрел на каменных женщин. Они улыбались таинственно, как старая тетюшка. Котя одобрительно кивнул им, словно они что-то шепнули ему, и сказал своим павшим духом родителям:

— Послушайте! Я придумал! Честное благородное!

— Что ты придумал? — уныло спросил отец.

— Я еду с вами на фронт! — ответил мальчик.

— Боже мой, — воскликнула мама, — какие глупости!

Но папа, похожий на царя Петра, директор Героического рабочего театра, был иного мнения. Он сказал:

— В этом что-то есть.

— Там опасно, — возразила Котина мама.

— Теперь везде опасно, — твердо сказал отец. — Революция в опасности!

И, не дожидаясь маминых возражений, он зашагал по Морской улице тяжелыми шагами медного всадника, соскочившего с коня.

2

— Господин полковник, я получил известие от своего брата, поручика Воронова. Он авиатор, сбит красными под Гатчиной. Он ранен и скрывается на сеновале в деревне Панево.

— Кто вам сказал, что я полковник? Кто вы такой? Какого черта вы пришли сюда?

Тучный мужчина в пальто с бархатным воротником и в фуражке железнодорожного ведомства, как коршун, навис над юношей.

— Я — юнкер Воронов. А про вас мне написал брат.

— Вашего брата следует разжаловать и судить военным трибуналом за разглашение тайны! — вскипел переодетый полковник. — А если бы записка попала к красным?

— Но, господин полковник; он же ранен. Он нуждается...

— Сейчас все в чем-то нуждаются! В Гатчину не сегодня-завтра войдет Юденич.

Глаза юноши посветлели.

— Господин полковник, чем я могу служить нашему делу?

— Чем вы можете служить? — Полковник усмехнулся и уставился на молодого человека круглыми птичьими глазами и вдруг, уже мягче и спокойней, сказал: — Вы можете сослужить нам службу. Авиации нужна касторка.

— Что вы сказали, господин полковник? — Юноша с недоумением посмотрел на полковника.

— Я сказал — касторка.

Этот разговор происходил в саду Буфф, в зарослях сирени, неподалеку от старого кегельбана.

«Айзенбан» — по-немецки — «железная дорога». «Бан» — «вокзал». Кегельбан не имеет никакого отношения ни к поездкам, ни к вокзалам: это взрослая игра. По длинному деревянному лотку пускают тяжелые, похожие на пушечные ядра шары. Шары сбивают с ног кегли, которые, как солдаты, выстроены в конце лотка. Раз — и мимо! Два — кегля упала, но остальные стоят: попробуй себя.

Вот возле этого кегельбана и очутился Котя в тот пасмурный летний день, когда было решено взять его с собой на фронт. Отец и его свита, которая к тому времени уже составила пять человек, отправились в соседний дом за шестым. Коте же наказали ждать в саду Буфф.

Когда-то здесь играла музыка и хорошо одетые люди расхаживали по чисто выметенным дорожкам сада. Теперь никакой музыки не было: в «раковине» для оркестра были сложены дрова, березовые и осиновые. Скамейки перевернуты вверх ножками, гондолы качелей куда-то запропастились, дорожки заросли травой, а кегельбан — гордость сада Буфф — потрескался, подгнил, на нем валялись один треснувший шар и две безголовые кегли.

Котя бродил по заброшенному саду. Он остановился у кегельбана, и тут до него долетел странный разговор двух мужчин о касторке.

— Я сказал — касторка! — пробасил густой мужской голос.

— Я готов отдать жизнь за родину, — отозвался молодой, ломкий голос юноши, но мужской голос перебил его довольно резко:

— Нам не нужна ваша жизнь. Нам нужна касторка.

Много касторки. Потому что без касторки ни один аэроплан не поднимется в воздух!

О чем они говорили дальше, Котя не слышал. Голоса перешли на шепот.

«Без касторки ни один аэроплан не поднимется в воздух! — про себя повторил Котя и усмехнулся: — Разве у аэроплана болит живот?»

Он нагнулся и поднял с земли кегельный шар. Подержал его, размахнулся, и шар с грохотом покатился к двум обезглавленным кеглям.

— По буржуям! — вслед шару крикнул Котя.

Шар медленно приблизился к кеглям и остановился. У него не хватило сил.

Котя сбежал за шаром и послал его посильней. При этом он крикнул:

— По Юденичу!

Шар покатился куда-то вбок.

— Не попали в Юденича? — слышался за спиной мальчика ломкий голос.

Котя оглянулся. За ним стоял худой, высокий юноша с едва заметными калмыцкими скулами и с темными внимательными глазами.

— Не попал, — признался Котя.

— Разрешите, попробую.

Юноша взял шар, раскачал его, прищурил глаз и с силой пустил по лотку. Кегли упали как подкошенные. Котя улыбнулся.

— Кто вы? — спросил он.

— Граф Монте-Кристо, — усмехнувшись, ответил незнакомец.

— Настоящий граф? — удивленно спросил мальчик.

— Настоящих графов теперь нет. Как вас зовут?

— Котя, — ответил мальчик.

— Меня в гимназии звали Икар. — Незнакомец протянул Коте руку.

Мальчик улыбнулся и прочитал стихи:

И сделал отец ему крылья
Из перьев, из воска, из ниток льняных.

Оба засмеялись.

— А вы забавный молодой человек, — покровительственно сказал Икар, рассматривая Котю.

— Я артист, — отозвался Котя. — И еще я пишу стихи. У вас есть револьвер?

Вместо ответа юноша полез в карман и вынул маленький, дамский, револьвер.

— Бьет на двести метров, — сказал он.

— Можно подержать?

— Только осторожно. Заряжен.

Котя с замирающим сердцем рассматривал револьвер и даже прицелился в кеглю. Потом нехотя вернул оружие владельцу и спросил:

— А зачем аэропланам ~~ка~~сторка?

Икар прищуренными глазами испытующе посмотрел на мальчика, но ответить не успел.

В небе, над макушками деревьев, с оглушительным стрекотом пролетел аэроплан. За ним тянулось белое облачко, которое, спуска~~ясь~~ к земле, оказалось листовками. Котя и Икар побежали по аллее за медленно летящим аэропланом.

— А я умею управлять аэропланом! — на бегу крикнул Икар.

— Честное благородное? — спросил Котя.

— Клянусь! Обо мне даже в газете писали: «Гимназист парит в небе...»

— А как же ~~ка~~сторка? — вдруг спросил Котя.

— Какая ~~ка~~с... Вы слышали про ~~ка~~сторку?

— Он чужак, этот гражданин, — засмеялся Котя. — «Самолет не полетит без ~~ка~~сторки»!

— Конечно, чужак, — поддержал его Икар. — Чужак и

не совсем нормальный. Вы больше ничего не слышали, что он говорил?

— Не-ет, только про ~~ка~~сторку.

Так они добежали до ворот. Котя нагнулся и поднял с земли листовку. На маленьком листе было написано: «Товарищи! Революционный Петроград в опасности! Все на фронт! Смерть Юденичу!»

— Я еду на фронт, — неожиданно сказал Котя.

— Вы? На фронт? — Глаза Икара загорелись. — Шутите?

— Честное благородное, — сказал Котя. — Наш театр едет. И меня берут. Тетушка отказалась от меня.

— Тетушка отказалась? — Этот довод, видимо, подействовал на Икара, он серьезно посмотрел на Котю: — А вы не могли бы мне составить протекцию?

— Я поговорю с папой, — тут же согласился Котя. — Но вы не артист.

Икар покачал головой.

— Не артист. Но я могу... я могу быть при лошадях. У вас будут лошади, раз театр походный.

— Будут, — неуверенно ответил Котя. — Я поговорю с папой. Вы любите лошадей?

В это время у ворот сада Буфф остановилось несколько человек во главе с Котиным папой.

— Котя? Где ты? Не заставляй себя ждать!

Красноармейская фуражка молодцевато сидела на папиной массивной голове. В фуражке он сразу перестал быть похожим на царя, основавшего город на Неве.

— Папа, разреши тебе представить, это мой товарищ... Икар.

Молодой человек опустил голову и тут же вскинул ее.

— Он хочет ехать на фронт. Он может быть при лошадях...

— Вы конюх? — спросил Николай Леонидович, вопросительно глядя на юношу.

— Не совсем... Но если надо... Я люблю лошадей. И потом... я не чужаюсь никакой работы.

Николай Леонидович снял красноармейскую фуражку и вытер лоб платком.

— Хорошо! — сказал он решительно. — Завтра мы выступаем. Зачисляю вас в театр рабочим... сцены. У нас есть фургон, а кучера нет.

— Ура! Икар будет кучером! — воскликнул Котя.

Когда труппа будущего театра, уже насчитывающая десять человек, шла по набережной Фонтанки, Котя увидел, как по реке плыла старая баржа, заполненная тощими, оборванными ребятами. Они отталкивались от дна шестами и галдели от удовольствия.

Увидев Котю, ребята начали кричать:

— Эй, барчук! Нырй! Плыви к нам!

— Я не барчук! — на ходу крикнул Котя. — Смерть Юденичу!

И ребята с баржи хором ответили:

— Смерть Юденичу!

И подбросили в воздух фуражки и картузы. Одна фуражка упала в воду.

3

В летний день 1919 года по улицам красного Петрограда двигались войска. Это тяжелые подковы артиллерийских лошадей, как молоты, опускались на камни мостовой, а колеса орудий перекатывались с такой силой, что в окнах звенели стекла. Лафеты, орудийные передки, зарядные ящики, повозки, походные кухни, выкрашенные в общий грязно-зеленый цвет, образовали грозный движущийся поток. Среди этого потока совсем инородным телом выглядел большой брезентовый фургон, расписанный яркими пятиконечными звездами. Кроме звезд, на фургоне красовалась надпись: «Героический рабочий театр».

Вместе с артиллерийским полком на фронт отправлялся самый молодой театр Советской Республики.

Белые войска генерала Юденича захватили Ямбург и Псков и приближались к Петрограду. Питерский фронт стал самым важным фронтом Республики.

— Эй, ездовые второй батареи, что вы там, загнули? Подтянись! Подтянись! — кричал командир ездовым.

— Но-о-о, сонные! — кричали ездовые лошадям.

Вздмалось облако пыли, из камней вылетали искры, и новая волна грохота оглушала прохожих.

Над городом реяли кумачовые полотнища с четко выведенными словами: «Смерть Юденичу!», «Не отдадим врагу революционный Петроград!»

Этими словами город напутствовал уходящих на фронт.

На одном из орудийных передков, рядом с грузным белобрысым красноармейцем, сидел смуглолицый мальчик в серой курточке и такой же кепке. Маленькие ровные брови высоко взлетали над глазами. Сами же глаза были задумчивыми и серьезными, как у взрослого человека. Когда же мальчик улыбался, глаза его оживлялись и в них загоралось что-то озорное.

Это был Котя.

Перед началом марша командир полка сам привел его к запряженному шестеркой лошадей орудью. Здесь, на передке, восседал немолодой боец в фуражке, надвинутой на самые глаза. Гимнастерка и шаровары сидели на нем в обтяжку. Казалось, сделай он неловкое движение и обмундирование затрещит по швам.

— Принимай в расчет бойца! — сказал командир артиллеристу. — Головой отвечаешь!

Вместо ответа боец приложил руку к козырьку и, как показалось Коте, не обратил на него никакого внимания.

Мальчик забрался на передок и сел рядом с неразговорчивым бойцом.

Раздалась команда «Арш!», заиграл оркестр. Полк тронулся.

Первое время Котя и его спутник ехали молча. Мальчик жалел, что ему попался такой угрюмый спутник. Неожиданно красноармеец, не поворачивая головы, спросил:

— Ты тоже артист?

— Артист,— ответил Котя.

— На голове стоять можешь?

— Не-ет.

— А шпаги глотать умеешь?

— Не пробовал.

— Что же ты умеешь делать? — разочарованно спросил боец.

Котя слегка подался вперед и заглянул ему в лицо.

— Я играю в спектакле. Сперва подношу патроны, а потом погибаю.

Боец долго молчал, обдумывал. Наконец со вздохом произнес:

— Как солдат. Сперва подносит патроны, потом погибает.

— А я еще стихи сочиняю,— доверительно сообщил артиллеристу Котя.— Не верите? Честное благородное!

И, не дожидаясь, как боец отнесется к этому сообщению, продекламировал:

Возле цирка на Фонтанке
Продавал мужик баранки.
А баранки были с маком.
Отдал их мужик собакам.

Красноармеец опустил поводья, с нескрываемым любопытством посмотрел на Котю, протянул ему руку.

— Яшечкин,— представился он.

— Котя,— ответил мальчик.

Так они познакомились.

— А вы наводчик? — спросил Котя.

— Замковой,— через некоторое время ответил артиллерист.

— Пушку на замок запираете?

— Не пушку, а снаряд... Засылаю снаряд в патронник, закрываю оружейный замок.

— А ключ от замка где храните?

Яшечкин недовольно покосился на мальчика.

— Это амбарный замок запирают на ключ,— сказал он и снова надолго замолчал.

В вышине раздался протяжный дробный треск. Из-за леса вылетел аэроплан. Он летел так низко над землей, что его гул заглушал все звуки движущегося артиллерийского полка. На широких двухэтажных крыльях горели красные звезды. От пролетающего аэроплана над колонной просвистел ветер и тень крыльев скользнула по траве. Котя привстал, чтобы лучше разглядеть военлета, который перегнулся через борт кабины, но сильная рука Яшечкина вернула его на место.

— Не балуй. Свалишься на землю.

Обогнав колонну, аэроплан удалился в сторону фронта, а Котя провожал его округлившимися глазами. И губы его сами по себе уже шептали строчки будущего стихотворения:

Смелый красный авиатор
В бой ведет аэроплан.

На войне все неожиданно меняется. Обыкновенная изба может превратиться в штаб полка; школа может стать полевым лазаретом; площадь — огневой позицией для орудий, а колокольня — наблюдательным пунктом.

Так пригородный вокзал неожиданно превратился в

театр. На месте, где обычно висело расписание поездов, появился большой плакат:

Героический рабочий театр.

«ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦИИ»,

драма в двух действиях, пяти картинах.

Начало в семь часов вечера.

БИЛЕТЫ НЕ ПРОДАЮТСЯ.

ЗАПЛАТИМ ЗА БИЛЕТЫ ЮДЕНИЧУ — ПУЛЯМИ И СНАРЯДАМИ.

4

Перрон вокзала, превращенный в театральную площадь, заполнили красноармейцы, идущие на спектакль. Они шли с оружием, потому что когда рядом враг, то даже в театре нельзя расставаться с винтовкой.

Два бойца прикатили пулемет. Дежурный — розоволицый красноармеец с рыжим чубом — преградил им путь:

— С пулеметом нельзя!

— Куда же мы его денем? Мы за пулемет в ответе! — говорил один из пулеметчиков, оттирая дежурного плечом.

— С винтовками можно, а с пулеметом нельзя?! — поддерживал товарища второй пулеметчик.

— Вы еще тачанку прикатите! — не сдавался дежурный.

Образовалась толпа. Задние кричали:

— Проходите! Эй, пулемет, двигай!

В это время на перроне ударили в колокол. Но это не был сигнал к отправлению поезда. Удар колокола означал первый театральный звонок. Какой-то сугубо штатский старичок, неизвестно как очутившийся на станции, спросил дежурного:

— Поезд отправляется?

— Спектакль начинается, — ответил дежурный.

Старичок долго смотрел на него, растерянно моргая, потом оглянулся и увидел, что у перрона стоит бронепоезд.

— Спектакль начинается, — пробормотал старичок и вдруг пустился бежать.

Помещение вокзальной кассы было превращено в гримерную. Перед единственным зеркалом, принесенным из буфета, гримировались все сразу. Каждый старался протиснуться вперед, чтобы вместо щеки не попасть палочкой грима в нос. Получалось забавное зрелище: в одном зеркале множество лиц.

Тем временем Котя сидел на круглой табуреточке кассира и лихо стучал компостером.

— Вам куда билет? В Рязань или в Париж? — спросил он маму, которая кончила гримироваться и подошла к сыну.

Мама задумчиво посмотрела на Котю и сказала:

— Мне билет до станции, где люди не стреляют в людей. Где много хлеба...

— И сливочного мороженого, — добавил Котя.

— И где дети ходят в школу, а артисты выступают в красивых театрах и в антрактах пьют чай с пирожными...

Котя задумался. Потом взял картонный билетик, сунул его в щель компостера и с силой нажал рычаг.

— Вот билет до станции «Победа революции».

А в зале ожидания вокзала, превращенном в зрительный зал, уже было полно народу. Красноармейцы сидели на полу, не выпуская из рук винтовок. И над их головами как бы вырос невысокий винтовочный лесок. Они курили, отчего над залом плыло устойчивое голубоватое облачко махорочного дыма.

На большом полотне, прибитом к стене, была изображена горящая тюрьма Бастилия. И казалось, синеватый дым плыл над залом ожидания не от многочисленных ци-

гарок, а от пожара, изображенного на полотне. На перроне снова ударил колокол. И перед публикой появился Николай Леонидович.

На нем была свободная белая рубаша с широкими рукавами, синие шаровары и красный пояс, за который были зашпунтованы два старинных пистолета. В руке же он держал обычную винтовку, взятую напрокат у кого-то из красноармейцев.

— Товарищи! — сказал Николай Леонидович. — Рядом гремят пушки Юденича. Но мы, артисты Героического ратного театра, не прекращаем своих спектаклей. Ударим по Юденичу пролетарским искусством!

В зале захлопали в ладоши и закричали «ура!». Штыки закачались.

— Сейчас мы покажем вам спектакль из времен французской революции. Автор драмы... я.

Николай Леонидович смущенно посмотрел на зрителей и поклонился. Кто-то крикнул:

— Bravo автору!

Но папа поднял руку. И зал притих.

— В этой драме восставшие санкюлоты, то есть пролетарии, штурмуют тюрьму Бастилию. Итак, начинаем спектакль!

Ударил колокол. И артисты вышли на сцену. Собственно, сцены не было. Была небольшая площадка, перед которой лежала перевернутая вверх ножками скамейка, изображающая баррикаду. Николай Леонидович исполнял роль командира, а Ксаночка, Котина мама, роль женщины-бойца. Бывший артист императорских театров, любитель супа «карие глазки», был бомбардиром, то есть артиллеристом.

Спектакль начался.

Командир. Мы ждем подкрепления.

Победа за нами!

Пусть мальчик поднимет

Трехцветное знамя!

Женщина-боец. Как можно ребенка
Поставить под пули?
Не дремлют стрелки
Короля в карауле.

Командир. Пусть знамя народа
Над улицей реет.
В ребенка стрелять
И король не посмеет!

Бомбардир. Эй, маленький Пьер,
Подходи к баррикаде
И знамя держи,
Как солдат на параде.

Командир. На гребень забраться
Ему помогите!

Бомбардир. Смотрите,
Он держится смело, смотрите!

Командир. Ударьте, ребята,
По лбам барабанов.

Всё. Республике — слава!
На плаху — тиранов!

Гремели барабаны. Котя — Пьер стоял на перевернутой скамейке-баррикаде и изо всех сил размахивал трехцветным французским знаменем. А в зале кричали «ура!» и подбрасывали фуражки с алыми звездочками. В это время где-то за окнами раздался взрыв и стекла в зале ожидания мелко зазвенели.

Зрители решили, что так надо по спектаклю, и продолжали хлопать и кричать «ура».

Но дверь распахнулась, и возбужденный боец крикнул: — Тревога! Боевые расчеты бронепоезда по местам!

Его голос утонул в грохоте нового взрыва. Где-то совсем близко рвались снаряды. И, стараясь перекричать грохот, зазвучали команды:

- Третья рота, на выход!
- Телеграфисты штаба...
- Саперный взвод...

Снаряд разорвался на перроне. В здании вокзала со звуком вылетели стекла. Погас свет. Кто-то вскрикнул.

Котя стоял среди этого невидимого водоворота людей и прижимал к себе знамя французской революции. Бегущие красноармейцы подхватили его и, подталкивая, увлекли к двери. Мальчик очутился на привокзальной площади. Вспышки рвущихся снарядов освещали белые стены вокзала и бегущих бойцов. Ржали лошади. Звучали неразборчивые слова команды. Грохотали кованые колеса повозок. Коте казалось, что все это происходит в невнятном тяжелом сне. Ему мучительно хотелось проснуться и очутиться дома, в тихой комнате второго этажа, в которую с любопытством заглядывал уличный фонарь...

Мимо с грохотом промчался театральный фургон, и Котя успел разглядеть бледное лицо своего нового друга, подгонявшего лошадей.

— Икар! Икар, куда вы... — крикнул Котя.

Но Икар не услышал его голоса. Он погонял лошадей, и вскоре фургон скрылся в дымной тьме.

В это мгновение чья-то сильная рука схватила Котю и потащила за собой. Котя не успел разглядеть, кто его ведет, не успел сообразить, куда его ведут. В следующее мгновение та же рука швырнула его на землю и тяжелое, горячее тело в шершавой гимнастерке накрыло его. Раздался оглушительный взрыв, да такой сильный, что земля вздрогнула.

Когда взрыв утих, человек, прикрывший собой Котю, произнес:

— Так без головы можно остаться!

Это был Яшечкин. Котя узнал его и облегченно вздохнул. Откуда он взялся, как нашел Котю в этом страшном водовороте? На мгновение Коте вспомнились слова коман-

дира полка: «Головой отвечаешь!» Это за него, за Котю, Яшечкину приказали отвечать головой. И он выполнял приказ. Нет, здесь дело не в приказе. Если человек прикрывает от осколков другого — это уже не из-за приказа.

Яшечкин вскочил на ноги, помог подняться Коте и побежал, увлекая его за собой. Они пробежали по окутанной дымом площади, нырнули в боковой переулок и очутились у артиллерийской повозки.

— Быстрей! — скомандовал Яшечкин и помог Коте забраться на облучок. Потом быстро отвязал коней и сел рядом с ним. — Держись крепче. Но! Но! Пошли!..

И повозка помчалась, подпрыгивая на ухабах.

Тут только Котя заметил, что в руках у него знамя — трехцветное знамя французской революции. С этим знаменем он выходил на сцену и забирался на гребень баррикады.

За их спиной рвались снаряды.

Котя со своим спасителем уже мчался по проселочной дороге, а мама металась по перрону и всех спрашивала:

— Вы не видели мальчика?.. Небольшого мальчика... Пропал мальчик...

Она не обращала внимания на близкие разрывы, на грохот бронепоезда, который вел ответный огонь. Она искала сына.

Мимо пронесли носилки, покрытые одеялом. Мама бросилась к ним и, преодолевая страх, приподняла край одеяла. На носилках лежал усатый мужчина. Он был мертв.

Мама снова вбежала в здание вокзала в надежде, что Котя от испуга притаился в каком-нибудь укромном местечке. Под ногами хрустело битое стекло. Бастилия на полотно пылала в полную силу, словно ее подожгли не восставшие парижане, а снаряды белых. Коти не было. Тогда мама спрятала лицо в ладони и заплакала. Она плакала беззвучно. Только плечи ее слегка вздрагивали, словно от озноба. И тут перед ней возник Николай Леонидович.

— Ксана?! Где Котя? Наши части отступают!
— Коти нет! Я никуда не уйду без Коти!
— Да, да,— пробормотал папа.— Мы никуда не уйдем без Коти.

На улице загрохотала пулеметная очередь.

5

Когда повозка, запряженная парой серых в яблоках лошадей, отъехала подальше от станции, где с грохотом и огнем рвались снаряды, Котя посмотрел на своего спасителя. Фуражка со звездочкой была низко надвинута на глаза. Ящечкин был спокоен. словно ничего особенного не произошло.

— Это наши бьют по белым? — спросил Котя.

— Кто его знает, — нехотя отозвался Ящечкин. — То ли наши по белым, то ли белые по нашим. Взрывы у всех одинаковые.

Постепенно неразговорчивый Ящечкин как бы оттаял, стал более общительным и сам спросил мальчика:

— Ты-то как на фронт попал?

— Из-за тетушки, — ответил мальчик. — Тетушка не захотела меня оставить у себя. Вот и пришлось меня взять... А вы знаете, что аэропланам нужна касторка?

— Скажешь тоже! — буркнул Ящечкин и замолчал надолго.

— Вы смотрели спектакль? — спросил Котя, чтобы как-то нарушить молчание.

— Смотрел.

— Видали, мальчик размахивал трехцветным флагом? (Ящечкин кивнул.) Так это — я!

— Я знаю, — ответил красноармеец и едва заметно улыбнулся.

— Ящечкин, я про вас напишу стихи. Честное благородное! — вдруг сказал Котя. — Как вы спасли меня.

— Нешто про такое пишут? — Красноармеец покачал головой. — Если про каждого писать стихами, стихов не хватит.

— Хватит! — уверенно сказал Котя.

В это время раздался треск, скрип, и повозка резко наклонилась набок. Котя еле удержался на козлах.

Ящечкин ловко прыгнул на землю и стал рассматривать повреждение.

— Приехали, — певуче сказал он. — Обод лопнул.

— Что же будем делать? — спросил мальчик, осторожно спускаясь на землю.

— Ночевать будем. Утро вечера мудренее.

Ящечкин распряг лошадей и, ловко стреножив, отпустил их пастись. Потом расстелил под развесистой липой шинель и велел Коте ложиться.

— А вы? — спросил мальчик. — Нам всем места хватит.

— Спи, — сказал боец. — Мне бодрствовать — дело привычное. А сморит сон, я и сидя посплю. Солдат спит, а служба идет...

— Куда идет служба? — спросил мальчик, ложась на расстеленную шинель и подкладывая руки под голову.

— К дому идет служба, — ответил солдат и сел с краю, зажав между ног винтовку. — Идет, идет и никак не может прийти.

— Почему? — спросил Котя.

— Война долго длится.

Некоторое время мальчик лежал молча, с открытыми глазами. Над ним распростерлось звездное небо — темное поле с желтыми цветами. Когда звезда падала, казалось, что кто-то срывал цветок.

— Ящечкин, а вы любите воевать? — неожиданно спросил мальчик.

— Не-ет, — ответил пожилой боец.

— Чего же вы воюете?

— Питер защищать нужно. Воевать никто не любит... Я траву люблю косить.

— А генералы любят воевать? — спросил мальчик.

— Кто их знает, генералов. Я их только издали видал... Ты спи, спи.

Но Коте не спалось. События сегодняшнего дня ошеломили его. Он никак не мог прийти в себя. Перед глазами снова и снова возникали страшные видения войны. Разрывы. Отблески пожара. Стоны раненых. Ржание испуганных коней. И фургон Героического рабочего театра, освещенный вспышками разрывов. Неужели весь театр умчался и папа с мамой бросили его одного на пылающей привокзальной площади?!

— Яшечкин, а вы могли бы встать и пойти на белых? — спросил мальчик, приподнявшись на локте. — В вас стреляют, а вы идете. Вперед. Но если вас убьют, то больше никого, никого не убьют. И война кончится. Победа!

— Спи, — сказал боец, видимо не зная, как ответить на эту фантазию мальчика. — Спи и не думай.

— А разве можно заставить себя не думать? — спросил мальчик и, не получив ответа, больше уже не приставал к своему спутнику с расспросами. Тем более, что усталость начинала брать свое. Он закрыл глаза.

Яшечкин оглянулся и прикрыл мальчика краешком шинели. «А ведь малый прав. Каждый, кто идет вперед под пули, приближает победу. Только одним солдатом тут не обойдешься...»

Коте снилось огромное поле, на котором лежат раненые и убитые. И по полю медленно идет мама с кувшином и дает напиться тем, кто просит. На громоздкой серой кобыле появляется папа и кричит:

«Ты, Ксаночка, пой только красных!»

А мама отвечает:

«Белые тоже хотят пить».

«Они хотят Питер!» — говорит папа.

«Они уже ничего не хотят, — отвечает мама, — только пить. Только пить...»

И еще Коте снится, что он тоже лежит на этом поле, закрытый шинелью, которая колет щеку, и громко кричит:

«Мама, я тоже хочу пить!»

Но мама не слышит его голоса. И не видит его. И проходит мимо.

Проснулся Котя оттого, что кто-то сильно тряс его за плечо. Он открыл глаза: перед ним стоял боец, только не Яшечкин, а другой.

— Это что у тебя за флаг? — спросил незнакомый боец.

— Где Яшечкин? — вместо ответа спросил Котя.

— Что у тебя за флаг, спрашиваю?

Котя встал на ноги, огляделся. Он увидел Яшечкина — без винтовки, руки за спиной.

— Это французский флаг! — ответил Котя.

— Слышь, Хвилиппов, — сказал незнакомый боец другому бойцу, — хранцузский! (Вместо «ф» он говорил «х».) Интервенты, значит.

— Да русские мы! Красные! — угрюмо произнес Яшечкин. — Разве я похож на интервента?

— На кого ты похож — разберемся.

— Красные мы! — крикнул Котя.

— Молчи, барчук. Пшли на батарею. Хранцузы!..

Большой театральный фургон, на котором красовались пятиконечные звезды и горели слова «Смерть Юденичу!», мчался по проселочной дороге, переваливаясь с боку на бок и подпрыгивая на ухабах. Сидя на козлах, Котин приятель Икар подгонял лошадей. Уже грохот боя остался далеко позади, а Икар все не давал коням отдыха. Можно было

подумать, что он крепко перетрусил и мчится куда глаза глядят, только бы подальше от боя.

Не захватил Икар и своих товарищей по театру. Бросил их на горящем вокзале.

Однако Икар не был трусом. Он не обратился в бегство, а, напротив, спешил к своей цели. Этой ненастной ночью, бросив фронтовой театр, он пробирался в деревню Панево, где на сеновале скрывался его брат — белый военлет поручик Воронов, сбитый красными.

Икар решил разыскать раненого брата и увезти его под прикрытием красных звезд в безопасное место. «Только бы найти его! Только бы успеть!» — думал Икар. Ведь попались Виктор в руки красных, не будет ему пощады.

Уже светало, когда по правую сторону дороги стали вырисовываться избы. Деревня казалась заброшенной, вымершей. Во многих домах окна были заколочены. Видимо, их хозяева или воевали, или подались подальше от тревожной прифронтовой зоны.

Теперь фургон уже не мчался, а медленно двигался по деревне. Где здесь затаился брат? На каком сеновале? А может быть его уже здесь нет? Икар натянул вожжи. Лошади встали. Юноша поднялся на козлах. Огляделся. Прислушался. Звуки боя замерли, словно война откатилась далеко-далеко. В предутренней тишине запела какая-то ранняя, пробудившаяся птаха. Ее голос был слабым и трепетным, как пламя свечи. Икар слушал эту трель, как бы доносящуюся из далекого детства. Неожиданно кто-то сухо закашлял. Икар повернулся на звук. Кашель долетал откуда-то не из дома, скорее всего — с огорода.

Икар бросил поводья и соскочил на землю. Кашель смолк. Но юноша успел определить направление. Он прошел мимо пустого заколоченного дома. За домом, на огороде, стоял какой-то сарай. Икар шел медленно. Густая роса мочила ботинки. Он дошел до сарая и опасно приоткрыл ворота. Они заскрипели резко, словно кто-то провел

гвоздем по стеклу. И сразу на юношу пахнуло теплым санным духом.

— Стой! Ни с места! Буду стрелять! — Хриплый оклик заставил Икара вздрогнуть и замереть.

«Засада! — мелькнуло в сознании юноши. — Всё пропало!»

Ошеломленный неожиданным угрожающим окриком, Икар забыл, зачем он шел сюда. Он стоял, напряженно вглядываясь в глубь сарая, стараясь понять, кто угрожает ему оружием.

— Тебе что надо? Зачем сюда пришел? — снова зазвучал голос. — Если ты не один, учти, у меня есть граната!

— Я один, — сказал Икар.

Человек закашлялся. Потом сплюнул и сказал:

— Повернись к свету!

Его слова прозвучали как приказ, которого нельзя было ослушаться.

Икар повернулся. Теперь он впервые подумал о том, что хорошо бы резко прыгнуть в сторону и убежать. Трава высокая. Рядом дом. А за ним — фургон. Заржали кони. Они как бы звали Икара. Он уже напрягся для прыжка, как вдруг из глубины сарая послышался смех. Икар резко повернулся.

— Андрюшка! Брат! А я тебя принял черт знает за кого!

— Виктор! — удивленно пробормотал Икар, делая ударение на последний слог. — Ты?

В следующее мгновение братья обнимались в полутемном сарае.

— Это хорошо, что ты нашел меня! Я тут совсем загибаюсь!

Икар не видел лица брата. Но теперь он узнавал его голос, различимый сквозь простудную хрипоту. И еще здорово кололась щетина, которой зарос брат.

— Ты колешься! — сказал Икар.

— Пять дней не брился! Меня тут одна сердобольная старушка кормит. Но не бреет,— засмеялся Виктор.

На него, раненного, усталого, затравленного, вдруг нашло веселье, как будто с появлением брата жизнь вошла в обычное русло.

— Я получил твою записку,— рассказывал Андрей, стараясь разглядеть лицо брата.— Полковник Лекарев отругал меня и велел доставить касторку для аэропланов. В общем, послал меня к черту. Я решил действовать сам... У меня здесь лошади.

— Курить у тебя найдется?

Вместо ответа Икар быстро достал из кармана пачку папирос «Дюшес». И брат закурил жадно, торопливо. Словно он не курил, а утолял жажду.

— Это хорошо ты придумал, что приехал сам,— сказал Виктор.— С тобой мы не пропадем. Откуда лошади?

Икар тихо засмеялся и сказал:

— Я рабочий сцены и одновременно конюх и кучер Героического рабочего театра.

— Мы артисты — наше место в буфете! — воскликнул Виктор и снова засмеялся.— Но потом вдруг смех оборвался новым приступом кашля.— Я тут здорово простыл,— сказал, откашлявшись, Виктор.— Подхватил такую деревенскую инфлуэнцию... Ты не заметил в поле аэроплана?

— Нет,— ответил Икар,— я же ехал в темноте.

— Он должен быть здесь,— сказал Виктор.— Если бы они подняли его в воздух, я бы услышал. Я внимательно слушал... Может быть, они запрягли в аэроплан лошадей? Голь на выдумки хитра. Ха-ха...

— Как твоя рана? — спросил Икар.

— Терпимо. Пулевое ранение в икру навывлет. Кость, кажется, не задело... Ты сейчас же езжай в разведку. Машина моя в порядке, заправлена. Мы сможем поднять ее в воздух и — адью... Героический рабочий театр!

Уже развиднелось. В сарае тоже стало светлей. И Икар

наконец увидел лицо своего старшего брата. Заросшее щетиной, с ввалившимися глазами, оно казалось чужим, незнакомым, и только шрам над бровью как бы подтверждал, что это он, брат Виктор.

— Я, пожалуй, поеду с тобой,— вдруг сказал Виктор.— У меня тут есть костыль... А полковник Лекарев — порядочная дрянь. Вернемся в Питер — угостим его касторкой.

Братья посмеялись над полковником. Потом Икар поставил плечо, и Виктор, опираясь на плечо брата и на костыль, заковылял по огороду к фургону.

— Ты лошадей поил, конюх? — спросил по дороге Виктор.

— Не до водопоя,— ответил Икар.

— Надо напоить. Они уже остыли. И наноси в фургон побольше сена.

— Для лошадей?

— И для меня,— сказал Виктор.— А то по этим дорогам... с раненой ногой...

И снова фургон с красными звездами, переваливаясь с боку на бок, покати по размытой дождем прифронтовой дороге.

7

Гаубичная батарея стояла на пригорке, неподалеку от осинника, который успел пожелтеть и в лучах утреннего солнца трепетал легкой золотистой листвой. Четыре орудия с короткими, запрокинутыми вверх стволами стояли в ряд. Окрашенные в цвет жухлой травы орудия казались мирными, не имеющими отношения к войне, а скорее принадлежащими к природе. Неподалеку от них, сзади, стояли зарядные ящики с боевыми выстрелами.

Пленных привели к командиру.

— Кто такие? — строго спросил командир, разглядывая красноармейца и мальчика.

Красноармеец ничего особенного собой не представлял. Мальчик же, одетый в белую рубашу и синие шаровары, в красном фригийском колпаке, с трехцветным французским знаменем, выглядел странно, подозрительно.

— Я — красноармеец Яшечкин, — ответил боец, вынимая из кармана документ. — А малой — из революционного театра.

— Из какого еще театра? Здесь война и никаких театров нет! — категорически сказал командир.

— Есть театр, — твердо сказал Котя. — Мы выступали на станции...

— Станция занята белыми, — спокойно сказал командир. — Выходит, вы из театра, да не из нашего.

— Из нашего! — заволновался Котя. — Честное благородное, из нашего! Хотите, я вам покажу?

— Нечего показывать! — отрезал командир. — В штабе полка будете давать показания. Артисты!

В это время рядом с командиром оказался человек в кожаной куртке и в шлеме. Пожевывая травинку, он слушал разговор командира с пленными. И решил вмешаться в их разговор.

— Пусть покажут, — сказал он. — Мы и увидим, для кого играет театр: для красных или для белых.

— Я покажу! — сказал Котя.

Командир сдвинул фуражку на глаза.

— Ладно, военлет! — сказал он человеку в кожаной куртке. — Пусть покажут.

Котя подхватил свое знамя и отошел в сторонку.

— А ты что стоишь? — обратился командир к Яшечкину. — Давай тоже.

— Не артист я, а артиллерист, — хмуро сказал Яшечкин, продолжая стоять на месте.

— Артиллеристы находятся при орудиях, а не путешествуют по горам и долам, — недружелюбно сказал командир и отвернулся от растерянного Яшечкина.

А Котя уже развернул трехцветное знамя. И громко, словно находился не на опушке леса, а в большом зале, начал:

— Мы вам покажем спектакль из французской жизни. Восставшие санкюлоты, то есть пролетарии, штурмуют королевскую тюрьму Бастилию. Мой папа, держа в руке старинное кремневое ружье, говорит:

Мы ждем подкрепления.

Победа за нами!

Пусть мальчик поднимет

Трехцветное знамя!

Но моя мама не согласна. Она стоит на сцене с двумя пистолетами.

Как можно ребенка

Поставить под пули?

Не дремлют стрелки

Короля в карауле.

Котя читал стихи. Показывал, рассказывал. Он один играл за целый театр. Привлеченные неожиданным представлением, артиллеристы столпились вокруг мальчика. А его голос, похожий на мамин, звучал громко, чуть напевно:

Пусть знамя народа

На площади реет.

В ребенка стрелять

И король не посмеет!

Он играл, маленький артист Героического рабочего театра, а в это время в осиннике появился конный разъезд белых. Ротмистр, худой, горбоносый офицер, поднес к глазам бинокль, и то, что он увидел, поразило его.

Орудия стояли на огневой позиции без прислуги. Весь же личный состав красной батареи окружил мальчика, ко-

торый почему-то размахивал французским флагом. Некоторое время ротмистр рассматривал это странное зрелище, соображая, что бы это могло значить. Потом оторвал от глаз бинокль и, повернувшись к солдатам, тихо сказал:

— Приготовиться к атаке. Мы сейчас захватим красную батарею голыми руками! Только тихо. Тихо!

А на батарее шел спектакль. И никто не видел, как за зеленоватыми стволами осин появился вражеский разъезд. Никто, кроме Ящечкина.

Старый боец подошел к командиру батареи и что-то шепнул ему на ухо. Глаза командира сузились, и он сразу насторожился.

Стараясь не перебивать Котю, он сказал:

— Играй, артист, играй. Размахивай знаменем. Там, в роще, белые. Хотят застать нас врасплох. По команде — все расчеты к орудиям и огонь по белым. Но пусть они дойдут поближе. Играй, артист, играй!

И тогда Котя крикнул:

На гребень забраться
Ему помогите!
Смотрите.
Он держится смело
Смотрите!

С этими словами мальчик подбежал к ближайшему орудию и, ловко забравшись на лафет, замахал флагом. А наводчик под его прикрытием уже наводил орудие на золотистый осинник, и в руках у заряжающего медью сверкнул заряд.

— Заряжай! — тихо скомандовал командир. — Шнур натянуть!

Маленький артист продолжал спектакль. Он играл свободно и бесстрашно, словно рядом не было белых, готовых атаковать красную батарею.

— Гремят барабаны. Бам, бам, бам! Стеляют ружья.

Все подбрасывают шапки. А мой папа, размахивая кремневым ружьем, кричит:

Ударьте, ребята,
По лбам барабанов
Республике — слава!
На плаху — тиранов!

И в это время из осинника выскочили белые конники. Впереди, сверкая узкой полосой сабли, мчался ротмистр. За ним — весь разъезд.

— Прыгай, парень, в сторону! — крикнул Коте командир.

И едва Котя успел соскочить с лафета, как раздалась команда: «Огонь!» Грохот оглушил мальчика. А мимо него уже бежали к своим орудиям остальные артиллеристы.

— Картечью... Прицел... Трубка... Огонь!

Звучали слова команды, и, заглушая их, гремели выстрелы. А в поле перед золотым осинником метались растерянные кони и вырастали черные кусты разрывов.

— Огонь! Огонь!

Вечером в расположение батареи привезли бочку бензина для заправки аэроплана. Вместе с бензином военлет Семенов получил приказ: утром следующего дня вылететь в район боев на трофейном аэроплане и произвести бомбометание.

Весь день он провел около аэроплана, тщательно исследовал его и даже с помощью двух красноармейцев завел двигатель. Аэроплан был исправен и готов к боевому вылету. Это радовало военлета Семенова.

Но не только он радовался исправности аэроплана.

— Он завелся! Он в порядке! Отлично, — радостно шептал брату Виктор, слушая, как яростно стрекочет ожившая машина. Братья наблюдали за аэропланом из фургона, который загнали в кустарник и сверху прикрыли ольховыми

ветками.— Завтра, едва рассветет, мы полетим. Снимем часового. И — адью, красные!

Виктор был радостно возбужден. Единственно, что его озадачивало, хватит ли в баке бензина, чтобы дотянуть до аэродрома. Когда же вечером к аэроплану подъехала телега с бочкой, Виктор сказал брату:

— Благодарю бога. Мы спасены!

Этот день был для братьев тревожным. Начался он хорошо. Братья встретились и, несмотря на все невзгоды, почувствовали себя счастливыми. Но затем события развернулись так, что оба чуть было не попали в плен. Это случилось, когда разъезд белых атаковал батарею.

Когда Ящечкин заметил между стволов осинника незнакомых всадников и тихо доложил об этом командиру батареи, Виктор тоже увидел их.

— Смотри, смотри! — сказал он брату.— Это наши. Они крадутся к батарее. Мы можем помочь им. Ударим с тыла. У меня есть гранаты...

Икар уже натянул поводья, чтобы вылететь на своей колеснице из укрытия, как вдруг тишина солнечного утра была вдребезги разбита орудийными выстрелами.

— Лопухи! — выругался Виктор.— Плохо маскировались. Сами влипли и нас чуть было не поставили под удар... Скорей бы прошел день. На рассвете полетим...

Котя обладал способностью легко сходитьсь с людьми. И, встретив на батарее настоящего военлета, Котя тут же потянулся к нему.

— У меня есть приятель, который поднял в воздух аэроплан с комендантского аэродрома,— сказал он военлету Семенову.

— Авиатор?

— Нет, он тогда был гимназистом. О нем в газете писали.

— Что-то не слышал про этого гимназиста,— ответил Коте военлет.— Я тогда на фронте был...

— Вы знали капитана Нестерова? — тут же поинтересовался Котя.

— Не имел чести, но был наслышан о нем,— ответил авиатор.— Геройский человек! А ты, значит, будущий артист. Я смотрел твоё выступление. У тебя талант.

— Нет,— ответил мальчик,— я не буду артистом... Я буду авиатором. Как вы.

— Вот как! — произнес военлет.

— Я написал стихи о красном авиаторе. Хотите, прочитаю?

— С удовольствием,— ответил военлет Семенов.

Котя заложил руки за спину, посмотрел в глаза своему единственному слушателю и стал читать:

Смелый красный авиатор
В бой ведет аэроплан.
В этот бой его послали
Пролетарии всех стран.

На его аэроплане
Звезды красные горят.
Белым толстым генералам
Не отдаст он Петроград.

У него в кабине бомбы,
А в руке зажат нагаи.
Он ведет корабль воздушный.
Как бесстрашный капитан...

Всё,— сказал Котя и опустил глаза.

— Так ты еще и недурной поэт! — воскликнул военлет Семенов.— Как же попал на фронт?

— Тетушка не согласилась оставить меня. А бабушки у меня нет.

— Вот ведь как жизнь складывается! — отвечая своим мыслям, воскликнул военлет.— Попал на фронт. И не

сдрейфил. Ведь ты сегодня участвовал в настоящем бою.

— А вы не прокатите меня на аэроплане? — вдруг вкрадчиво спросил Котя.

— Обязательно, — ответил военлет Семенов. — Завтра слетаю на боевое задание, вернусь и прокачу!

— Утром приду вас провожать, — сказал Котя. — Я не проспю. И встречать буду.

В это время к ним подошел Яшечкин.

— Ты здесь? А я тебя ищу повсюду. Обедать пора.

— Спасибо, я не хочу, — сказал было Котя, но Яшечкин замотал головой.

— Никаких разговоров. В армии порядок обций. Раз обед — значит, все хотят есть.

Котя вопросительно посмотрел на военлета Семенова. Тот улыбнулся и развел руками: мол, ничего не попишешь.

— А вы пойдете обедать? — спросил мальчик военлета.

— Обязательно.

Полевая кухня расположилась у крайней избы. На двух колесах дымился большой котел с трубой. И к этому котлу выстроилась очередь бойцов. Котя встал в очередь, а Яшечкин куда-то отлучился и вскоре вернулся с котелком и ложкой.

— Бери ложку, бери бак, — сказал он весело.

— А вы?

— У меня тоже есть, — ответил боец и показал Коте второй котелок, ложку же он вынул из-за голенища сапога, где у солдата всегда хранится ложка.

Повар в белом колпаке, похожем на облако пара, большой ложкой, «разводящей», подцепил из котла густые дымящиеся щи и вылил в Котин котелок.

— Ой, много! — воскликнул Котя.

— Сколько положено, — спокойно сказал повар и протянул Коте пайку хлеба.

Котя и Яшечкин расположились в сторонке, прямо на траве, и начали обедать. Щи оказались очень вкусными,

тем более что мальчик со вчерашнего дня ничего не ел. Он ел с аппетитом.

— Вкусно? — спросил Яшечкин.

— Вкусно.

— Ешь на здоровье. А ты почему без хлеба?

— Я маме отнесу... хлеб.

Яшечкин сочувственно посмотрел на мальчика, но сказал:

— Ешь с хлебом. Маме тоже дадут. На фронте всем дают поровну... Ты небось к мамке хочешь? Сколько ребятшек хотят к мамкам, к тяткам, а война не пускает. Будь она неладна!

Котя опустил голову. Воспоминания о маме омрачили его. Даже ароматные солдатские щи утратили свою прелесть. Яшечкин ел и исподлобья глядел на Котю. Он думал, как бы утешить мальчика. И вдруг полез в карман и достал оттуда свернутый улиткой новенький солдатский ремень.

— Держи! Это тебе!

Котя просиял:

— А как же вы?

— Это запасной. У солдата всегда должен быть запас.

— Для друга запас? — спросил Котя.

— Для друга.

Котя занялся подарком и отвлекся от трудных мыслей.

Котя проснулся среди ночи и никак не мог понять, где он. Словно заблудился во сне и попал в какое-то темное, незнакомое место. Под ним вздрагивал пол, а стекла мелко дрожали. Он опасливо открыл глаза. Раздавался тяжелый грохот, в темных окнах время от времени возникали огненные всполохи, и стекло становилось красным. При этом коротком тревожном свете в углу мерцал медный умываль-

ник, похожий на старинный шлем. Когда же вспышки исчезали, окна снова заливала тьма.

Котя сел и, услышав, как зашуршало сено, вспомнил, что лежит на полу. Вспомнил, что вечером Яшечкин уложил его спать в избе. Принес откуда-то охапку пахучего сена и уложил, а сверху накрыл своей шинелью. Здесь же, в избе, устроились на ночлег военлет Семенов и еще несколько бойцов.

«Кто это стреляет? — подумал мальчик. — Может быть, белые? Те самые белые, которые открыли огонь по вокзалу, когда там шел спектакль? Может быть, батарея отбивается от белых? А если не отобьется? — Коте стало не по себе. — Где же Яшечкин?»

Снова грохнуло. Снова стекло стало красным. При свете этой вспышки Котя огляделся и увидел Яшечкина. Старый боец спокойно спал, свернувшись калачиком. Ему, наверное, было холодно в одной гимнастерке. Увидев, что Яшечкин рядом, Котя успокоился. Он взял сено и лег, при этом прикрыл своего друга краешком шинели.

Котя долго не мог уснуть. Теперь он думал о папе и маме. Где они? Ведь станцию заняли белые. Может быть, их ранило? Или они попали в лапы контрразведки Юденича? Потом мальчик вспомнил мчащийся фургон, бледное, неподвижное лицо Икара. Он спешил, потому что спасал артистов Героического рабочего театра. Увез их в безопасное место, а Котю оставил на пылающей привокзальной площади.

Котя уснул так же неожиданно, как и проснулся. Исчезли красные стекла, медный шлем, спящие на полу бойцы...

Когда же он снова открыл глаза, стрельба прекратилась. В окнах стоял мутный рассвет. Котя приподнялся и прислушался. И вдруг до его слуха донесся drobный рокот мотора. «Аэроплан! — подумал мальчик. — Он улетает. Я обещаю его проводить...» Котя поднялся, стряхнул с себя сено

и на цыпочках направился к двери, держа за шнурки ботинки.

Утренняя прохлада сразу разогнала остатки сна. Аэроплан тархтел где-то близко, за домами. Мальчик проворно обулся, шнуруя ботинки через дырочку, и побежал.

Он бежал огородами. Гулкий, отрывистый звук подгонял его. Уже кончилась деревня, и Котя увидел полянку, на которой стоял аэроплан. Пропеллер вертелся так быстро, что перед аэропланом возник прозрачный круг. На другой стороне полянки Котя увидел знакомый театральный фургон с красными звездами. Котя очень удивился: «Неужели наши приехали?» — но задерживаться не стал, побежал дальше.

Яшечкин проснулся от скрипа двери. Не открывая глаз, протянул руку в правую сторону: Котино место было пусто. Сон как рукой сняло, боец вскочил на ноги. И только тут до его слуха донесся drobный стрекот аэроплана. «Значит, Котя убежал вместе с военлетом Семеновым!» — смекнул боец и почти в ту же минуту увидел, что военлет Семенов спит, закрывшись с головой кожаной курткой.

«Тут что-то неладно!» — подумал Яшечкин и стал будить военлета.

— Военлет, вставай! Слышь! Твой аэроплан улетел! — крикнул он и, подхватив винтовку, бросился к двери.

А Котя тем временем добежал до полянки, где стоял готовый к отлету аэроплан, и остановился, не зная, что делать дальше. Ведь выбегать на «летное поле» не полагалось.

Котя замахал рукой и крикнул: «Я пришел, я не проспал!» — но его голос затерялся в грохоте мотора.

Некоторое время мальчик стоял, внимательно разглядывая аэроплан. Пропеллер вращался, крылья вздрагивали, однако аэроплан не взлетал, Котя заметил, что он не взлетает потому, что кто-то держит его двумя руками, вцепившись в хвост. Это был... Икар! Так вот почему на краю

поля стоит театральный фургон! Икар приехал и не дает аэроплану взлететь. Почему?

В это время за спиной мальчика раздался винтовочный выстрел. Котя оглянулся и увидел бегущего Яшечкина. Это он стрелял в аэроплан и кричал:

— Стой! Стой, стрелять буду!

И стрелял.

Почему Яшечкин стрелял в военлета Семенова? Почему Икар вцепился в хвостовое оперение аэроплана и не дает ему взлететь? В следующее мгновение Котя увидел самого военлета, только не в кабине аэроплана, а бегущим с наганом в руке. Кто же тогда сидит в кабине? Мысли метались в голове мальчика. А Яшечкин уже подбежал к машине:

— Стой! Глуши машину! Руки вверх!..

В это время что-то сверкнуло, грохнуло, задымилось... Яшечкин упал в траву. Икар тоже выпустил хвост аэроплана и схватился руками за голову. Аэроплан вздрогнул и, подпрыгивая на бугорках, побежал по полю. Он удирал трусливо и дерзко. Напрасно военлет Семенов бежал сзади и стрелял из нагана. Возле кустарника машина оторвалась от земли и стала углубляться в небо, оставляя за собой дымный след.

Котя вышел из оцепенения и бросился к Яшечкину. Икар стоял в стороне, держа за голову.

Мальчик опустился на колени перед лежащим неподвижно бойцом. Фуражка со звездочкой валялась в траве, волосы потемнели от крови.

— Яшечкин! Только не умирайте, Яшечкин!

Слезы застилали глаза мальчика. Ему казалось, что он теряет бесконечно близкого человека, который был рядом с ним всю жизнь.

Заботился о нем. Спасал, когда ему угрожала опасность.

— Яшечкин, только не умирайте!

Раненый боец открыл глаза и снова закрыл их. Этим

коротким взглядом он как бы успокаивал своего маленького друга.

Появился санитар, сделал перевязку. Раненого положили на сено в фургон Героического рабочего театра.

Держась за голову, к Коте подошел Икар.

— Котя, я за вами... Я хотел задержать аэроплан... там белый. Он бросил гранату... У меня голова разламывается... Я за вами, вот фургон... — Он был бледен и морщился от боли.

— Вы знаете этого молодого человека? — спросил военлет Семенов.

— Да... — рассеянно ответил Котя, — знаю... Он — конюх в театре...

Военлет пожал плечами.

— Не знал, что в театрах есть конюхи... А часового убили сзади, ножом... Кто-то помогал белому пилоту.

9

На Петроградском фронте шли напряженные бои. Не было дня, чтобы землю не сотрясали разрывы снарядов. А по ночному небу плыли красные облака — их окрашивали в красный цвет горящие деревни.

По дорогам, ведущим в город, медленно двигались фургоны с большими санитарными крестами на брезенте. В Петроград увозили раненых красноармейцев. В одном ряду с санитарными фургонами ехал необычный, разрисованный красными звездами фургон Героического рабочего театра. Но хотя на нем и не было красных крестов, внутри на сене лежали двое раненых: Яшечкин и Икар.

Красноармеец находился в полузабытьи и только, когда фургон встряхивало на ухабе, тихо стонал. А потом затихал снова. Лежавший рядом с ним юноша был контужен взрывом гранаты и мучился головной болью. Но еще сильнее его мучило сознание, что Виктор предал его.

Узнав о том, что брат в беде, он, Икар, не думая об опасности, поехал с красными на фронт, в первую же тревожную ночь сбежал от них вместе с краснозвездным фургоном. Помог снять часового... Держал аэроплан за хвост, чтобы можно было хорошо прогреть двигатель. Когда же появился этот сейчас лежащий рядом с ним в фургоне солдат, брат швырнул гранату и улетел один. Он мог убить и младшего брата этой гранатой, мог тяжело ранить. Но это не остановило поручика Воронова. Красные могли догадаться, что Икар — белый, и на месте, без суда и следствия пустить ему пулю в лоб. Хорошо, что здесь оказался Котя — этот славный мальчик из хорошей артистической семьи. Иначе бы — крышка!

Икар повернулся на другой бок и застонал, но не от боли, а от обиды.

Что же будет дальше, когда его вместе с раненым бойцом привезут в Петроград? Ведь ему еще придется держать ответ перед Николаем Леонидовичем за похищенный фургон.

Котя сидел снаружи фургона на козлах, рядом с красноармейцем, которому поручили довести раненых до ближайшего госпиталя, а Котю сдать на руки родителям.

Мальчик был подавлен происшедшим. Ведь оба его новых военных друга ранены, страдают, а о судьбе папы и мамы ничего не известно.

И тогда Котя стал сочинять стихотворение про Яшечкина. Ему казалось, что если он сочинит стихи, то другу станет легче. Эта мысль подогревала мальчика. Колеса, гремящие по камням мощеной дороги, подсказывали ему стихотворный ритм: та-ра-та-ра, та-ра-ра...

Жил Яшечкин отважный,
Товарищ боевой.
На третьей батарее
Сражался как герой.

— Ты чего? — спросил молоденький красноармеец, временный возница фургона.

— Это стихи, — сказал Котя, — про моего друга. Которого ранили...

Он шел под пули смело,
От страха не робел.
Из пушки бил по белым,
Снарядов не жалел.

Молоденький красноармеец широко раскрытыми глазами смотрел на Котю. Мальчик замолчал. Задумался. Та-ра-та-ра... та-ра-ра... — отбивали колеса фургона.

Свиное горячий, вражий
В бою в него попал.
И Яшечкин отважный
Как скошенный упал...

Красноармеец все не спускал глаз с Коти. Сам же Яшечкин не слышал стихов, только что сложенных про него маленьким другом. Зато их слышал Икар. Он слушал стихи и в какое-то мгновение позавидовал раненому солдату, лежащему рядом на сене. «Про него слагают стихи, — думал Икар, — потому что он никому не изменял, выполнял свой долг. Он в фургоне, как в колеснице победителя а я еду бесславно, преданный братом! И никаких стихов!»

Икар поднялся. Огляделся. Тихо выбрался из фургона. Некоторое время он шел за фургоном. Потом подался вправо. Перемахнул через канаву и скрылся в лесу.

Никто не заметил его исчезновения.

В это время Котя сочинил еще одно четверостишие:

Гремела канонада,
А Яшечкин лежал.
В руке держал витовку
И руку не разжал.

Когда фургон приблизился к станции, утром освобожденной от белых, Коте показалось, что прошло очень много времени. Может быть, год. Столько он успел пережить за минувшие два дня, так много изменилось в нем.

Площадь перед вокзалом была изрыта снарядами. Деревья обгорели. Да и само здание выглядело, как после пожара. Стекла в окнах были выбиты. На стенах чернели зализы пламени. Над входом в вокзал развевался белый флаг с красным крестом. Здесь был создан эвакогоспиталь. Глядя на все это, трудно было поверить, что два дня назад вокзал был театром и здесь показывали спектакль, гремели одобрителльные хлопки зрителей.

Фургон остановился. Котя спрыгнул на землю. Заглянул внутрь. Ящечкин лежал один. Икара не было. Куда он делся? Может быть, его выкрали белые лазутчики? А может быть...

В это время слышался мамин голос:

— Котя! Мальчик мой! Ты жив? Котя!

Маленький артист оглянулся и увидел маму. Она бежала через площадь к фургону.

— Я как увидела фургон — сразу решила, что ты здесь!

10

В солнечный апрельский день замкового третьей бригады Ящечкина выписывали из госпиталя. Ему принесли гимнастерку, брюки, высокие стоптанные сапоги и шинель, терпеливо ждавшие своего хозяина в лазаретной каптерке.

Ящечкин натянул на себя старое обмундирование и удивился, что оно висит на нем, словно с чужого плеча. После легких туфель-шлепанцев сапоги оказались непомерно тяжелыми, и каждый шаг сопровождался грохотом.

Ящечкина покачивало от слабости, и когда он неторопливо спускался с лестницы, то крепко держался за перила.

Голова кружилась, а в ушах стоял звон. В канцелярии ему сказали:

— Демобилизован вчистую.

— Как так вчистую? — недовольно переспросил боец. — У меня в полку обязанности. Орудие надо переводить на летнюю смазку.

— Никаких орудий! С того света чудом выкарабкался, а еще подавай ему орудие. Сколько лет провоевал?

— Считай, шесть лет.

— И не навоевался, — усмехнулся начальник канцелярии. — Поезжай в полк. Сдай оружие. Получи денежное довольствие. И — домой.

Ящечкин молча повернулся, вскинул винтовку за плечо и пошел к выходу.

Весеннее солнце сразу ослепило его, и он некоторое время стоял, зажмурив глаза, свободной рукой держась за стенку дома. Пели птицы. А ветер с Невы пахнул морем. Ящечкин сунул руку в карман шинели и нащупал какую-то записку. Он вынул ее и долго разглядывал. Прочитать же не мог, потому что был неграмотным. Так и стоял он с запиской, собираясь попросить прочитать кого-нибудь из прохожих. Смутное чувство подсказывало ему, что записку написал Котя. Котя! Как живет его маленький друг? Вернулся ли в Питер или странствует со своим Героическим рабочим театром? «Сперва я подношу патроны, потом меня убивают...»

Ящечкин стоял у подъезда с запиской в руках и все не решался подойти к кому-нибудь.

Мимо шла девушка в красном кумачовом платочке, увидела красноармейца с запиской и сама поняла, что человеку надо помочь.

— Вы что, товарищ красноармеец? — спросила она. — У вас затруднение?

— Затруднение, — отозвался Ящечкин. — Прочесть не могу.

— Давайте, я прочту!

Яшечкин нерешительно протянул девушке записку. Она развернула сложенный вдвое листок и стала читать:

— «Дорогой Яшечкин, когда поправитесь, приходите в сад Буфф. Буду ждать вас каждый день с четырех до пяти. А вот стихотворение. Я обещал...»

Девушка удивленно посмотрела на бойца и стала читать стихотворение:

Жил Яшечкин отважный,
Товарищ боевой
На третьей батарее
Сражался как герои ..

Девушка читала, а боец стоял и, зажмурив глаза, слушал. А когда стихотворение кончилось, поскорее взял листок обратно и уже не выпускал из рук.

— Где этот сад Буфф? — спросил он у «красного платочка».

— Буфф? — Девушка задумалась. — Кажется, на Фонтанке. Это далеко.

— Ничего, время есть, — сказал Яшечкин. — А за чтение спасибо вам.

Девушка еще раз посмотрела на бойца, которому было посвящено стихотворение, и зашагала своей дорогой. А Яшечкин отправился искать сад Буфф.

Каждый день Котя приходил в сад Буфф в надежде встретить своего боевого друга. Другой бы на его месте давно отчаялся. Ведь времени прошло много, а боец все не шел. Может быть, умер от раны? Может быть, вернулся на войну и некогда ему было ходить по всяким Буффам? А может быть, он забыл Котю? Разные сомнения одолевали мальчика. Но каждый день перед спектаклем Котя шел в сад Буфф. Шел под осенними дождями. Проторивал дорож-

ку в свежем снегу. Прыгал через лужи, когда стало пригревать весеннее солнце.

Вот и сегодня Котя прошмыгнул в калитку ворот и зашагал по саду. Было тепло. От дорожки шел пар. Мальчик подставил лицо солнцу и прищурился. Здесь пахло пробуждающейся теплой землей. Такой запах редко встретишь в городе. Это запах полей и перелесков. Котя шел по дорожке, пока не уперся в забор. Здесь сад кончался. А что, интересно, дальше? Котя заметил, что одна доска в заборе отставала. Котя отвел ее в сторону и просунул голову в образовавшуюся щель. Там тоже был сад. Только уже другой. В саду стоял желтый облезший особнячок, он как бы притаился среди темных стволов деревьев. Что в нем?

Котя отвел доску дальше и, легко проскользнув в щель, очутился в соседнем саду. Прячась за стволами деревьев, мальчик приблизился к особняку. Все окна, кроме одного, были заколочены досками. Видимо, особняк был уже давно покинут хозяевами и стоял, холодный, заброшенный, в ожидании, что кто-нибудь откроет его заново, как Колумб Америку. Котя обошел здание вокруг — совершил кругосветное путешествие, — потом вернулся и, привстав на цыпочки, заглянул в единственное незабитое окно. Он увидел большую полутемную комнату, посреди которой горела маленькая чугунная «буржуйка». У огня сидел сутулый человек в шинели и занимался каким-то делом. Котя привстал еще выше и увидел, что человек чистит оружие. Перед ним лежало две горки револьверов. Он брал револьвер, неторопливо протирал его тряпкой, потом пыжевал коротким шомполом и, прищурив глаз, смотрел сквозь ствол на огонь. Чистое оружие человек клал в другую кучку.

Во всем облике этого человека, который, как привидение, поселился в заброшенном доме, было что-то зловещее, недоброе. Некоторое время мальчик наблюдал за его работой. Потом отошел от окна и, соблюдая предосторожность, вернулся к щели забора. Он еще раз оглянулся на желтый

облезший домик, отвел доску в сторону и тут лицом к лицу столкнулся с Икаром.

— Икар!

— Котя! Вы в Питере?

— Икар, куда вы пропали? Я думал, с вами что-то случилось?

— Целая история! — воскликнул юноша. — Потом расскажу. Как я рад вас видеть.

— И я вас часто вспоминал, — сказал Котя.

Так они разговаривали на границе между садом Буфф и садом таинственного особняка.

И вдруг Икар спросил:

— Что вы здесь делаете?

— Послушайте, Икар! Там какой-то человек чистит оружие. Он похож на привидение.

— Вы верите в привидения? — спросил Икар, сiallyсь улыбнуться.

— Когда привидение чистит револьверы, верю, — ответил мальчик. — Надо немедленно пойти и рассказать... об этом привидении.

— Подождите! — воскликнул Икар, закрывая путь в сад Буфф. — Я сейчас схожу и посмотрю. А вы ждите меня.

— Хорошо, — согласился Котя.

— Дайте слово, что будете меня ждать.

— Честное благородное... — неуверенно сказал мальчик. — Но зачем вам ходить? Вас могут убить.

— Ничего. Я осторожно. Ждите меня здесь.

С этими словами он шагнул в сад с заброшенным особняком, а Котя вернулся в Буфф.

— Я пока поиграю в кегли, — сказал он вслед Икару. — Будьте осторожны!

Вместо ответа Икар помахал рукой и зашагал к желтому особняку.

Когда Икар подошел к желтому домику и заглянул в

окно, там никого не было. И «буржуйка», стоящая посреди комнаты, не горела. Может быть, Котя на самом деле видел привидение, которое к приходу его, Икара, исчезло. Юноша еще раз обошел особняк, взобрался на низкое крыльцо и постучал в дверь. Ему долго не открывали, а он стоял перед дверью и прислушивался.

Неожиданно дверь отворилась, перед ним стоял человек с револьвером в руке. Икар не мог разглядеть его лица, да и не до того ему было, когда пистолет, нацеленный в упор, в любое мгновение мог выстрелить.

— Не стреляйте, — пробормотал юноша, — я свой. Я — юнкер...

И тут произошло то же самое, что полгода тому назад на сеновале в деревне Панево. Тот, кто угрожал ему револьвером, оказался его Виктором.

— Виктор?!

— Тихо, — шепотом сказал брат. — Заходи быстро и закрой дверь. Тут какой-то тип... ходил.

Икар проделал все, что велел брат. Некоторое время они стояли и молча разглядывали друг друга, словно не были уверены, что они те самые, за кого принимали друг друга.

— Я рад, что ты выбрался из этой истории, — наконец сказал Виктор.

— Ты бросил меня, а сам улетел. Красные могли меня шлепнуть!

Брат усмехнулся:

— Но ведь не шлепнули! А если бы я остался? Нас бы наверняка уже не было в живых. Ты должен понять меня правильно.

— Я пытался, — сказал Икар, — ничего у меня не получалось. Уж лучше бы умереть вместе.

— Брось! Это мальчишество. Вместе надо бороться!

Заметно прихрамывая, брат зашагал по комнате. Икар последовал за ним.

— С кем это ты так громко объяснялся у забора? — спросил брат, садясь в темный угол.

— Это Котя. Я тебе рассказывал о нем. Мальчик. Артист.

— Артист?

— Еще он стихи пишет.

Икару очень хотелось, чтобы брат проникся его симпатией к Коте. Доверился ему. Но тот холодно спросил:

— Он видел меня?

— Да, — ответил Икар. — Понимаешь, он принял тебя за привидение.

— Ладно. Сейчас не до шуток. Он видел оружие?

Икар ответил не сразу. Он хотел соврать брату. Но сказал правду:

— Видел. Но он никому не скажет. Это я беру на себя. Он очень порядочный мальчик. Из хорошей семьи...

— Мы все из хорошей семьи, — мрачно сказал Виктор. — Его надо убрать.

— Он уйдет, — с готовностью сказал Икар. — Он сейчас уйдет. Я уведу его.

— Его надо убрать совсем, — жестко сказал Виктор и разрубил воздух ребром ладони.

— Как... совсем? — Икар все еще не понимал, чего от него хочет старший брат.

— Здесь склад оружия. Здесь явка. А этот твой новый явленный Пушкин... Словом, у тебя есть оружие?

Икар покачал головой.

— Зачем оружие?

— Ты юнкер или баба? — забыв о предосторожности, крикнул Виктор и сунул в руку брата револьвер. — На, держи. Уведи его в глухой конец сада. И без рассуждений!

Икар отвернулся. Потом, не поднимая головы, спросил:

— Зачем ты вернулся в Петроград?

— За тобой! — ответил Виктор. — Будем вместе. Вместе мы — сила. Но нас могут пристрелить, как щенков.

Пойми это! Иди! Иди! Пока этот вундеркинд не сообщил в ЧК обо мне, а заодно и о тебе. Или ты за это время продался красным?

— Виктор! — Икар резко повернулся к брату. — Уйдем отсюда. Уйдем куда-нибудь подальше.

— Я не дезертир. Я связан словом. Мы еще зальем Питер кровью. Оружие есть, люди тоже... — Он оборвал свою речь на полуслове и вдруг схватил брата за плечи и с силой потряс его. — Иди! Быстро!

Он буквально вытолкал брата за дверь. Очутившись на крыльце, Икар, прищурясь, посмотрел на солнце и, вдруг вспомнив, что в руке у него револьвер, проворно сунул его в карман куртки.

Яшечкин шел по городу. Мимо дворцов, над которыми развевались уже успевшие выгореть и выцвести красные флаги. Мимо львов, каменных и бронзовых, добродушно смотревших на солдата и не боявшихся его винтовки. Он шел по мостам, ровным и горбатым. Звенел подковками по круглым пористым булыжникам и каменным плитам тротуаров. Винтовка с непривычки оттягивала ему плечо. И боец думал о том, что скоро расстанется с ней и, наверное, будет скучать по этой надежной тяжести.

В руке у него была зажата Котина записка со стихотворением, которую Яшечкин намеревался хранить долго-долго, чтобы, когда выучится грамоте, прочесть самому. Это очень здорово — обходиться без «красного платочка», водить по бумаге пальцем и читать. Тогда и без ружья будешь чувствовать себя человеком.

У какого-то низкого окошка боец остановился и поглядел на свое отражение, провел ладонью по подбородку: «Надо бы побриться, а то зарос, как домовый». И снова его подковки зазвенели по каменным плитам. Им бы звенеть чуть почаще, ему бы прибавить шагу. Но боец разнежился на весеннем солнышке.

...Котя наклонился над газоном, где множеством зеленых точек проклюнулась трава, и увидел подснежник. Мальчик обрадовался этому хрупкому голубовато-белому цветку. Хотел сорвать его, да пожалел. «Надо будет завтра перед спектаклем привести сюда маму и показать ей подснежник».

И тут появился Икар. Котя выпрямился, вопросительно посмотрел на приятеля.

— Ну конечно же, нет никаких привидений. Никакого оружия! — стараясь казаться веселым, проговорил Икар.

Но Котя покачал головой:

— Там был человек. Я точно видел. И оружие видел. Много.

— Откуда может быть оружие? Ведь Юденича разбили. Война кончилась.

— На днях белые убили комиссара. На улице, из-за угла, — сказал мальчик. — Значит, война не кончилась. Может быть, этот человек и убил.

— Котя! Я прошу вас. Забудьте обо всем, что вам... привиделось.

— Я должен пойти рассказать. Это наверняка белый.

Икар был расстроен. Он не знал, что делать, как сломить упорство этого удивительного мальчика. Карман куртки неприятно оттягивал револьвер.

— Зачем это придумали — красные, белые... — пробормотал он.

— Чтобы отличить друзей от врагов, — ответил Котя.

— Разве у вас есть враги?.. Котя, вы должны мне дать слово. Поклясться, что никому не расскажете про это... привидение.

Котя покачал головой.

— Ради нашей дружбы!

— Ради дружбы делают только честные дела, — ответил мальчик и собрался уходить.

Но Икар не отпускал его, он все хотел вырвать у мальчика клятву. Он хотел спасти своего маленького друга. И так он уже столько раз обманывал его. Ему хотелось вынуть из кармана револьвер и забросить его в Фонтанку. Пусть идет ко дну.

Но он не мог этого сделать. Он был связан с братом. С его злобой и беспощадностью.

— Котя, я прошу вас! Котя!

И вдруг послышался слабый треск, доска в заборе отошла в сторону и перед Котей и Икаром возник худой человек с серым лицом и ввалившимися глазами. Он шел, прихрамывая, прямо на них. В руке у него был зажат револьвер.

Икар невольно заслонил собой Котю.

— Отойди! — скомандовал Виктор, поднимая руку с оружием.

Тогда Икар повернулся к Коте.

— Котя, я прошу вас, поклянитесь мне... ему... И все обойдется.

— Отойди! Я дважды не повторяю!

Икар отшатнулся в сторону:

— Котя! Котя... прошу!

Котя почувствовал, что сейчас произойдет что-то страшное. Такое, как там, у деревни Панево, когда белый пилот угонял аэроплан.

Если бы рядом был Яшечкин! В какое-то мгновение мелькнула мысль — убежать! Но он понял, что бежать некуда. Он окружен врагами. И тогда он поглубже вздохнул и посмотрел прямо в лицо озлобленному хромому человеку. Он хотел увидеть его глаза, но увидел только один глаз. Маленький, черный, железный.

Грохочущее пламя обожгло грудь, сердце, лицо. Деревья покачнулись и стали проваливаться в темную бездну.

И весь мир, с весением солнцем, с запахом земли, с невской свежестью, опрокинулся и растворился в густой, топкой темноте.

Ящечкин услышал выстрел у входа в сад Буфф. Боец сразу почувствовал что-то недоброе. Привычным движением сорвал с плеча винтовку и побежал вглубь. Бежать ему было трудно. Деревья расплывались в глазах. От слабости солдата качало из стороны в сторону. Он увидел сутулую фигуру в шинели, которая, хромая, поспешно удалялась в глубь сада.

— Стой! — крикнул красноармеец. — Стой, стрелять буду!

Фигура прибавила ходу. И тогда Ящечкин вскинул винтовку, прицелился и выстрелил. Фигура замерла, уперлась в забор руками, словно хотела свалить его, и вдруг медленно стала сползать на землю. И тут боец увидел Котю. Он лежал на земле, словно не погиб, а уснул. Рядом с его щекой рос весенний первоцвет, голубовато-белый подснежник...

11

А театр готовился к спектаклю. В зале уже зажглись тусклые лампы, и публика заполняла места. В театре было прохладно и гардеробом не пользовались, сидели в пальто, в шинелях, в бушлатах.

От дыхания шел пар. И все-таки здесь был настоящий театр, а не вокзал. Сюда приходили без винтовок, и у подъезда не стоял бронепоезд под парами.

Уже пора было начинать спектакль, но артисты почему-то медлили.

Публика не волновалась: все привыкли к перебоям военного времени. К перебоям с электричеством, с дровами, с хлебом...

В зале говорили вполголоса, и было сравнительно тихо.

Зато за кулисами, вдали от сцены, голос Николая Леонидовича звучал в полную силу.

— Это вопиющее безобразие! Вот до чего довела Котю его самостоятельность. Он опаздывает на спектакль. Потомственный артист!

— Он же ребенок! — пытался урезонить директора бывший артист императорских театров.

— Он артист! У артистов нет возраста! Они служат в театре.

— Коля, что ты говоришь?! — вмешалась в разговор Котина мама. — Он сейчас придет. Он всегда приходит к спектаклю.

Николай Леонидович тяжело опустился на стул и уже в который раз достал из кармана часы, щелкнул крышкой.

В это время дверь открылась, и в комнату вошел администратор, подталкивая вперед мальчика. Мальчишка был рыжий, с большими круглыми глазами, в которых застыли страх и любопытство.

— Вот нашел мальчика... добровольца. На случай, если Котя задержится!

— Гримируйте мальчика! — скомандовал Николай Леонидович. И, повернувшись к нему, спросил: — Боишься?

— Боюсь! — честно признался артист-доброволец.

— Молодец! — похвалил его Котин папа. — Я, когда в первый раз шел на сцену, думал — умру от страха.

— А реветь там можно? — совсем тихо спросил мальчик.

— На сцене нельзя. А здесь уже нет времени. Потом поревешь. Давайте третий звонок!

И он стал объяснять мальчику, что он должен делать на сцене.

Едва отзвенел звонок — сигнал к началу спектакля, —

как лампочки в зале зажмурились, потом совсем погасли.

Занавес медленно поплыл влево и вправо. Артисты вышли на сцену.

— Мы вам покажем представление из французской жизни...

И вдруг в зале, в тихом замершем зале, слышались неторопливые, тяжелые шаги.

Зрители невольно оглянулись, а артисты, прикрываясь ладонями, как от бьющего в глаза солнца, тоже стали всматриваться.

По залу в проходе между кресел шел красноармеец и нес на руках мальчика.

Сперва в зале подумали, что так полагается по спектаклю. И кто-то даже хлопнул в ладоши. Но в следующее мгновение всех, и зрителей и артистов, охватило ощущение беды. Потому что красноармеец был настоящий, а у мальчика безжизненно запрокинулась голова и рука повисла.

Это Яшечкин нес по залу своего маленького погибшего друга. Бойца качало от слабости, от усталости, но он шел из последних сил, прижимая к шершавой шинели мальчика. Так он дошел до конца зала и положил Котю, очень осторожно положил, на край сцены.

— Котя!.. — прошептали все, кто был на сцене.

— Котя! — крикнул отец и растерянно обвел всех взглядом. — Нет, нет! Наверное, нужен врач. Товарищи, — обратился он к зрителям, — среди вас нет ли врача? Мальчику плохо...

А мама уже стояла на коленях у изголовья сына не в силах поверить тому, что случилось.

— Не надо врача, — тихо сказал Яшечкин: — Не успел я...

Больше он ничего не сказал, только поднял тяжелую руку и стянул с головы фуражку со звездочкой.

И сразу все, кто был в зале, поднялись с бархатных кресел и стали поспешно снимать кто бескозырку, кто фуражку. А артисты на сцене сняли фригийские колпаки и шляпы, какие простые люди Франции носили во времена революции.

Кто-то подошел к Коте и накрыл его красным флагом.

И все поняли, что война не кончилась. Война между красными и белыми. Не на жизнь, а на смерть. И Котя был в этой войне бойцом. А у бойцов нет возраста.



НЕПОСЛУШНЫЙ МАЛЬЧИК ИКАР

Если вы ушибете коленку или разобьете локоть, помните, что на свете есть замечательное средство от ушибов и ран — арника. Мажьте арникой разбитые колени и локти — чудодейственная мазь мгновенно затянет все раны. Арника — древнее средство. Падая с мельничного крыла, приходя в себя после стычки с трактирщиками, Дон Кихот доставал темную склянку и, сетуя на людскую несправедливость, густо смазывал арникой синяки, царапины, ссадины.

Микоша лежал на горячей гальке и морщился от боли. Сердце, как кулак, било изнутри в грудь. Плечи поднимались и опускались. Все тело было исцарапано и ободрано, словно побывало в когтях тигра.

Тощий, чумазый, покрытый несмываемой коркой загара и грязи, Микоша походил на пещерного жителя, который спит на охапке сухой травы и не знает о существовании подушек и белых простыней. Подстриженные под нулевой

номер, его волосы были колючими, как наждачная бумага, а на лице выделялись неестественно большие глаза. Не глаза, а глазищи. Глазенапы!

Микоша повернулся на бок и застонал...

Все произошло неожиданно и обидно. В зарослях дроков, на высоком откосе, он встретил девчонку с розовым безбровым лицом, с широко расставленными глазами и круглым ртом. Девчонка была похожа на печальную рыбу-солнце. Микоша рассмеялся, а его глаза бесцеремонно разглядывали незнакомку.

— Ты откуда такая? — басом спросил он: голос у него был густой и низкий.

— Я из Колодулихи, — ответила девчонка, и лицо ее сильнее порозовело. — А ты?

— Из дупла! — выпалил Микоша и кивнул на большое дерево, обгоревшее от попадания молнии.

Микоша насмешливо смотрел на девчонку из Колодулихи.

— Знаешь, какой у меня палец? — спросил он и выставил вперед грязный палец с обкусанным ногтем.

— Какой? — простодушно поинтересовалась девчонка.

— Железный. Как гвоздь. Не веришь?

С этими словами Микоша ткнул девчонку под ложечку. Девчонка согнулась. Он сорвал у нее с головы пилотку — белую с черной стрелой — и бросился бежать. Девчонка побежала за ним.

— Отдай пилотку!

Но где ей было догнать верткого, пружинистого Микошу, который ловко прыгал с камня на камень, хватался руками за ветки и стремительно спускался к морю. Желтые цветы дроков мелькали перед лицом и задевали за щеки. Прибойный шум моря гудел в ушах.

И вдруг Микоша оступился. Потерял равновесие, сорвался. И полетел вниз со склона, обдираясь о сучья, колючки, о каменистую шершавую землю... Теперь он лежал

на гальке, тонкий и вытянутый, как ящерица. Тело горело...

Мажьте арникой разбитые локти и колени — чудодейственная мазь мгновенно затянет все раны... Но где раздобыть древнюю спасительную мазь на пустынном берегу? Море с треском перекачивало камушки. Оно дышало слабой прохладой.

Иногда длинная волна доползала до Микоши, мочила ему ноги.

Неожиданно по гальке скользнула тень, и чей-то голос спросил:

— Ты... жив?

Микоша поднял голову и увидел круглолицую девочку.

— Я думала, ты поломал ноги, — спокойно сказала она.

Микоша вскочил на ноги.

— У тебя крепкие кости, — заметила жительница Колодухи.

Микоша крикнул:

— Уходи отсюда!

Девчонка не двинулась с места.

Микоше стало еще обиднее, что он сорвался с откоса, что перед ним стоит девчонка со смешным лицом, что она издевается над его костями. Он почувствовал, что сейчас заплачет, и, чтобы спастись от позора, скинул рваную рубаху и, не оглядываясь, бросился в море.

И сразу вода потушила боль, закрывала раны. Микоша плыл, забираясь на гребни волн и плавно скатываясь с них. Потом он устал плыть, повернул к берегу и чуть не захлебнулся от неожиданности: в нескольких метрах от него, из воды, выглядывала широколицая рыба-солнце.

Микоша выплюнул горькую воду и пробасил:

— Чего тебе надо?

— Я устала, — тихо произнесла рыба-солнце. — Не отплывай от меня далеко.

Девчонка дышала с трудом, и капли морской воды блестели на ее бесцветных ресницах. Микоша ничего не ответил и саженьками поплыл к берегу, желая показать, что он зол и ему безразлично, что произойдет с девчонкой. Но временами он все же оглядывался. Волны поднимали и опускали розовое безбровое лицо.

Девчонка неумело выбрасывала руки вперед. До самого берега она ни разу не пожаловалась, не попросила о помощи. Зато, выйдя из воды, сразу опустилась на гальку и долго глотала воздух круглым ртом, как выброшенная на берег рыба.

Потом она отдышалась и сказала:

— У нас в Колодухихе нет моря. Речка у нас есть. Не глубокая.

Микоша сидел в мокрых трусах и ждал, когда она уйдет. Но девчонка никуда не собиралась уходить.

— У меня есть йод. — Она кивнула на санитарную сумку.

Микоша стал сверлить ее глазами.

— Врешь?

— У меня с собой аптечка...

Действительно, на гальке рядом с платьем лежала небольшая брезентовая сумка с красным крестом.

— Мажь! — скомандовал Микоша.

Девчонка поднялась с гальки. Достала пузырек с йодом. И принялась за дело. Она проводила бурой ваткой по ранам. Микоша сжимал кулаки и терпел.

— Я бы заревела, — призналась девчонка, когда на руках и на плечах Микоши появились бурые пятна и резко запахло йодом.

— Мажь!

Микоша чувствовал себя так, будто снова сорвался с откоса и снова ободрался до крови. Он морщился и сердито

смотрел на девчонку. Ее розовое лицо ничего не выражало. Оно было смешным.

— Терпишь?

Микоша скрипнул зубами.

— Я тебе еще коленку помажу... Ты местный?

Микоша молчал.

— А я из Сибири приехала в лагерь... Меня зовут Шура, Шуренция... Я здесь скучаю... по Гале.

— Кто эта Галя?

— Корова.

— Корова? — Микоша уставился на девчонку.

— Корова. Она ходит за мной, как собака. Все понимает.

— Бодается?

— Нет, смирная. Хорошая корова.

Микоша умолк. Он пытался представить себе, что у него тоже есть корова, по которой он скучает.

— Если бы у меня была корова, — пробасил он, — я бы играл с ней в корриду.

— А без коровы нельзя играть в корриду?

— Лучше с быком... Я бы сделал красную мулетту... Что ты глаза вылупила? А знаешь, что такое тореадор?

— У нас в Колодулихе нет тореадоров, — призналась девчонка.

— Красная мулетта, — продолжал Микоша, — для того, чтобы раздражить быка. Бык не любит красного.

— Точно, не любит, — подтвердила Шуренция.

— Бык бросается на мулетту, а тореадор делает шаг в сторону.

Микоша поднял рубашку и выставил ее вперед на вытянутых руках, как это делают тореадоры:

— Беги на рубашку!

Шуренция побежала к мальчику.

Микоша ловко отскочил в сторону. Девочка пробежала

мимо и упала. Но тут же поднялась на ноги. На розовое лицо налипли гречневые крупинки песчинок.

— Бык может поднять на рога, — сказала Шуренция, стирая с лица песчинки. — У нас бык одного пастуха поднял. Три ребра сломал.

— Когда бык разъярится, — Микоша сверлил глазами девчонку, — тореадор берет в руки шпагу и идет навстречу.

— Зачем?

— Чтобы нанести решающий удар.

Шуренция непонимающе посмотрела на Микошу:

— Что он, мясник?

Микоша презрительно свистнул.

— Мне надо идти, — сказала Шуренция. — Наш разведотряд в конце виноградника, у сухого дуба.

Девочка быстро натянула платье. Надела на голову белую пилотку с черной ломаной стрелой, подхватила санитарную сумку и скрылась в зарослях дроков.

Микоша крикнул ей вслед:

— Хочешь, подарю тебе марку с быком?

Но она не услышала его голоса, потому что низко над землей раздался оглушительный гул и, размахивая лопастями, как у ветряной мельницы, над кромкой моря пролетел вертолет. Его тень скользнула по берегу, и воздух на мгновение стал плотным. Микоша побежал за тенью. Вертолет развернулся и ушел в сторону виноградника.

Микоша натянул на горящее тело рваную рубашку и зашагал вдоль берега. Он отыскал родничок, который булькал в расщелине скал и стекал в море. Микоша наклонился и стал пить, ловя холодную струю губами. Вода текла по подбородку и захлестывала нос, а «пещерный житель» все не мог оторваться от струи. Она пахла талым снегом и, может быть, начиналась на другом конце света, где рыбаки не умеют плавать, потому что даже летом вода в море ледяная... Там сейчас не заходит солнце, над тундрой висят тучи комаров, а к концу лета поспеет морошка... Микоша

перестал пить, опустил в поток руку и стал перебирать пальцами, словно хотел поймать рыбу... печальную рыбу-солнце.

И тут его окликнул мальчишка со слипшимися волосами:

— Эй, ты! Не видел, куда пошла девчонка... такая круглолицая...

Парень тяжело дышал и все время подтягивал штаны.

— У нас тут военная игра, а она пропала... ее ищут...

Микоша встал и опустил в поток босую ногу.

— Если она не найдется... ей нагорит, — сказал парень и поставил ногу на большой круглобокий камень, на котором тут же отпечаталась его мокрая ступня.

Парень взялся за камень. Но поднять его не смог.

— Слабак! — сказал Микоша. — Подтяни штаны.

Парень послушно подтянул штаны.

— Она пошла в конец виноградника, к сухому дубу.

— К сухому дубу... я так и знал, — буркнул парень и побежал в гору.

Микоша опять наклонился к роднику. Пить ему не хотелось. Он опустил в ледяную воду маленький облупившийся нос.

Наверное, пахнувшая талым снегом струя текла по темной подземной жиле через всю страну на юг, чтобы передать Микоше привет от родных краев.

2

Напрасно считают, что друзья должны быть одногодками. Можно дружить с человеком, который вдвое старше тебя. Дело не в возрасте. Иногда старики бывают молодыми, а молодые — стариками.

Микоша дружил с Павлом. С тем самым Павлом, который только что пролетел над берегом на гремющем вертолете. Вертолет рассыпал на виноградники удобрения, по-

ливал зеленую лозу ядохимикатам, а когда ударяли заморозки, окутывал побеги густым теплым дымом. Он работал в колхозе, как трактор, только передвигался не по земле, а по небу.

Павел слегка прихрамывал, и на руках у него были темные шрамы. Еще недавно он был военным летчиком, летал на сверхзвуковых истребителях-перехватчиках. Он готовился в отряд космонавтов. Но потерпел аварию. Разбился. Еле выжил. И был по всем правилам комиссован — «уволен из вооруженных сил по состоянию здоровья».

Был боевым летчиком, стал колхозником, — посмеивался над собой Павел и тут же добавлял: — Но я еще летаю в космос.

«Черта с два ты слетаешь на переломанных ногах, — думали про него люди. — Новые ноги не поставишь».

«Поставлю!» — думал про себя Павел.

Он бегал, плавал, прыгал и к исходу дня падал на койку. Ночью Павел постанывал от боли. Но утром начинал все сначала. Он был приземистый, коротконогий и короткорукый. Ходил вразвалочку — хождение по земле было для него чем-то неестественным.

Один Микоша верил, что Павел добьется своего. Он дружил с Павлом.

Когда Микоша, весь ободранный, в бурых пятнах йода, появился на вертолетной площадке, навстречу ему катилось колесо, сделанное из двух огромных обручей. Внутри колеса стоял Павел. Его руки и ноги превратились в крепкие спицы, а голова шла кругом.

— Эге-ге! — крикнул Микоша.

Колесо остановилось. Павел стоял вверх ногами.

— Поставь меня на ноги! — сказал он.

Микоша сделал поворот. Павел шагнул на землю.

Э-э, брат, да ты на кого похож? Подрался?

Микоша покачал головой.

— Сорвался.

Павел прищурил глаза и с расстановкой произнес:

— Если вы ушибете коленку или разобьете локоть, помните, что на свете есть замечательное средство от ушибов и ран — арника...

И Микоша тут же подхватил:

— ...Мажьте арникой разбитые локти и колени — чудодейственная мазь мгновенно затянет все раны.

Павел быстро полез в кабину вертолета и через минуту вернулся с темной склянкой.

Микоша стянул с себя рубаху, и Павел осторожно, чтобы не причинить боль, стал смазывать раны друга целебной мазью.

Согретая солнцем мазь стекала с плеч на ключицы и на лопатки.

Микоша морщился, а Павел приговаривал:

— До свадьбы заживет!

И сочувственно улыбался.

Когда Микоша на липкое тело надел рубашку, Павел спросил:

— Полетим бомбить черепашку?

Микоша мотнул головой.

— Забирайся в кабину!

Кабина была нагрета солнцем, и первое время в ней было трудно дышать. Но когда заработал двигатель и огромные мельничные крылья-лопасти с грохотом завертелись над вздрагивающим телом вертолета, сразу стало прохладней.

Машина сделала плавный прыжок, и ее стремительно потянуло ввысь. Жутковатая легкость хлынула к Микоше. Он сразу забыл про ранки, про розоволицую рыбу-солнце. А внизу уже строчка за строчкой проплывали ровные шпалеры виноградника.

— Добавить обороты! Ручку на себя! — вслух скомандовал Микоша.

В грохоте двигателя Павел не услышал голоса своего маленького друга, однако обороты добавил и машину поднял еще на один воздушный этаж, потому что всегда так делал перед разворотом над краем виноградника. И тут Микоша снова взглянул на землю и увидел большую группу ребят в черных пилотках с белыми стрелами. Они шли, окружив кольцом четыре белые пилотки.

Странное предчувствие овладело Микошей. Он потянул Павла за рукав и показал ему на ребят. Павел принял сигнал и, развернувшись, низко прошел над зеленой лозой. И Микошины глаза — всевидящие глазенапы — увидели девочку с лицом, похожим на печальную рыбу-солнце... Он услышал приглушенный звук холодного родника, услышал голос парня со слипшимися волосами: «У нас тут военная игра, а она пропала... ее ищут...» Парень вытирал лицо черной пилоткой, а у Шуренции была белая пилотка. И он, Микоша, сказал: «Она пошла в конец виноградника, к сухому дубу». И этим «сухим дубом» он выдал ее «врагам».

Когда вертолет сделал еще один круг, Микоша увидел, как Шуренцию запирают в сарай. И ставят часового в черной пилотке с белой ломаной стрелой...

А вертолет летал взад-вперед над зелеными шпалерами, и за ним, сверкая на солнце, тянулся капельный веер ядовитой жидкости, которая уничтожала зеленого вредителя — черепашку.

Разведотряд белых пилоток был утром этого дня заброшен в тыл противника и обосновался в конце виноградника, у сухого дуба. Трое ребят и Шуренция должны были обнаружить главные силы противника — черные пилотки — и сообщить об их продвижении.

Полный, мешковатый Степа, с маленькими колючими глазами, залег в кустах, остальные разведчики двинулись

в разных направлениях. Командир разведотряда — крепкий лобастый парень Азаренок — направился к поселку Белый, не успевший загореть Толя, с очками, висящими на груди, как полевой бинокль, двинулся в ущелье. Шуренции было приказано пробраться к морю.

Когда она вернулась, все были уже на месте. Никто противника не обнаружил. И было решено передохнуть и двинуться в горы — на седло.

— Может быть, перекусим? — предложил Степа.

— Рано, — сказал Азаренок.

Степа поворачал, но настаивать не стал. Ребята лежали в траве под кустами.

— У нас в Колодулихе не растет виноградная лоза и в сельпо виноград не привозят, — задумчиво сказала Шуренция. — Зато у нас трава сочная, а здесь сухая и колючая. Корова есть не станет.

В это время кусты вокруг зашевелились, ожили. И четырех разведчиков окружило человек двадцать ребят в черных пилотках.

...Микоша относился к той странной породе людей, которые лезут в окно, хотя никто не запирает от них двери. Они пробираются сквозь колючие заросли, купаются между скал и под проливным дождем выходят из дома.

Таких людей недолюбливают. Их пытаются переделать — сделать нормальными. Напрасно! Они так замешаны самой природой, ничего тут не поделаешь. Дед называл Микошу «пещерным жителем». Дед не любил Микошу. Он терпел его ради Марии — Микошиной мамы.

Утром за дедом приходила машина. Шофер Коломийцев, худой, тщедушный, в старой фуражке военного образца, ходил вокруг машины и ждал. Иногда к Коломийцеву выбегал Алик — Микошин двоюродный брат. И каждый раз Коломийцев спрашивал Алика:

— Кто у нас бог, царь и воинский начальник?

И Алик отвечал:

— Деда!

— Правильно! — говорил Коломийцев и шурился — улыбался.

Потом появлялся дед — высокий, грузный, бритоголовый. Три складки на прямом затылке. Нижняя губа недовольно оттянута. Коломийцев подносил руку к козырьку и спрашивал:

— В правление?

Дед не отвечал. Он чмокал Алика в щеку и говорил:

— Беги к бабке.

Алик растирал ладонью поцелуй деда и шел домой. Машина уезжала.

К трем часам дед приезжал обедать.

На этот раз он застал Микошу в плачевном виде — ободранного и побитого.

— Что это за чучело? — сердито спросил дед.

Микоша промолчал.

— Кто тебя разукрасил?

— Сам, — под нос буркнул Микоша.

— Оставь его, дед, — вмешалась тихая бабушка, — на нем и так живого места нет.

— Пещерный житель! Вроде этого вертолетчика Павла!

— Он скоро уедет, — сказал Микоша. — Его скоро вызовут в отряд космонавтов. Он полетит...

— Он у меня скоро в трактористы полетит, — перебил внука дед. — На днях чуть вертолет не разбил... Загрузил его камнями...

— Он грузоподъемность выжимал.

— «Грузоподъемность»! Его голова столько не стоит, сколько вертолет! Что ты на меня уставился?.. Ешь!

— Не хочу есть.

— Ешь без разговоров!

Микоше и в самом деле не хотелось есть. Плечи, руки, ноги охватила зудящая боль. Чудодейственная мазь арника не оказывала мгновенного действия. Но сильнее этой боли Микошу мучило сознание того, что он сказал парню со слившимися волосами про сухой дуб — выдал «врагам» Шуренцию и ее друзей. То, что «враг» был не настоящий и что все это произошло в военной игре, а не в бою, не умаляло Микошиной вины перед Шуренцией и перед самим собою.

— Ты что-то бледный,— сказала бабушка,— пойдри приляг.

— Хорошо,— согласился Микоша и встал из-за стола.

Но лечь не стал, а вышел на улицу и зашагал в сторону виноградника...

В пустом темном сарае пахло сырой глиной и сухими листьями. Свет почти не проникал сюда, но зато и плотный, южный жар оставался за воротами, и в сарае удерживалась легкая прохлада. Пленные разведчики сидели на полу, прислонясь к стене. Азаренок насвистывал песенку. Степа дремал. Шуренция смотрела на тонкий солнечный луч, в котором спирально кружились пылинки, делая пучок света похожим на вращающееся сверло.

Толя обследовал сарай. Он спрыгнул откуда-то с верхней балки и сказал:

— С крышей ничего не получится. Крыша шиферная, крепкая. Придется делать подкоп.

— Откуда они узнали про сухой дуб? — сам себя спросил Азаренок.

— Болтун — находка для шпиона,— тонким голоском произнес толстый Степа.

— Какой болтун? — спросил Толя.

— Не знаю,— ответил Степа, и в сарае установилась гулкая, напряженная тишина.

— Я болтун,— неожиданно сказала Шуренция, я сказала Микоше про дуб.

Ребята молчали. И Шуренция, чтобы нарушить эту гнетущую тишину, продолжала рассказывать:

— Он сорвался со скалы... Я думала — убили нас — смерть... Но у него крепкие кости...

И снова тишина. И по-прежнему никого не интересует Микоша и его кости. Или рассказать им про корриду?

В это время ворота сарая распахнулись, неожиданный, бьющий в глаза свет заставил всех зажмуриться, и густая волна перегретого на солнце воздуха хлынула в хранилище прохлады.

— Пленники, обедать!

На пороге стояли двое ребят в черных пилотках с белыми ломаными стрелами. Один держал дымящуюся кастрюлю с кашей, другой — хлеб, миски, ложки.

— Хорошо,— отозвался Степа.

— Ничего хорошего,— перебил его Азаренок.— Убейтесь со своей кашей. Разведотряд объявляет голодовку!

— А каша хорошая, с маслом,— простодушно сказал тот, что держал теплую кастрюлю.

— Мы вам кашу оставляем,— рассудительно сказал другой.— Хотите — ешьте, хотите — голодайте. Наше дело маленькое.

Ворота закрылись. Снова стало темно и прохладно. Только теперь к запаху глины и сухих листьев прибавился новый, ласковый и манящий, запах горячей каши.

Через некоторое время в темноте послышался тихий стук ложки и почавкивание.

— Степа!

— Ага!

— Что ты делаешь?

— Ем кашу. Хотите? Тут много.

И снова застучала ложка.

— В морду бы тебе дать! — сказал Азаренок.

А ложка все стучала.

Микоша сидел на камне, упершись подбородком в поджатое колено. Он смотрел на горизонт и ждал, когда стемнеет. Он решил во что бы то ни стало освободить из плена Шуренцию и ее друзей. Теперь девчонка из далекой непонятной Колодулихи уже не казалась ему смешной. И ее широкое розовое лицо возникало в его памяти не смешным, а печальным. Он смотрел на накатывающие волны и ждал, что это лицо покажется в волнах. И капли морской воды будут блестеть в уголках рта.

В это время со стороны моря донесся ритмичный, приглушенный стук двигателя. Это под военно-морским флагом шел буксир. За ним, покачиваясь на волнах, двигалось странное судно — без надстроек, без мачт, без вооружения. Его корпус был окрашен ядовито-красным суриком. Местами на раскаленном борту чернел след огня.

Микоша узнал корабль. Это был бывший эсминец «Бдительный», который в дни войны ходил на Констанцу и дрался под Севастополем, а теперь был превращен в корабль-цель. Обгоревший, пробитый снарядами корабль напоминал Микоше о его боли. Сейчас корабль уплывал в ночной бой — в суровую военную игру, в которую играют взрослые и от которой содрогается море. В этой игре корабль-цель заменяет врага. Вернется ли он из этого боя?

Корабль плыл медленно и спокойно, и в его облике были неустрашимость, достоинство и готовность принять на себя удар. Микоша провожал его глазами и впервые испытывал не жалость, а новое чувство, наполнявшее его силой и решимостью.

Микоша оторвал глаза от корабля-цели и оглянулся. На скалистом берегу, высоко над морем, на белом коне застыл темнобородый всадник в морской фуражке, надвинутой на глаза. Это лесничий Иван Васильевич, бывший ко-

мандор эсминца «Бдительный», провожал свой корабль в ночной бой.

В темноте шпалеры виноградника кажутся застывшими волнами. И на широких листьях дрожит лунная дорожка. Микоша шел через виноградник. Он подныривал под шпалеры, шуршащие листья задевали плечи, проводили по лицу влажными тонкими ладонями.

Худая верткая фигура мальчика то появлялась на лунной дорожке, то сливалась с густой листвой и делалась невидимой. Он как бы уходил под воду и снова всплывал, и глаза его светились лунным светом — в каждом зрачке маленькая луна. Микоша спешил на выручку печальной рыбе-солнцу.

Когда Микоша очутился перед сараем, где был заперт разведотряд, часовой сидел, прислонясь к бревенчатой стене, уронив голову на плечо. Пилотка сползла на ухо. Он спал с полукоткрытым ртом, слегка посапывая.

Микоша замер перед воротами. Прислушался. Потом сделал несколько бесшумных пружинистых шагов и очутился рядом с часовым. Скрипнул тяжелый засов, тихо запели петли.

Часовой вздохнул во сне и снова засопел. Микоша зашел в темный сарай.

Никто не откликнулся.

Шуренция!

Неожиданно лицо девочки выплыло из темноты. Оно было совсем близко, и широко расставленные глаза смотрели на него в упор.

Микоша растерялся и сказал невпопад:

Я принес тебе марку с быком.

Никакой марки он не принес!.. Шуренция молчала.

Скорей уходи в горы, пока часовой спит!

— Не нужна мне твоя марка,— сказала девочка.

«Я не виноват... я думал, он ваш... Он мне голову заморочил... Пошли, я провожу тебя в горы.

Девочка ничего не ответила. Ее лицо растворилось в темноте. Послышался шорох. Сдержанные голоса. Потом из сарая выбежал Азаренок. За ним Толя. Неуклюжий зашпанный Степа чуть не споткнулся о часового.

— Бегите в кусты! — скомандовал Микоша.

Он закрыл ворота сарая. Степа и Шуренция ждали его, а Толя с Азаренком уже скрылись в непроглядных зарослях дроков. Часовой вздохнул во тьме и откинул голову к стене.

Откуда-то с моря донесся глубокий раскат артиллерийского выстрела.

Они медленно пробирались по узкой горной тропе, опасливо делая каждый шаг. Впереди — Микоша, за ним — Шуренция. Чуть поодаль, сопя и отдуваясь, шаркал ногами толстый Степа, съевший котелок каши, когда товарищи объявили голодовку. Он, может быть, вообще не пошел бы на горное седло, но страх остаться одному ночью заставил его идти, поторапливал.

Азаренок и Толя пропали. Они, видимо, шли по другой тропе или же дожидались рассвета в надежном укрытии.

Глубокая тьма обступила разведчиков. Она скрыла от ребят горы, кусты, кремнистую тропу, и они шли на ощупь, прислушиваясь к шагам и дыханию впереди идущего. Труднее всех было Микоше. Перед ним никого не было. Он мог оступиться и упасть с отвесного склона. Микоша весь сжался. Его глаза болели от напряжения, а нога неторопливо нащупывала дорогу. Вероятно, Шуренция и этот бурдюк Степа думают, что ему легко, потому что он «пещерный житель» и ему знаком каждый изгиб дороги, каждая выбоинка. Ничего подобного! Микоша с радостью бы остановился, закрыл глаза и сел на придорожный камень. Но он шел. Он боялся, что Шуренция заговорит о сухом дубе.

Иногда, споткнувшись о ребристый корень, Степа тихо бормотал:

— Ничего себе игра! Ничего себе игра...

— Не хнычь! — тихо прикрикивала на него Шуренция.

Рядом скрипели древесные лягушки. Шуршали крыльями ночные птицы. А издалека, со стороны моря, доносились глухие орудийные раскаты и короткие вспышки обжигали край неба. Там шла своя военная игра. Микоша остановился, прислушался и через плечо сказал Шуренции:

— Артиллерия бьет по «Бдительному»... Иван Васильевич не спит.

— Почему бьет? — спросила Шуренция, в темноте натываясь на Микошино плечо.

— Так надо, — ответил Микоша и зашагал дальше.

Они шли бесконечно долго. Делали привал и шли дальше. На каждом привале Степа заваливался на бок, засыпал, и его приходилось расталкивать...

Постепенно темнота ослабла. В ней появились невидимые трещинки, в которые просачивался мутный молочный свет. Кромка неба посветлела. И постепенно, как на фотографической бумаге, положенной в проявитель, стали вырисовываться горы, дорога, фигуры идущих ребят.

— Я сбил себе ноги, — тихо пожаловался Степа. — Я посижу.

— Пусть сидит, — пробасил Микоша. — Мы будем возвращаться по этой дороге.

— Сиди! — скомандовала Шуренция.

Степа сел и стал разуваться. Его узкие глазки воспаленно блестели.

— Ничего себе игра! — бормотал он вслед уходящим ребятам. — Но азбуку Морзе я знаю назубок...

Микоша и Шуренция двинулись дальше. Теперь дорога была хорошо видна, и впереди на фоне синеющего неба

четко вырисовывался плавный изгиб седла. Микоша оглянулся на Шуренцию. Лицо его спутницы оставалось по-прежнему розовым, и комочки бровей придавали ему не проходящее смешное выражение.

Наконец они очутились на седле. И сразу перед их глазами открылась ослепительная панорама гор — серых, зеленых, бурых, заросших лесом и по-зимнему покрытых снегом. По левую руку горы золотились в лучах солнца, словно были политы желтоватым подсолнечным маслом. В пространстве между вершинами плыли сизые прозрачные облака.

— Ой! — воскликнула Шуренция и сжала губы узелком. — У нас в Колодулихе нет таких... гор.

Но Микоше не передавался ее восторг. Он внимательно всматривался в склоны гор, его глаза что-то искали. Наконец он повернулся к Шуренции и схватил ее за руку:

— Смотри!

— Где смотри?!

— Прямо... на склон зеленой горы. Видишь, идут.

По узкой, едва заметной тропе медленно двигалась нескончаемая цепочка ребят в черных пилотках с белой стрелой. Каждый «боец», как щитом, прикрывался зеленой веткой. Это делало «противника» почти невидимым. Но никакая маскировка не могла скрыть от Микоши идущую колонну. Он был рожден с глазами разведчика.

Микоша криво улыбнулся и, глядя на идущих ребят, тихо сказал:

— Держите свои веточки. Идите с заткнутыми ртами. Ваша песенка спета.

И он сделал несколько отчаянных прыжков, забыв про усталость и ноющие ранки. Наверное, так после удачной охоты плясали настоящие жители пещер.

Шуренция не выражала никакой радости. Ее лицо вытянулось и стало печальным. Печальная рыба-солнце!

— Все пропало! — сказала девочка. — Мы теперь не успеем сообщить в штаб о «противнике». Они придут раньше.

Микоша почесал одной ногой другую и возразил своей спутнице:

— Ничего не пропало! Надо совершить прыжок через горы.

— Как ты прыгнешь через горы? Это сказки.

— Это не сказки, это — Павел. Мой друг... Он летает на вертолете.

Глаза девочки загорелись и погасли.

— Он не полетит.

— Если я попрошу, полетит. Вот увидишь — полетит. Бежим вниз!

Шуренция стояла в нерешительности. В ее памяти почему-то возникла первая встреча с Микошей: «Знаешь, какой у меня палец?» — «Какой?» — «Железный. Как гвоздь. Не веришь?» Но то был совсем другой Микоша, не тот, что стоит рядом с ней на седле и, криво улыбаясь, говорит черным пилоткам: «Держите свои веточки. Идите с заткнутыми ртами». Она подняла на Микошу глаза и сказала:

— Бежим.

И они побежали. Вернее, побрели вниз. Они не могли бежать. Не было сил. Ноги скользили по крутой тропе, покрытой ржавыми пятнами мха. Хотелось пить, есть, спать, и от всего этого в голове стояло какое-то мутное гудение.

Вскоре они миновали Степу. Он спокойно спал в траве неподалеку от тропки, свернувшись калачиком, вернее — большим пышным калачом. Ребята решили его не будить.

— А если с вертолетом ничего не выйдет? — спросила Шуренция.

— Выйдет!

Качаясь от усталости, ребята спустились в виноградную долину.

...В это время к сараю, где поначалу был заключен взятый в плен разведотряд, подошло несколько ребят в черных пилотках. Часовой стоял, прислонясь к стене, и грелся на солнце.

— Как дела? — спросил черноволосый с нашивками на рукаве.

— Все в порядке. Сидят тихо, — доложил часовой.

— Поели?

— Ложки не звенят. Голодают.

— Ты бы их уговорил.

— Сами уговаривайте! Я часовой. Мое дело охранять.

— А если они умрут с голоду? — спросил черноволосый. — Открывай сарай!

Часовой открыл сарай. Ребята зашли внутрь, а часовой остался на солнце.

Через некоторое время ребята вернулись.

— Где пленные?

— В сарае.

— Нет их в сарае.

— Поищите... Может быть, спрятались...

Ребята молча смотрели на часового. Тогда тот сам зашел в сарай и, убедившись, что никого нет, растерянно сказал:

— Наверное, подкоп сделали. Я за подкоп не отвечаю...

— Спал?! — в упор спросил черноволосый.

— Не спал... Я вообще плохо сплю... ворочаюсь.

— Доворочался! Сдай пилотку и автомат, тебя будет судить военный трибунал.

С этими словами черноволосый затолкал часового в сарай и закрыл ворота на засов.

— Ребят, а ребят!.. Я больше не буду... спать... — донесся из сарая жалобный голос часового.

Вертолет стоял на взлетной площадке. Он походил на большого железного кузнечика, который способен совершить прыжок через горы. Сверкающая на солнце застекленная кабина напоминала выпуклый глаз насекомого.

В этот ранний час Павла на месте не оказалось.

— Жди меня здесь! — скомандовал Микоша своей спутнице. — Я пойду за Павлом.

Шуренция кивнула головой. Ей мучительно захотелось сесть, но она удержалась, потому что чувствовала: стоит опуститься на землю, и глаза сами закроются. Лучше стоять из последних сил. Девочка стала рассматривать вертолет. Он был тяжелым и неповоротливым. Краска выгорела, облупилась, на пыльном борту застыли потеки масла. И вообще вблизи вертолет был похож на кабину простого самосвала, что с утра до вечера колесит по кривым горным дорогам, а в кузове с грохотом перекатываются камни. Трудно поверить, что тяжелая земная машина может совершить прыжок через горы... Только большие лопасти подъемного винта свидетельствовали, что вертолет имеет дело с небом, с ветром.

«У нас в Колодулихе нет вертолетов, и нет тореадоров, и в сельпо не торгуют арникой — мазью Дон Кихота», — с грустью подумала Шуренция и провела рукой по прохладной металлической обшивке тем привычным деревенским движением, каким гладят коров, похлопывают лошадей.

Микоша долго не появлялся. И Шуренции начало казаться, что он вообще не придет. Может быть, его запер дома дед, а может быть, отвлекло новое приключение... Она ходила между бочками с ядохимикатами, и на нее зловеще скалились красные черепа. Начинало припекать солнце. С моря тянул сверлящий сквознячок.

Наконец появился Микоша. Пот струился по его лицу

и пятнами проступал на рубашке. Глаза горели каким-то отчаянным огнем. Он подошел к Шуренции и тихо произнес:

— Уехал в райцентр... Павел...

— Все пропало? — спросила печальная рыба-солнце.

«Сейчас она вспомнит о сухом дубе», — подумал Микоша и отвернулся к морю. Оно было не синим и не зеленым, а серебристо-молочным. И по его парной глади, глухо постукивая двигателем, плыл морской буксир. Тот самый буксир, который вчера на исходе дня вел за собой в море корабль без мачт, без надстроек, без оружия, без флага. Сейчас буксир шел один, и за ним широким клином расходились спокойные волны.

Микоша сразу понял, что произошло: бывший эсминец «Бдительный» отстоял этой ночью свою последнюю огненную вахту и погрузился в глубины моря, пробитый снарядами. Или ракетами. Мальчик оглянулся в надежде увидеть бородатого моряка на белом коне. Но Ивана Васильевича не было. Может быть, командор «Бдительного» не вернулся этой ночью вместе со своим кораблем? И они оба погибли в той мужественной военной игре, в которую играют взрослые люди, солдаты и моряки, для того чтобы суметь принять настоящий бой? Микоша почувствовал себя причастным к этой грозной игре. Он тоже должен сделать что-то настоящее, отчаянное, чтобы чувствовать себя человеком!

— Погиб «Бдительный», — сказал Микоша. — Затонул.

— Мы проиграли? — одними губами спросила рыба-солнце.

— Мы сделаем прыжок... сами, — отрубил Микоша.

Буксир все стучал двигателем, и за ним расходился молочный клин. Микоша отвернулся от моря и зашагал к вертолету. Он подставил к машине небольшую лесенку, сваренную из железных прутьев, и командовал Шуренции:

— Лезь за мной!

— Что ты хочешь делать? — спросила девочка, и бугорки-брови смешно поднялись над глазами.

— Лезь, тебе говорят! Или боишься?!

— Нет, не боюсь, — отозвалась рыба-солнце и полезла за Микошей.

В кабине было прохладно. Раннее солнце не успело накаливать алюминиевые стенки, а сквозь прозрачный плексиглас в лицо били прямые слепящие лучи. Микоша занял место пилота. Шуренция уселась рядом, аккуратно поправив платье. Микоша выкатил на нее глазищи и прикрикнул:

— Закрой дверцу... на запор!

Где-то в глубине души он надеялся, что Шуренция не выдержит и в последнюю минуту скажет: «Не надо!» Но Шуренция молчала, и Микоше некуда было отступать. Он двигался вперед, борясь со страхом. И чтобы не дать страху окрепнуть, разлиться по телу, сломить его дерзкий замысел, Микоша крикнул:

— Зашприцевать смесь!..

Он сам себе подавал команды и тут же выполнял их.

— Открыть нентиль!

Лопасты дрогнули. Медленно повернулись.

И сразу послышался грохот, тело вертолета ожило, затряслось, и огромные лопасти горизонтального винта начали брать карусельный разбег. Микоша покосился на Шуренцию: она была бледной, и губы ее завязались узелком, изо всех сил удерживали слова «не надо».

Нет, Микошины глазенаны не только замечали все, что попадало в их поле зрения, они обладали точной памятью. Теперь эта память, сохранившая все движения Павла в полете, оказалась как нельзя более кстати. Памятливые глаза Микоши командовали — цепкие руки выполняли команду.

Микоша тронул сектор газа. Рев усилился. Вертолет

сильно вздрогнул, подпрыгнул и оторвался от земли. Шуренцию качнуло, она уткнулась лбом в плечо Микоши. Он грубо оттолкнул ее. А лопасти уже загребали воздух. Гудящий водоворот затягивал, увлекал Микошу и Шуренцию в бездонную глубину голубого пространства.

Радостный озноб охватил Микошу. У него застучали зубы. Это был не страх, а какое-то непонятное, ошеломляющее чувство, которое холодило грудь, учащало удары сердца, наполняло сознанием своей силы. Вокруг все грохотало, жило летучей неземной жизнью. Земля проваливалась. Горы качались.

Эге-ге, «пещерный житель», как тебе удалось превратиться в птицу? Страх, радость, смтение, восторг заглушили боль, поднимали его все выше и выше. А внизу, наверное, желтела полоска пляжа с маленькими фигурками загорающих и разноцветными кружками зонтов. И мальчишки бегут за тенью вертолета. И никому из них не приходит в голову, что машину ведет не настоящий пилот, а «пещерный житель», Микоша.

А толстый Степа спит в колючей горной траве. Потом проснется и подумает: где бы раздобыть каши? Это его главная мысль. Может быть, с годами у него появится другая главная мысль. А может быть, на всю жизнь останется эта...

Микоша вцепился в ручку, и вертолет стало сносить в сторону. Он превратился в качели, которые отлетают в широкой качке, но никак не могут достичь верхней точки. И этой качке нет конца. Микошу вдавило в сиденье. Потом сиденье стало уходить из-под него. Невидимая воздушная воронка затягивала бескрылую летательную машину. Вертолет резко стал снижаться. Откуда-то вынырнул маленький пригорок... Появилась сухая, ржавая трава... Потом удар...

Когда Микоша с трудом открыл глаза, его оглушил грохот. Лопасти пронеслись над головой. Это были не

простые взмахи, а грозные удары, которые вот-вот обрушатся на голову. Микоша втянул голову в плечи, покосился на Шуренцию — и глаза его расширились от удивления: его спутница спала. Да, да, печальная рыба-солнце спала, откинув голову, открыв круглый рот. Во сне лицо девочки было розовым и спокойным.

Микоша почувствовал боль и зажмурился. Его уже не носило из стороны в сторону, не вдавливало в сиденье и не бросало вверх. Вертолет стоял на земле. Но от рева двигателя и от работы лопастей мальчику казалось, что он продолжает лететь.

Он летит над морем — и под ним движутся ровные волны с белым бортиком пены. Местами вода была прозрачна и виднелись камни, лежащие на дне. Все под водой трепетало, колебалось, было живым. И коралловое тело затонувшего эсминца тоже жило таинственной подводной жизнью...

И Шуренция спит. Покинула его в трудную минуту. Но ничего, ничего. Мотор ревет. Лопасти ходят каруселью. Скоро будут горы. Он перемахнет через горы — и война будет выиграна.

Потом Микоше почудилось, что он уже перемахнул через горы, но никак не может посадить машину. И она висит в воздухе. И будет так висеть без конца, потому что Микоша забыл, за какой рычаг надо дернуть.

Микоше стало нестерпимо больно от сознания, что он теперь всегда будет висеть в воздухе и не сможет сообщить белым пилоткам, что черные идут в обход по горной тропе.

И тут Микоша услышал голос друга. Почувствовал его руку на плече. Павел пришел на помощь в самый трудный момент, когда Микоша висел между небом и землей. Микоша спросил:

— Что делать?

Павел ответил:

— Ты все уже сделал. Покалечил машину. Мне теперь голову снимут.

И сразу двигатель заглох. И наступила тишина — сильная, как удар.

5

Вот уже второй день Микоша сидит под домашним арестом. В маленькой комнате на втором этаже. Толстый кривой ствол дикого винограда добрался с земли до окна и окружил его широкими листьями, сквозь которые солнце кажется зеленым. Из окна видна синяя полоска моря. Виден двор с бочкой для дождевой воды. Бабушка, как грибы, собирает Алькины игрушки, разбросанные по двору. Все замерло, погрузилось в безжизненную тишину. Только в ушах шумит, словно все шумы набились в Микошину голову и от них болит голова. И нет арники. И ничего не известно: как военная игра, как Шуренция, как Павел... Бабушка шепнула Микоше, что Павла, наверное, отдадут под суд за халатность. Микошиной же судьбой дед распорядился так: «Подлечить и отправить к матери на Север. Хватит с него «пещерного жителя».

В комнате жарко. Никакого движения воздуха. Микоша лежит в трусах на кровати. Он как пантера — в бурых пятнах йода. Болит голова. И колющее шерстяное одеяло жжет, как раскаленная галька. Хотя бы приплыла печальная рыба-солнце. Хотя бы спросила:

«Ты... жив? Я думала, ты поломал ноги... У тебя крепкие кости...»

Микоша сел бы на кровать и сказал бы:

«Плохи мои дела, Шуренция. Бык поднял меня на рога. Все получается несправедливо. Эсминец «Бдительный» на войне обстреливал занятую фашистами Констанцу, а вчера ночью он пошел ко дну от наших снарядов и ракет... Ты думаешь, мне было легко поднять вертолет? Я зна-

ешь как неретрусил! Но мы с тобой летели. Правда, не долетели. Дед хочет отдать Павла под суд, а он честный и отважный человек. И в отряде космонавтов ждут, когда у него перестанет болеть левая нога... По-дедовски, все это справедливо, а по-моему — несправедливо. Чья справедливость справедливее? И сколько вообще существует справедливостей, если у каждого своя и нет одной общей?»

Не приплывает рыба-солнце. Не отзывается... Не может приплыть или забыла о Микоше? Дело сделано...

Микоша лежит на спине с широко открытыми глазами. Не глаза, а глазищи. Глазенапы. И ребра проступают наружу, можно пересчитать. Иван Васильевич говорит по-морячки:

«У тебя все шпангоуты видны».

Шпангоутами называются ребра лодки. А он так называет Микошины ребра. Микоша весь высушенный и прокопченный. И во рту у него сухо. И сердце высохло. И в глазах нет ни слезинки — высохли. А Микоше хочется плакать. Немного. Чуть-чуть. Для самого себя. И ему хочется, чтобы рядом очутилась мама. Этот кусочек сердца, который хочет, чтобы рядом очутилась мама, не высох. Бьется где-то под шпангоутами. И Микоша вспоминает мамин голос, мамины шаги, мамины любимые словечки. И сразу слепящее солнце, зеленое море, горы становятся чужими и холодными. И хочется, чтобы под ногами скрипел синий снег, и сверкали крупные звезды, и возникали праздничные всполохи полярного сияния. Дома легче дышать, дома легче жить...

Ночью Микоша проснулся от свиста. Он поднялся. Поморгал глазами. Сполз с кровати и подошел к окну. Внизу, в лунном свете, он увидел невысокую кряжистую фигуру колхозного летчика.

— Спустись вниз. — тихо скомандовал Павел.

Микоша молчал.

— Спустишься,— повторил летчик.— Или боишься?

Микоша сел на подоконник, свесил ноги наружу и, цепко ухватясь за ствол дикого винограда, спустился со второго этажа на землю.

— Жив? — спросил Павел.

— Жив,— пробасил Микоша.

— Хорошо, что жив. Мог бы уже летать по царству небесному... Да подойди поближе.

— Ругаться будешь?

— Поздно тебя ругать... Дело сделано. Меня под суд отдадут. Пусть судят. Разберемся... На, держи.— С этими словами летчик протянул Микоше небольшую темную склянку.

Микоша узнал эту склянку — в ней была арника.

— Спасибо.

— Идем пройдемся.

— Идем,— согласился Микоша.

Они — большой и малый — перемахнули через невысокий каменный забор и вошли в таинственные, освещенные луной коридоры незрелого виноградника. На вьющейся лозе поблескивали гроздья мелкого, незрелого винограда, словно какая-то большая рыба наметала здесь икру.

Павел шел впереди, а Микоша попевал за ним. Они шли долго, не говоря ни слова. Неожиданно Павел остановился:

— Слушай, что я тебе расскажу. В древние времена жил парень. Звали его Икар... Жил он на берегу моря, среди виноградников... Словом, в таких местах, как наши. И отец сделал ему крылья. Из птичьих перьев, льняных ниток и воска. Хорошие получились крылья. Прodel Икар руки в петли, что были сделаны внутри каждого крыла, взмахнул руками и полетел. Но перед этим отец дал ему наставление: не летать низко над морем, чтобы перья не намokли, и не подниматься высоко к солнцу, чтобы воск

не растопился. Икар полетел. Здорово он летал, доложу я тебе! Над землей, над морем. Его тянуло ввышину. Человека, если он стоящий, всегда тянет ввышину. И не заметил Икар, как приблизился к солнцу. Ему бы вспомнить наставления отца, а он — все выше, все выше, все выше! Не мог остановиться. А солнце жгло нестерпимо, воск стал мягким, растопился. Перья выпали. И крыльев не стало. Мальчик Икар рухнул в море... Вот расскажи эту историю твоему деду, он скажет: погиб от непослушания. Все верно. Все правильно. Но я тебе скажу другое: Икар погиб от смелого сердца... Послушание... Да если бы люди жили одним послушанием, то всю жизнь ползали бы по земле, а они летают!.. Между прочим, именем Икара назвали море... Я к чему это рассказываю? Ты, парень, где-то правильный. Мне бы шею тебе намылить за то, что ты меня под монастырь подвел, а я тебе сказки рассказываю. Но ты должен понять, что к чему, должен сам разобратся. С послушными людьми легко живется. Но бывает такой момент, когда до зарезу нужны непослушные, идущие наперекор всему, и люди называют их именами моря.

Они долго стояли в сквозном виноградном коридоре. И луна была такая светлая, что они могли смотреть в глаза друг другу и видеть друг друга.

— Ну, прощай, брат! — Павел протянул короткую сильную руку. — Когда еще встретимся!

— Встретимся,— сказал Микоша и тоже протянул руку.

И они долго пожимали друг другу руки.

Когда Микоша взялся за ветвь дикого винограда, чтобы залезть обратно в свою комнату под домашний арест, Павел ткнул его легонько локтем в бок и сказал:

— А я, брат, уезжаю в Москву. Пришел вызов в отряд. Вот он! — Павел улыбнулся и похлопал себя по карману. — Мы еще летаем!

...Через несколько дней Микоша был выпущен из-под ареста. Вещи его были собраны. Билет на Север куплен. И бабушка, пока не было деда, отпустила его на берег, попрощаться с морем.

Микоша нырнул в виноградник и вынырнул на другом краю, где начинались заросли дроков и берег круто обрывался к морю. И тут возле дерева, обгоревшего от попадания молнии, он встретил рыбу-солнце — Шуренцию. Он остановился и долго смотрел на круглое розовое лицо с широко расставленными глазами, с бугорками вместо бровей. Он обрадовался этому лицу, и оно впервые показалось ему не смешным, а красивым. Он не знал, что сказать, и поэтому выставил вперед грязный палец с откусанным ногтем и спросил:

— Знаешь, какой у меня палец?

— Знаю! — отозвалась Шуренция. — Железный. Как гвоздь!

— Пошли! — скомандовал Микоша.

И медленно побрел по крутой дорожке, ведущей к морю. И пока он шел, он слышал, как падали мелкие камешки из-под ног Шуренции и как она дышала ему в затылок. Дроки отцвели. Листья их стали жесткими. И сладкий медовый запах развеялся. Его сменил какой-то горьковатый сухой аромат. Так пахнут подсыхающие листья табака. И еще пахло морем, которое внизу дышало прибором — большой серебряной жаброй.

И по тому, как ровно падали камешки и как спокойно дышала Шуренция, Микоша почувствовал, что с сухим дубом все покончено. Не существует сухого дуба.

Мальчик распрямился и, посмотрев на Шуренцию, спросил:

— Купнемся?

— Мне нельзя, — ответила Шуренция и показала руку, которую до этого времени держала за спиной: рука была забинтована.

Микоша посмотрел в глаза Шуренции и густым голосом произнес:

— Если вы ушибете коленку или разобьете локоть, помните, что на свете есть замечательное средство от ушибов и ран — арника. Принести тебе арники?

— Не надо... уже проходит, — сказала Шуренция. — А Толя с Азаренком успели добежать до наших. Степа тоже приплелся.

Микоша кинул камешек в море и сказал:

— Идем, я тебе что-то покажу.

Он зашагал по берегу к скалам, а Шуренция пошла за ним. Так они добрались до родника. Холодная живая вода вздрагивала, поблескивала и издавала звук, похожий на удары сердца.

— Попьем, — предложил Микоша и наклонился к дышащей снегом струе.

Шуренция тоже стала пить, неловко ловя губами струю, а забинтованную руку она держала за спиной.

Они пили из одного родника, пока зубы им не свело холодом. И Микоша понял, что сухой дуб навсегда выкорчевали.

— Знаешь, откуда течет этот родник? — спросил он. — С самого Севера, где я живу. Такую воду пьют белые медведи.

Шуренция задумалась. И сделала еще глоток.

— Белые медведи?

— И олени, и птицы... От талой воды дольше живут.

— У нас в Колодулихе есть горячие ключи. Они не застывают даже зимой, и снег тает в них.

— Когда вернусь домой, — сказал Микоша, — обязательно поищу горячий родник, который течет из Колодулихи.

— Обязательно поищи... Ты найдешь.

Родничок бился у их ног, и на соседних камнях сверкали ртутные капли родниковой воды.

— Ты можешь грести одной рукой? — неожиданно спросил Микоша.

— А ты поплывешь рядом?

— Поплыву.

Они поднялись и побежали к берегу. И очутились в море. Вода была светло-зеленая, как солнце, на которое смотришь сквозь виноградный лист. Лучи дробились в волнах на множество слепящих зайчиков. Море слегка покачивало пловцов. И Микоше неожиданно стало легко оттого, что он не один, что есть Павел и что по морю плывет рыба-солнце, подняв над волнами белый плавник.

Мальчик с коньками

В солнечный мартовский день в городе начинают таять сосульки. Они отсчитывают целебные капли больной, простуженной зиме. По городу идет мальчик с коньками.

Он худой и вытянутый. Все ему не по росту, все малó. Лыжные брюки — до щиколоток. Пальто едва достает до колен. Руки он держит в карманах, а запястья голые, красные от ветра: рукава коротки. Шея у мальчика тоже длинная, худая. Шарф закрывает ее только наполовину. Шарф зеленый, в полоску, с фиолетовыми чернильными пятнами на самом видном месте.

Кажется, что вчера еще все было мальчику впору и что это за ночь он так подрос, вытянулся. А новую одежду не успели купить.

Руки мальчик держит в карманах, а коньки у него под мышкой.

Какой-то он нескладный и неустойчивый. То споткнется



на ровном месте, то налетит на прохожего. То бежит вприпрыжку, то, заглядевшись на машину, останавливается посреди дороги. Глаза у него зеленые, задиристые.

Дерзкий взгляд и независимая походка выдают в мальчике непоседу и драчуна, который среди ребят чувствует себя уверенно, а оставшись один, не знает куда себя деть.

На пальто не хватает пуговицы. Она вырвана с мясом. Основательно потеряв шапку сидит на одном ухе, оставив второе на холоде. Развязавшийся шнурок волочится по тротуару: некогда с ним возиться.

И только коньки, удобно пристроившиеся под мышкой, в полном порядке. Они крепятся медными заклепками к черным ботинкам. Ботинки аккуратно сложены «бутербродиком» и стянуты желтым кожаным ремешком. Это не какие-нибудь девчачьи «снегурочки», а вполне серьезные мужские коньки «английский спорт». У них острые крепкие носы.

Когда бежишь на этих носках, ледяные крошки отлетают в стороны, как искры из-под железных подков. Можно быстро бежать, а потом сразу встать на полозья и долго скользить по ледяной глади катка.

Эти аккуратные, ухоженные конечки уж очень не подходят к короткому пальто с оторванной пуговицей и к потертой шапке, сидящей на одном ухе.

Холодная капля упала мальчику на щеку. Он вытер ее свободной рукой и, бросив на сосульки недовольный взгляд, свернул в переулочек.

2

У школьников весенние каникулы, а взрослые работают. Поэтому на улицах малоллюдно. А в переулочке вообще редко встретишь прохожего.

Переулочек старый, двухэтажный. Мостовая покрыта

ледяной коркой. Снегоочистительные машины не заглядывали сюда всю зиму. Сразу видно, что маленький переулочек приходится очень дальним родственником большим, главным улицам города.

Мальчик с коньками шагает по переулочку. Он сдвигает шапку на другое, замерзшее ухо — погрейся, твоя очередь! — и прислушивается. Он слышит музыку. Она доносится сюда со стадиона. На больших улицах ее заглушают машины, а здесь тихо, и музыка слышна. Она действует на мальчика как сигнал боевой трубы. Ноги сами начинают ускорять шаг, и развязавшийся шнурок только успевает постукивать по ботинку.

А хорошо бы на каток опять пришла девчонка в красном пушистом свитере и в синей короткой юбочке! Та, у которой на голове белая меховая шапка. Высокая, как папаха. Из-под шапки у нее торчат две косички. Хорошо бы попробовать дернуть ее за косичку! Но девчонка такая гордая и неприступная, что в прошлый раз не хватило решимости сделать это. На ее глазах он сбил шапки с трех мальчишек. Один из них был совсем большой. На полголовы выше. От такого вполне можно было получить сдачи. Сегодня он опять собьет с него шапку, если не хватит мужества дернуть девчонку за косичку... А если она уже на катке, уже катается на своих серебряных «снегурочках»? И вдруг большой мальчик дергает ее за косичку?!

Мальчик с коньками под мышкой уже не идет, а бежит. Только бы не опоздать! Только бы не опоздать!

И тут в конце переулочка он увидел человека. Мальчик не обратил бы на него никакого внимания, но человек оказался единственным прохожим и шел прямо ему навстречу. Человек был высокий, крупный. На нем белые бурки с кожаными носами и широкая длинная куртка, сшитая из шкуры какого-то черного зверя. Шаги у мужчины тяжелые и неторопливые. А мальчик почти бежал, и поэтому они скоро должны были встретиться.

И вдруг прохожий остановился. Потом он качнулся вперед и сделал несколько неуверенных шагов, словно собирался упасть. Но не упал, а удержался на ногах. Он беспомощно начал двигать руками: искал в воздухе невидимую опору. На этот раз он наверняка бы упал, но рука вовремя ухватила за стену дома.

«Наверное, пьяный», — подумал мальчик, и в глазах его вспыхнул недобрый зеленый огонек: он терпеть не мог пьяных.

Мальчик брезгливо сморщил нос и ускорил шаг, чтобы поскорее разминуться со встречным.

Когда мальчик поравнялся с прохожим, тот стоял приклонясь к стене, крепко зажмутив глаза. Лицо его было естественно бледно. У рта запали две глубокие складки. Он тяжело дышал. Одной рукой человек держался за каменную стену, другой силился растегнуть железный крючок воротника. Крючок был цепкий, и у руки не хватало сил освободить его из петли. На лбу у прохожего выступили мелкие бисеринки пота.

Мальчик с коньками невольно остановился. И тогда прохожий открыл глаза и посмотрел на мальчика. Его глаза смотрели из-под нависших бровей откуда-то издалека. Нет, это не были мутные, шальные глаза пьяного! Они были полны боли и тревоги. И во всем облике этого большого, грузного человека чувствовалась неловкость за свою беспомощность.

Наконец ему все же удалось растегнуть крючок. Усталая рука соскользнула вниз, плечи опали под собственной тяжестью. Человек закрыл глаза, но тут же открыл их вновь. Он заметил мальчика и боялся потерять его из виду.

Мальчик еще стоял рядом. Но ему было некогда. Он боялся опоздать. Зеленые глаза недружелюбно глядели на тяжело дышащего человека.

Человек молчал.

Мальчик вспомнил, как однажды на улице упал старик

и сломал ногу. Он лежал на тротуаре и тихо стонал. Ему было очень тяжело, а вокруг стояли зеваки. Они глазели на несчастного до тех пор, пока за ним не приехала «скорая помощь»...

Может быть, и этому человеку неприятно, что рядом с ним незнакомый мальчишка?

И вдруг человек сказал:

— Сынок...

Он произнес одно только слово и начал тяжело дышать. Видимо, у него не хватало сил на остальные слова.

Услышав слово «сынок», мальчик с недоумением посмотрел на незнакомца. Так называла его только мама. Это было мамино слово. А от мужчины он слышал его впервые.

Незнакомец опять собрался с силами и заговорил:

— Помоги мне добраться до дома... Здесь недалеко.

Мальчик молча подставил плечо. Человек неуверенно отнял руку от стены и оперся на плечо мальчика. Он был большой и тяжелый, а мальчик был худой и неустойчивый. Незнакомец старался полегче опираться на мальчика. И они пошли по улице.

Сам не замечая этого, мальчик все время ускорял шаги. Музыка с катка сладко вливалась в ухо. Она манила, звала, требовала.

Мальчику показалось, что он и впрямь может опоздать, что если он придет пятью минутами позже, все кончится. И уже не будет ни льда, ни музыки, ни вереницы бегущих ребят...

А больному человеку было трудно передвигать ноги. Каждый шаг отдавался в сердце. Он старался не отставать от своего беспокойного поводыря, но у него не хватало сил. И несколько раз он останавливался, чтобы перевести дух. Тогда он чувствовал, как мальчик ерзает под его рукой и нетерпеливо оглядывается.

Всю дорогу ни большой, ни маленький не проронили ни

слова. Их связывал неприятный случай. Один из них был в тягость другому. Они понимали это, и обоим хотелось поскорей расстаться.

Наконец у низкого подъезда человек остановился. Видно было, что это конечная остановка. Человек вытер со лба холодный пот и, ни к кому не обращаясь, будто сам себе, сказал:

— Зашевелился осколочек! Сколько лет не беспокоил — и вот нă тебе!

Вероятно, он чувствовал себя виноватым перед мальчиком и решил часть вины переложить на «зашевелившийся осколочек».

Мальчик насторожился и с недоверием поднял глаза на мужчину.

— Какой осколочек?

— Обыкновенный, брат, от снаряда... Вот ведь война когда кончилась, а осколок остался, — сказал мужчина и показал пальцем на грудь.

Он еще стоял, прислонясь к стене, а мальчик внимательно рассматривал его. У человека все было крупным: и нос, и губы, и подбородок с глубокой ямочкой. На щеках шершавая щетина.

— Пойдем, что ли, — сказал мужчина, открывая дверь подъезда. — Тяжелый тебе солдат достался.

И они двинулись дальше.

3

Когда они поднимались по лестнице, человек сильно опирался на плечо мальчика. Другой рукой он цепко хватался за перила, будто страшился, что ступенька уйдет у него из-под ног. Ему было больно. А мальчику тяжело. Но оба терпели. Мальчик думал об осколке, который зашевелился в груди у незнакомца, и ему на минуту показалось, что он ведет бойца, только что раненного разо-

рвавшимся снарядом. А человек думал, как бы поскорее добраться до постели.

Очутившись дома, человек стал стягивать с себя меховую куртку. Он делал это с такими усилиями, будто она весила по меньшей мере два пуда.

Наконец ему удалось освободиться от этой тяжести. Под курткой была гимнастерка военного образца и синие брюки. На гимнастерке с правой стороны была пришита потемневшая полоска галуна. Эта полоска — знак тяжелого ранения — как бы подтвердила, что человек занемог старой военной болезнью.

Пока человек раздевался, мальчик стоял в сторонке и следил за ним. Сам он не снял пальто, даже не вынул из кармана руки, которая локтем придерживала коньки «английский спорт».

Человек тяжело опустился, почти упал на диван. Старые пружины жалобно скрипнули. Человек откинулся назад и закрыл глаза.

А мальчик продолжал стоять перед ним. Он был растерян и не знал, что полагается делать в подобных обстоятельствах. Перед ним лежал человек. Не просто заболевший гриппом или ангиной, а старый боец с осколком в груди. Зеленые глаза мальчика, привыкшие бесцеремонно разглядывать все, что ни попадется, сейчас утратили свою дерзкую самоуверенность. Они вопрошающе смотрели на человека, с которым судьба свела его в переулке по дороге на каток.

Трудно сказать, сколько времени человек лежал с закрытыми глазами. Когда он поднял веки, мальчик все еще стоял перед ним: в коротком пальто без пуговицы, с шапкой, надвинутой на одно ухо, с коньками под мышкой.

— Ты еще здесь? — спросил раненый, почти не шевеля губами.

— Ага.

— Ты иди. Теперь я сам управлюсь... А за помощь спа-

сибо.— Человек глотнул воздух и спросил: — Спешишь?

Только сейчас он заметил под мышкой у мальчика коньки.

«Да, да!» — эти два коротких слова должны были сорваться с губ мальчика, но вместо них прозвучали совсем другие:

— Я не спешу... я уже был на катке.

Он сам удивился, что произнес именно эти слова и с такой уверенностью, будто на самом деле все обстояло именно так. Собственные слова огорчили мальчика, но отступить было нельзя.

— Я дождусь кого-нибудь из ваших и пойду.

Ему казалось, что говорит не он, а кто-то другой, помимо его воли. И он уже раскаивался: ведь неизвестно, когда придут домашние. Может быть, не скоро. Вечером.

— Никто не придет,— помолчав, сказал человек.— Понимаешь, жена с сынишкой уехали к бабушке. На каникулы. В Сапожок.

— В какой сапожок?

Человек через силу улыбнулся и пояснил:

— Это город такой есть. Вернее, городок рязанский.

Мальчик положил коньки на стул. Этим движением он как бы хотел подчеркнуть, что никуда не спешит.

Он серьезно посмотрел на своего нового знакомого и спросил:

— Что же теперь делать?

— Да ничего. Отлежусь, и все пройдет,— сказал хозяин дома и, словно желая оправдаться перед мальчиком, добавил: — Понимаешь, я еще ночью в цехе почувствовал себя неважнецки. Но там не разболеешься. Стал карусельный станок. Пришлось налаживать... Утром почувствовал себя совсем скверно. Но подумал, что до дома как-нибудь доберусь. И вот видишь...

Он закрыл глаза и провел ладонью по волосам. Ему, видимо, немного полегчало, и он разговорился:

— Это мне под Орлом так приложило. Пять осколков вынули, а один при себе ношу.

— Кто же это вам... приложил? — осведомился мальчик, стараясь попасть в тон хозяину дома.

— «Фердинанд», танк немецкий... Знаешь, что такое ПТО?

Мальчик покачал головой.

— Противотанковое орудие,— объяснил бывший боец,— пушечка такая. Сорокапятимиллиметровка. Мы, как кроты, врылись в землю, а на нас шли танки. Два мы подожгли, а третий нас приложил... Ни расчета, ни пушки... Ну ничего, все пройдет. Вот отлежусь...

И вдруг он снова побледнел, и две складки у рта стали еще глубже.

— Сходить за доктором? — предложил мальчик.

Раненый мотнул головой. Говорить ему было трудно. Потом он все-таки сказал:

— За доктором не надо. Разве что за лекарством... Если не очень спешишь.

— Не спешу,— отозвался мальчик.— Где рецепт?

— В столе. Рядом в комнате. Открой средний ящик. Там где-то завалился. Болеутоляющее.

Человек не спросил мальчика, как его зовут, и не назвал ему своего имени. А спросить первым мальчик не решался.

В других обстоятельствах мальчик чувствовал бы себя очень скверно, очутившись в чужом, незнакомом доме, но тревога, которая все больше и больше овладевала им, заглушала неловкость, как большая боль заглушает малую. И поэтому он без особых колебаний отворил дверь в соседнюю комнату.

Комната была залита желтым солнечным светом. Будто и впрямь есть такая желтая, светящаяся краска, которая

не высыхает ни на полу, ни на стенках, ни на книжной полке, ни даже на глобусе. Мальчик зажмурился — солнечная краска брызнула ему в лицо — и услышал металлический стук пишущей машинки. Это за окном звонкие капли тающих сосулек стучали по железному подоконнику.

Весенняя солнечная комната была совсем не похожа на ту, где сейчас лежал раненый боец. Комната, наверно, еще не знала, что произошло с ее хозяином, и у нее было отличное настроение. И календарь тоже не знал. На сегодняшнем листке было написано: «Партком в 4 часа».

Мальчик подошел к столу. Но, прежде чем выдвинуть средний ящик, он заметил учебник и две тетрадки. Это был учебник физики для шестого класса. А на тетрадках были написаны имя и фамилия владельца: «Сергей Бахтюков 6-го «А». Это он, Сергей Бахтюков, сейчас отдыхает с мамой у бабушки в рязанском городе Сапожок.

Глаза мальчика недовольно сверкнули. Он отшвырнул тетрадки и осторожно открыл средний ящик стола.

Ящик был доверху набит бумагами, чертежами, фотографиями, а также множеством разных вещей, не представляющих на первый взгляд никакой ценности. Чем, например, может привлечь курительная трубка, изогнутая, как знак вопроса, или старая цепочка от часов, или лезвие в пакетике, напоминающем фантик?

Разыскивая рецепт, мальчик старался не разглядывать эти чужие вещи, но они притягивали его как магнит. Он взял в руки трубку. От нее пахло пожаром. Наверное, солдат курил эту трубку в последний раз на фронте у своей пушечки ПТО. Мальчик вдохнул в себя запах трубки и бережно положил ее обратно. Потом ему попалась фотография хозяина дома. Он был снят в военной форме, и был молодой и худощавый. Может быть, это не хозяин, а его младший брат? С ямочкой на подбородке. Нет, он сам. Вероятно, когда он снимался, в его груди еще не было никаких осколков от снарядов.

А потом в руки мальчику попала алая коробочка. Стыдясь самого себя, он не удержался и открыл ее. В коробочке лежал орден. Самый настоящий орден Красного Знамени. Мальчик взял орден и положил его на ладонь. Орден был прохладный и тяжелый.

Мальчик подержал его в руках, и запонки, и перочинный ножик, и лезвие безопасной бритвы с надписью «Нева». Ему никогда не приходилось встречать в таком количестве мужские вещи. Да откуда было им взяться, ведь в своем доме он был единственным мужчиной. Его тянуло к этим вещам. Он испытывал почти физическое удовольствие от прикосновения к ним.

Наконец рецепт нашелся. Он был очень старый. Вероятно, хозяин не пользовался им уже много лет. На маленьком пожелтевшем листке стоял лиловый штамп: «Санчасть, полевая почта 31497». Рецепт был написан рыжими чернилами. Казалось, что буквы когда-то сверкали и лишь от времени поржавели. Мальчик разобрал только первую строчку: «Старшине Л. Бахтюкову». Дальше шла непонятная латынь.

Мальчик бережно взял рецепт в руки и тихо задвинул ящик.

Потом его взгляд скользнул по тетрадкам Сергея Бахтюкова из 6-го «А». Он почему-то сжал кулак и погрозил тетрадкам.

И вдруг мальчик почувствовал, что его тянет к человеку, который с осколком в груди лежит сейчас в соседней комнате. К большому бесстрашному мужчине, которому принадлежал боевой орден в красной коробочке, прокуренная солдатская трубка, пахнувшая пожаром, и лезвие «Нева».

Почему этот большой, сильный человек беспомощно лежит на диване, а он, мальчишка, задиристый, но на деле не такой уж сильный, может бегать по улицам, смеяться и сбивать шапки у встречных шкетов?

Мокрый, тающий снег пахнет сыроежками. Он шуршит под ногами. Ему уже не белеть на крышах, на мостовой и на воротниках прохожих. Много месяцев будет он журчать в ручьях, петь в водопроводных трубах, дружить с кораблями. И только в декабре он вернется обратно, белый, нетронутый, без единого пятнышка. Как он будет непохож на этот серый, истоптанный, тающий снег, который путается под ногами накануне своих волшебных превращений!

Мальчик не замечает запаха сыроежек. Он бежит. Спотыкается, перепрыгивает через лужи, соскакивает с тротуара на мостовую. Лыжные брючки, едва достигающие щиколотки, забрызганы. Шарф совсем размотался, лапа коротенького пальто развевается: пуговицы-то не хватает.

Но кажется, что ему малы не только брюки, и пальто, и шапка. Нет, ему не впору тротуары и мостовые, улицы и площади. Весь город тесен ему. С тревогой, неожиданно обрушившейся на его плечи, он не вмещается в родной город.

Мальчик задевает на ходу прохожих, натыкается на фонарные столбы. Тесно! Навстречу несутся машины. Разве в городе нет для них других улиц!..

Окоченело левое ухо: шапка надета на правое. На болтающемся шнурке выросла целая сосулька. Но в замерзшей руке, как волшебная лампа Алладина, зажат пузырек с лекарством. И вот он, с трудом переводя дыхание, входит в дом и тихо затворяет за собой дверь. Человек лежит с закрытыми глазами.

«Уснул, — думает мальчик, — значит, отлежался. Вот и хорошо».

Он ставит пузырек с лекарством на стол и обветренной рукой неловко заматывает шарф вокруг шеи. Теперь он принадлежит самому себе. Можно уходить.

Он смотрит на спящего раненого бойца почти с любовью. И ему становится неловко перед самим собой за это непонятное чувство. Он не узнаёт самого себя... Встречаются мужчины, рядом с которыми любой мальчишка чувствует себя сыном. Их отцовская власть незаметно распространяется даже на тех, кто считает себя очень взрослым и самостоятельным.

Мальчик встретил такого человека, а теперь ему надо с ним расставаться.

А человек не открывает глаз. Он, видно, справился со своим осколочком и теперь крепко спит. И мальчику ничего не остается, как молча попрощаться с ним и уйти. Он идет на цыпочках, чтобы не заскрипели половицы, доходит до двери и свободной рукой тянется к замку. Замок не слушается его: признает только своих.

Мальчик вздрагивает. Он слышит тихое, далекое слово «сын». Этот человек зовет его? Мальчик прислушивается. В квартире тихо. Только звонкие капли тающих сосулек стучат в подоконник. Никто его не зовет. Это только показалось.

Мальчик стоит перед дверью и думает о том, что сейчас он уйдет и никогда уже не увидит этого человека. Не ощутит на своей ладони холодную, торжественную тяжесть ордена Красного Знамени. Не вдохнет в себя таинственный запах старой трубки. Он медленно поворачивается и возвращается в комнату. Здесь все неподвижно, как в сонном царстве. Спят двери, спят лампочки, спят половицы. Уснули вместе с хозяином. Балансируя рукой, мальчик идет на цыпочках: боится, что половицы проснутся и заскрипят.

Он подходит к дивану. Человек по-прежнему лежит без движения, спит.

А вдруг он умер?!

Эта мысль ошеломляет мальчика. Забыв о предосторожности, он наклоняется к спящему. Он кладет ему руку

на плечо и начинает легонько трясти его. Раненый боец не открывает глаз. Может быть, позвать его? По фамилии, которая написана на старом военном рецепте. Он зовет:

— Бахтюков..: Дяденька Бахтюков!

Раненый боец вздрагивает и открывает глаза. Значит, он жив. Но почему он молчит? Почему не спрашивает про лекарство? Почему глаза как-то неестественно закатываются и голова безжизненно падает на плечо?

Он жив, но он может умереть.

Что делать? Мальчик стоит рядом. Его глаза расширены. Надо действовать! И если ты сам не знаешь как, позови на помощь!

Мальчик бросается к двери. Он будит все спящие половицы, и они скрипят, каждая на свой лад. Но он ничего не слышит. Он бежит. Сам еще не знает куда.

Мальчик перескакивает через две ступеньки. Звенят железные подковки, прибитые к каблукам, чтобы не ступтавались. Скорей! Скорей! Подковки высекают искры. Мальчик уже знает, что ему делать: надо звонить в «скорую помощь».

6

Когда он вбежал в подъезд с синей табличкой «Телефон-автомат», там у аппарата стояли две девочки. Одна из них — коротышка с круглым, как луна, лицом — держала трубку и, сложив ладошку рупором, быстро говорила в микрофон. Другая — повыше, с глазами навывкате — что-то нашептывала на ухо подруге и не переставала хихикать.

— Что он говорит? Что он говорит? — шептала она так громко, что подружке приходилось закрывать микрофон ладошкой, чтобы не пустить туда шепот.

— Он в кино приглашает,— сказала девочка-луна своей любопытной подружке.

Подружка опять захихикала и зашептала еще громче — чуть не закричала шепотом:

— А ты скажи: не пойдем! Скажи: не пойдем!

Она повторяла каждое слово дважды, словно боялась, что подружка-луна не поймет ее с первого раза.

Несколько секунд мальчик молча наблюдал за девочками. Он никак не мог отдышаться.

Наконец он пришел в себя.

— Кончайте! — сказал он сердито. — Мне в «скорую помощь» звонить надо.

Подружки враждебно посмотрели на мальчишку в коротеньком пальто, и та, что хихикала и подсказывала шепотом, насмешливо сказала:

— Знаем мы, какую тебе «скорую помощь»! Небось на каток спешешь.

И тут мальчик заметил, что держит под мышкой коньки: они сегодня мешали ему на каждом шагу. Он подошел к девочкам вплотную и громко приказал:

— А ну кончайте!

— И не подумаем! — огрызнулась девочка-луна, прикрывая ладошкой микрофон. Потом на минуту оторвала ладошку и сказала в трубку: — К нам тут нахал пристает.

Зеленые глаза стали злыми и колючими. Там человек умирает, а эти девчонки смеются и кривляются. Мальчик резко оттолкнул пучеглазую и выхватил трубку из рук ее подруги. Девчонки от неожиданности взвизгнули и отбежали в сторону.

— Дурак! — крикнула одна.

— Нахал! — поддержала другая.

Мальчик прижал трубку к уху. Он услышал незнакомый мальчишеский голос:

— Так вы придете в кино? Чего вы молчите?

Мальчику показалось, что этот голос доносился совсем из другого мира — беспечного и благополучного.

Он нажал рычаг, и тот, кто приглашал девочек в кино, сразу замолчал.

Мальчик набрал номер «03».

В трубке зазвучал молодой женский голос:

— «Скорая» слушает.

От неожиданности мальчик не знал, с чего начать.

Голос нетерпеливо повторил:

— «Скорая» слушает. Что у вас?

— Тетенька, — заговорил мальчик, — человеку плохо.

— Фамилия? — бесстрастно спросил голос.

— Чья фамилия?

— Больного.

— Он не больной, он раненый.

— Где ранен?

— На фронте, под Орлом.

Наверное, там, в «скорой помощи», так привыкли ко всяким необыностям, что даже не заинтересовались, при чем здесь Орел.

Нетерпеливый голос продолжал:

— Где находится пострадавший?

— Дома.

— Адрес?

Мальчик запнулся. Он не знал адреса. Он так и сказал:

— Я не знаю адреса.

— Так что же ты вызываешь «скорую помощь»? На деревню к бабушке, что ли, ехать? Узнай адрес и перезвони.

В трубке раздались короткие гудки. «Скорая» повесила трубку. Мальчик тоже повесил трубку и оглянулся. Девочек не было. Вероятно, убедившись, что нахальный долговязый мальчишка сказал правду, они тихонько выскользнули из подъезда. Может, побежали к другому автомату?..

Мальчик вышел из подъезда. Он ненавидел себя за беспомощность, за то, что, убегая, не посмотрел на номер дома раненого бойца. Да и название переулочка он тоже не знал толком: не то Гончарный, не то Дегтярный... Остает-

лось одно: бежать, узнать адрес. Мальчик уже собрался рвануться с места, когда до него донесся далекий звук санитарной сирены.

7

По улице мчалась «скорая помощь». Куда она спешила? К человеку, попавшему в беду? Или возвращалась на стоянку? Или она приняла сигнал бедствия и спешит на помощь раненому бойцу, даже не зная адреса?

Голос сирены нарастал. Он то взлетал под облака, то стремительно падал. Он звучал, как сигнал боевой тревоги.

А что, если эта почти крылатая машина с красным крестом промчится мимо?

Надо остановить ее!

И мальчик решил. Он выбежал на середину мостовой и преградил путь «скорой помощи». Расстояние от летящей машины до мальчика было очень небольшим. Оно сокращалось с каждым мгновением. Сирена выла истошно. Она взлетала и больше не падала. Она нагоняла страх. Мальчик закрыл глаза, но не тронулся с места.

И вдруг сирена умолкла. Машина резко затормозила. На мостовой было скользко, и ее занесло в сторону.

Когда мальчик с коньками открыл глаза, машина «скорой помощи» стояла совсем близко, развернувшись поперек дороги. А из распахнутой дверки уже выскакивал бледный шофер в фуражке с блестящим козырьком. Тяжело дыша от волнения, он подбежал к мальчику и замахнулся, чтобы ударить его. Но сдержался и не ударил. Только заговорил часто и сбивчиво.

— Какого черта! Шантрапа!.. Жить надоело? Под машину лезешь! Герой!

Но мальчик был защищен от ругательства невидимой броней своего смутения. И обидные слова отскакивали

от этой брони, как дробинки. Когда шоферу не хватило воздуха и он замолчал, чтобы сделать вдох, мальчик, не поднимая глаз, сказал:

— Человек умирает.

— Где? — спросил шофер. Он сразу остыл, почувствовав себя на своем посту.

— Я вам покажу, — ответил мальчик.

Шофер нахмурился. Когда работаешь в «скорой помощи», готов ко всему. Но такого оборота дела он не ожидал.

Он полез в карман и достал оттуда пачку сигарет. Сунул одну в рот и чиркнул зажигалкой. Зажигалки не было видно, и казалось, что он извлек огонь из самого кулака.

— Идем к врачу, — сказал шофер. — Он решит.

Когда мальчик и шофер подошли к машине, там уже начал собираться народ. Машина «скорой помощи», стоящая поперек мостовой, успела привлечь зевак. Они толпились у машины, спрашивали друг друга:

— В чем дело?

— Что случилось?

— Кого-нибудь задавили?

Но никто не лежал на мостовой, а к машине быстро шли шофер в фуражке с лакированным козырьком и долговязый мальчик с коньками под мышкой.

— Арсений Иванович, — сказал шофер, заглядывая в открытую дверку, — тут у малого с отцом плохо. А у нас вызовов нет. Поедем?

— Что с ним? — спросил из кабины басистый голос, обращаясь к мальчику.

Мальчику хотелось сказать, что шофер ошибся, что раненый боец вовсе ему не отец, а чужой человек. Но сейчас не было времени для объяснений. И он, стараясь говорить понятней и убедительней, сказал:

— Лежит без сознания. Раненый он. Осколок зашевелился в груди.

— Поехали! — решительно сказал врач.

Мальчик и шофер забрались в кабину. Завыла сирена, разгоняя зевак. И, присев на задние колеса, как конь перед скачками, «скорая помощь» устремилась вперед.

8

Мальчик не знал, застанет он раненого бойца в живых или нет. Поэтому, открывая дверь, он чувствовал, что у него слабеют руки и ноги легонько дрожат в коленках. Всю дорогу он торопился, а сейчас вдруг замедлил шаги. Что, если Бахтюков не дождался его?..

Но медлить нельзя. За спиной стоят врач с чемоданчиком и два санитары с пустыми носилками. А внизу у подъезда дежурит машина «скорой помощи». Мальчик заходит в прихожую. За ним трое мужчин. Они здоровые, в белых халатах поверх пальто. От них сразу становится тесно в квартире.

Человек на диване по-прежнему бледен, глаза его закрыты. Жив он или нет?

От волнения мальчик сжимает в карманах кулаки. Врач берет Бахтюкова за руку. Он считает удары пульса, поглядывая на часы. Раз считает, значит, пульс есть. Значит, Бахтюков жив. Хотя он не очень похож на живого. Врач засучивает рукав больного до самого плеча и берет ампулу. Ампула похожа на маленькую сосульку. Врач щелкает сосульку по носу и ловким ударом отбивает стеклянный кончик. Потом опускает туда стальное жало шприца. Берет руку человека, лежащего без сознания, и прикидывает, куда бы вонзить иглу.

Мальчик упирается большими пальцами ног в носки ботинок.

Он вспоминает, как в школе ему делали прививку. Его тоже кололи шприцем. Было больно, но терпимо. В общем, пустяки. Но мальчику кажется, что Бахтюкову будет во сто раз больнее. Ведь ему и без укола плохо!

Мальчик прижимает локти к бокам и зажимуривается. Игла впивается в руку.

Санитары поставили носилки в угол, а сами сидят на стульях у стола. Носилки большие и тяжелые. Взгляд у санитаров безразличный. Они не наблюдают за действиями врача. Они заняты своими мыслями. Им все знакомо. От постоянной встречи со страданиями и несчастьями их сердца покрылись черствой корочкой. У них свои заботы.

— Лестница узкая! — говорит один санитар другому. — Боюсь, носилки не пройдут.

— Пройдут, — отвечает другой, — пройдут. Приподнять немного придется.

— Больной-то тяжелый.

Мальчик слышит за спиной их спокойный разговор, и ему хочется сказать им что-нибудь обидное. Но он не поворачивается к ним. Он смотрит на Бахтюкова. И Бахтюков открывает глаза.

Он видит мальчика. Мальчик стоит перед ним, как стоял в ту минуту, когда он потерял сознание. Может быть, мальчик никуда не уходил? Так и простоял у его изголовья целую вечность, как бессменный часовой. Бахтюкову хочется улыбнуться этому долговязому, нескладному парнишке. Но вместо улыбки получается болезненная гримаса: очень больно. Он замечает врача и санитаров. Он все понимает.

— Что будем делать? — спрашивает он врача.

И врач, убирая шприц, отвечает:

— Поедем в больницу.

Бахтюков молчит, потом покорно кивает головой. Взгляд его становится озабоченным. С застенчивой улыбкой он просит мальчика:

— Сынок, будь другом, отправь телеграмму моим в Сапожок.

— Хорошо. Отправлю, — сразу соглашается мальчик.

И ему почему-то становится обидно, что человек сейчас думает о своем Сережке Бахтюкове. А этот самый Сережка небось гоняет с ребятами на лыжах...

— Принеси мне бумагу и карандаш.

Мальчик идет в соседнюю комнату. Календарный листок все еще зовет Бахтюкова к четырем часам на партком... На столе лежат две тетрадки Сережи Бахтюкова из 6-го «А». Мальчик берет первую попавшуюся и небрежно открывает ее. Это тетрадь по литературе. В ней написано сочинение. Большими и аккуратными буквами выведено заглавие: «Как я провел лето». Ни кляксы, ни помарочки. «Чистюля!» — презрительно думает мальчик и читает первые строки: «Лето я провел в городе Сапожке у бабушки. Это маленький город. В нем много зелени...»

Мальчик вырывает листок из тетради. Вырывает неровно, наискосок — пусть хозяин обязательно заметит, что лист вырван.

Бахтюкову трудно писать. Буквы получаются кривые, будто им тоже плохо и они не держатся на ногах. Он пишет телеграмму в Сапожок, а врач делает запись в свою книжечку. Врач ставит точку, и санитары, как по команде, встают из-за стола. Они приводят носилки в боевое положение.

Мальчик смотрит на Бахтюкова. И вдруг он думает о том, каким бы он был счастливым человеком, если бы Бахтюков писал эту телеграмму ему, а не Сережке. Он смотрит на него с грустью. Он понимает, что сейчас-то они расстанутся навсегда.

Бахтюков пишет долго. А мальчику хочется, чтобы он писал еще дольше. Чтобы он никогда не кончил эту телеграмму.

— Вот, — говорит Бахтюков и протягивает мальчику листок и деньги. — Сделай это, сынок. И вообще, спасибо тебе.

Санитары кладут больного на носилки. Мальчик отхо-

дит в сторону. Если бы он мог, он сделал бы это один. И сделал бы хорошо. А санитары так трясут Бахтюкова...

Он стоит и не дышит. Ему начинает казаться, что все это не на самом деле. Показывают в кино, а он зритель. Он по другую сторону экрана. У него под мышкой коньки «английский спорт», а здесь, в комнате, носилки, белые халаты, запах лекарства и человек — большой, хороший, близкий человек — в опасности.

Санитары берутся за ручки носилок.

— Взяли? — спрашивает передний.

— Взяли,— командует второй.

И носилки отрываются от пола.

Они плывут по комнате, по темному коридору. Мимо комнаты, залитой желтой солнечной краской. В замочную скважину протиснулся один луч солнца. Он прямой и светлый. В нем, как маленькие живые существа, кружатся пылинки. Когда носилки проплывают мимо, солнечный луч касается щеки раненого бойца. Он прощается с хозяином дома. На улице мальчик говорит Бахтюкову:

— До свидания.

— Ты еще здесь? — отзывается раненый боец, и его глубокие большие глаза встречаются с зелеными глазами мальчика, полными печали.

Взвыла сирена. Машина забуксовала, вздрогнула, потом оторвалась и покатила.

А мальчик стоял и смотрел ей вслед, держа в руке неотправленную телеграмму.

9

Что толку в коньках, когда они бессмысленно торчат под мышкой! Будь они на ногах, можно было бы мчаться, сокращая время и расстояние. Но в городе на коньках не очень-то разъедешься. Лед сколот или посыпан песком. А в Голландии все пешеходы надевают зимой коньки.

Там даже старушки катаются на коньках. Но там вместо обычных улиц — каналы, покрытые гладким синеватым льдом.

Коньки помогают, когда они на ногах, а когда их приходится нести под мышкой, то они только мешают.

Опять мальчик спешит. Телеграмму нужно отправить скорее. В телеграмме Бахтюков, наверно, зовет жену и сына, этого противного Сережку, который пишет сочинения каллиграфическим почерком, без единой помарки. Черт с ним! Раз Бахтюков хочет, пусть приезжает Сережка.

Одному уху все время тепло, оно под шапкой, а другое совсем замерзло. Но в спешке все некогда передвинуть шапку.

Зато на почте тепло. Здесь пахнет красным сургучом, тягучим клеем и еще каким-то неповторимым почтовым духом. За барьером в глубине стучит телеграфный аппарат. Его звук напоминает капель. Может быть, это тающие сосульки проникли за дверь, на которой висит строгая, как приказ, табличка: «Посторонним вход воспрещен».

На почте мальчику сразу стало жарко. Он растянул пальто и размотал зеленый шарф. В распахнутом пальто он стал походить на галчонка с подбитым крылом. Он подошел к окошечку, где принимают телеграммы, и протянул листок.

— Это что за каракули? — рассердилась девушка в окошке.— Что ты, получше написать не мог? Не маленький! На бланк — перепиши!

Мальчик покраснел от неловкости, но не стал объяснять, что телеграмму писал не он, а раненый, у которого едва хватило сил удержать в пальцах карандаш.

Посреди почтового зала стояла конторка, похожая на деревянный гриб. Мальчик прислонил коньки к ножке гриба, а телеграфный бланк положил на шляпку. Не торопясь, стараясь уместить буквы в строке, он вывел адрес. Мальчик старался писать как можно аккуратнее,

но почерк у него был нескладный, а буквы получились очень вытянутыми, им были малы строчки телеграфного бланка.

Когда адрес был написан, мальчик тяжело вздохнул — нелегкая это работа — и стал писать текст.

«Заболел,— писал он,— ложусь больницу. Квартиру запер. Отдыхайте. Отец».

Только теперь, когда телеграмма была написана, до сознания мальчика дошел ее смысл. Нет, Бахтюков никого не звал. Он просто сообщал о случившемся. Сердитые зеленые огоньки зажглись в глазах мальчика. Выходит, он для того бежал на почту, чтобы сообщить Сережке Бахтюкову, что он может спокойно отдыхать, в то время как отец его лежит в больнице и жизнь его в опасности?! Мальчику захотелось порвать телеграмму. Написать новую, свою. В этой телеграмме он на все деньги обругал бы этого Сережку. Он бы высказал ему все, что о нем думает... Но он не сделал этого.

Когда телеграмма была написана, у окошечка уже образовалась очередь. Мальчик молча встал в очередь.

Плечи у мальчика опущены. А взгляд зеленых глаз усталый, растерянный. Одна рука держит коньки, а другая свободна. Она болтается просто так, а когда хозяин спотыкается, помогает ему держаться на ногах. Наконец она замерзла, и мальчик сунул ее в карман.

Пальцы нащупали какую-то бумажку. Ах да, это листок из тетради, который не приняли на почте. Мальчик вынимает листок и перечитывает слова, составленные из букв, которые еле стоят на ногах: «Заболел. Ложусь больницу. Квартиру запер. Отдыхайте. Отец».

Отец... Это слово мальчик произносит вслух. Он никогда в жизни не произносил этого слова, и ему хочется знать, как оно звучит. Он не узнаёт собственного голоса. Ему кажется, что кто-то другой произносит это слово.

Мальчик представляет себе, как произносит слово

«отец» Сережка Бахтюков. Ему даже чудится, что он слышит его голос. Мальчик морщится, как музыкант от фальшивой ноты.

И вдруг ему начинает казаться, что ни Сережка, ни его мать не поедут к отцу. Они не покинут раньше срока город Сапожок и не примчатся к человеку, который сейчас страдает в больнице. К человеку, которого зовут «отец».

Он представил себе Бахтюкова одного на больничной койке. И почувствовал, что уголки глаз начинает щипать горькая накапливающаяся слеза.

А что, если сходить в больницу? Просто так, узнать, как здоровье больного Л. Бахтюкова. Передать привет и уйти. Все человек не будет себя чувствовать таким одиноким.

Да и на каток ему совсем неохота идти. Нет настроения. На каток можно сходить и завтра. Спешить некуда.

Когда людей в трудную минуту не зовут на помощь, а советуют им спокойно отдыхать, спешить не обязательно. Разве это не так?

10

Мальчик сходит со ступенек почты. Он никуда теперь не спешит. Он держит коньки не под мышкой, а в руке. Блестящий полоз холодит руку, но сейчас это не страшно: в городе потеплело, хотя солнце клонит на закат, земля подставляет под его лучи свой продрогший зимний бочок. Греется.

Сосульки сбились со счета, и теперь их прозрачные капли без передышки стучат о камни, о подоконники, о крыши киосков. Их стук сливается в длинную пулеметную очередь. Это весна бьет из своего веселого пулемета по льдинам и снегам, по вьюгам и морозам.

Мальчик оглядывается вокруг и замечает, что снежный наст в городском сквере осел и напоминает поверхность

луны. На его шероховатой, кремнистой корочке виднеются маленькие лунные цирки. И пусть не скоро распустятся почки и прорастет трава — на еловых лапах, на самых кончиках, уже появилась свежая зелень. Темные, прошлогодние иголки жесткие, а новые, весенние иголки еще не окрепли, не научились колоться. Дотронься до них щекой — почувствуешь, какие они нежные.

Мальчик с коньками идет по городу...

Вот уж действительно человек, не следящий за своей внешностью! Даже мысль о встрече с девочкой в белой шапке не может заставить его привести себя в порядок. Интересно, заметила она, что его не было на катке? Или он ей совсем безразличен, как и все остальные шкеты?

Мальчик перешел на другую сторону и, незаметно для себя ускоряя шаги, направился в городскую больницу.

11

У каждого дома есть свой запах, даже если дом нежилой. У почты — почтовый запах, у булочной — хлебный, у больницы — лекарственный.

Почтовый запах рассказывает о посылках и бандеролях, о свежих газетах и заморских марках, отмеченных черными радугами печатей. Запах булочной рассказывает о поджаристых корочках, о бубликах, усыпанных черными крошками мака, о булочках, залитых сладкой глазурью.

Больничные запахи не рассказывают ни о чем хорошем. Он встречает человека на пороге и сразу отравляет ему настроение рассказом о боли и страданиях.

Этот запах встретил мальчика за дверью с надписью: «Приемный покой».

В приемном покое стояла торжественная тишина. Это, собственно, не сам приемный покой, а лишь коридор

перед ним. На скользком кафельном полу стоял белый деревянный диван. И больше ничего здесь не было.

Мальчик сделал несколько неуверенных шагов и очутился перед стеклянной дверью. Дверь была приоткрыта. Мальчик заглянул туда и сразу встретился взглядом с дежурным врачом. Врач был в белой шапочке и с большой черной бородой. Рукава халата закатаны до локтей. Вид у врача был строгий и, как показалось мальчику, немного свирепый.

Заметив посетителя, врач смирил его строгим взглядом и вышел в коридор. Он подошел к мальчику и задал ему самый неожиданный вопрос:

— Что это у тебя, «английский спорт»? Дай-ка сюда.

Удивленный мальчик протянул доктору коньки. Тот взял их в руки и попробовал лезвие ногтем: острые они или нет. Врач рассматривал коньки, а мальчик не отрывал глаз от врача. Доктор был молодой. У него не было ни единой морщинки, а щеки были такие румяные, будто их обладатель только что пришел с катка. Мальчик сделал это открытие, и ему сразу стало легче. Он сказал:

— К вам привезли больного. Его зовут Л. Бахтюков. Как его состояние?

Врач протянул мальчику коньки и почесал бородку.

— Бахтюков? — повторил он. — С осколком?

— Да, да, — подхватил мальчик, — его привезли на «скорой помощи».

— К нам всех на «скорой помощи» привозят.

Мальчик промолчал.

— Случай тяжелый. — Голос врача сразу стал теплее, а от строгости не осталось и следа. — Я сейчас узнаю, как дела. А ты посиди здесь на диване. — И доверительно добавил: — Вообще-то здесь не положено быть посторонним. Но случай тяжелый.

Доктор скрылся в своем приемном покое, а мальчик сел на диван. Он сел и сразу почувствовал во всем теле

такую слабость, что зажмурил глаза. Ему даже показалось, что он уже ни за что не сможет подняться на ноги.

Он слышал, как за стеклянной дверью молодой бородатый доктор звонил по телефону, как он расспрашивал о Бахтюкове, как называл себя доктором Коном из приемного покоя.

Через некоторое время он снова появился в дверях. Он испытующе посмотрел на мальчика и сказал:

— Вот что. Сейчас отца будут оперировать. Будешь ждать?

— Буду.

Доктор одобрительно кивнул головой и скрылся за дверью.

12

Есть люди, созданные для сиденья на месте. Их девиз: в ногах правды нет. И есть непоседы. Они ерзают на стуле, с трудом досиживают до конца урока и, стоя в очереди, испытывают ни с чем не сравнимые муки. Из таких людей вырастают путешественники и строители, разведчики и почтальоны. У них правда в ногах, в движении, в смене впечатлений.

Мальчик с коньками принадлежал к такой породе людей.

Почему же сейчас, в приемном покое городской больницы, он сидит смирно, не ерзает? Не болтает ногой и не барабанит пальцами по белому больничному дивану? Но это вовсе не значит, что он спокоен. Его мысли мечутся. Как проходит операция? Больно Бахтюкову или на него действует наркоз?.. Наверно, все-таки больно.

Мысли переносят мальчика в операционную. Он представляет на операционном столе себя. Он старается подчинить себе боль... Для этого он вспоминает, как однажды летом наступил босой ногой на гвоздь. Гвоздь вошел глу-

боко. Сначала было не очень больно. Потом ранку обожгли йодом. От боли он прыгал на одной ноге. Потом боль стала тупой и долгой.

Мальчик почти физически ощущал эту боль. Он даже пошевелил ногой в ботинке.

Но Бахтюкову, конечно, еще больнее.

И вдруг мальчик мысленно очутился возле города с гордым названием Орел. Он видит степь с птичьего полета. Сверху огневые позиции противотанковых орудий похожи на кротовые норки: вокруг насыпь из свежей земли. А фашистские танки, которые ползут по степи, похожи на желтых черепах. Черепахи медленно приближаются к кротовым норкам.

Он видит, как над кротовыми норками замелькали вспышки. Это ПТО открыли огонь по танкам. Вот один танк остановился. Из него повалил густой черный дым. Этот дым разрастается. Он ползет по траве, застилает черепах и кротовые норки. Уже не видно, что делается на земле. Только в дыму сверкают вспышки ПТО, как в туче отблески молнии.

Мальчику кажется, что он идет по земле, разгребая дым руками. Дым густой, как вода, он мешает идти. Земля черная. Она пахнет пожаром, как старая солдатская трубка в письменном столе Бахтюкова.

Вот пушка Бахтюкова... А вот сам Бахтюков. Худой, похожий на младшего брата нынешнего Бахтюкова. На нем гимнастерка с расстегнутым воротом... Пушка ПТО стреляет. После каждого выстрела она приседает, а ствол откатывается назад, будто хочет спрятаться, но потом раздумывает и возвращается обратно. А Бахтюков кричит: «Огонь! Огонь!»

И чем громче кричит Бахтюков, тем сильнее стреляет пушка.

«Огонь!» — кричит Бахтюков, и пламя срывается с губ Бахтюкова. И переносится на танк. И танк горит.

Но следующий танк успевает выстрелить. Бахтюков падает. Пушка опрокидывается.

...Бахтюков лежит на траве. Он бледный, с непокрытой головой. На бурках кровь... Да нет, не на бурках — на сапогах... Бахтюков большой и тяжелый, но мальчик несет его на руках... Он прикрывает его собой от осколков фашистских «фердинандов».

Сердце стучит громко. На весь приемный покой. Нет покоя в приемном покое.

Сюда привозят больных, измученных людей. Здесь тревожатся о своих близких. В насмешку, что ли, назвали это место «покоем»?

Мальчик ждет. Он сидит на месте. Но мысли его неспокойны. Нет для него сейчас ни катка, ни города, ни дома. Есть только раненый боец. Он командует мыслями мальчика, и мысли подчиняются одному ему.

13

Оказывается, мысли тоже устают. Они замедляют ход. Перестают метаться. Но они не дремлют. Они ждут.

Мальчик устало прислонил голову к стене. Его глаза смотрят в одну точку. Они уже не видят ни окопа ПТО, ни фашистских танков.

— Кто от Бахтюкова?

Мальчик вздрагивает и вскакивает с дивана.

— Я!

Перед ним пожилая медицинская сестра. Она такая полная, будто надела халат поверх шубы, как санитары «скорой помощи».

— Ты? — произносит сестра густым, почти мужским голосом. Она говорит степенно, с расстановкой, будто читает по бумажке.

— Операция была тяжелая. Больной потерял много

крови. Но все обошлось благополучно.— И вдруг по-бабьи жалостливо смотрит на мальчика и говорит совсем другим, женским голосом: — Ты не волнуйся. Будет жить отец. Организм у него могучий.

— А скоро он поправится!

— До зеленых листиков полежит,— говорит сестра.— Теперь беги домой. Скажи матери, чтоб не волновалась... А это тебе на память.— Сестра протянула мальчику кусок ржавого железа.

— Что это? — Мальчик вопросительно поднял глаза на сестру.

— Осколок.

Это был тот самый осколок, который через много лет после конца войны вдруг ожил и пытался сделать то, что ему не удалось там, в степи под Орлом: поразить сердце бойца.

— У самого сердца отыскался,— пояснила сестра и, спохватившись, заторопилась: — Ну, мне пора. Передать что-нибудь отцу?

Мальчик задумался. Что передают сыновья больным отцам?

— Передайте, что дома все в порядке. Целуют его... Все. И пусть скорее поправляется.

Слова показались ему сухими, но других слов мальчик не знал. Он сжал в руке осколок и почувствовал боль: у осколка были острые края.

Сестра ушла. Она ушла туда, где в тихой палате, весь в бинтах, лежал бывший старшина Бахтюков. Он лежал с открытыми глазами и скрипел зубами от боли.

Сестра подошла к нему, поправила подушку и, как бы невзначай, сказала:

— Какой у вас хороший сынок!

— Сынок? — Бахтюков, забыв о боли, слабо улыбнулся.

— Он всю операцию в приемном покое просидел. Волновался.

— Сынок, — прошептал Бахтюков и почувствовал, что боль стала слабее.

Значит, телеграмма пришла вовремя. Значит, сын, узнав о его болезни, не пожелал отдыхать, а примчался в родной город!..

Человеку невдомек, что никакая телеграмма-молния не могла так быстро дойти до дальнего города Сапожок и тем более привезти ему сына.

14

В городе стемнело. Уже не видно лунных цирков в корочке осевшего снега. Уже на елочках нельзя отличить молодые, нежные иголки от старых, колючих и жестких. Уже скрылись из глаз скользкие серебристые сосульки. Но, хотя земля повернулась к солнцу другим боком, в городе тепло, и невидимые сосульки продолжают таять.

По городу идет мальчик с коньками под мышкой.

В темноте не видно, что одна пуговица вырвана с мясом, а на шарфе чернильное фиолетовое пятно. И не видно, что он вырос из пальтишка и из лыжных брюк. Все ему коротко, все не по росту. Но кто виноват, что мальчики так быстро растут?

На каком ухе сидит старенькая шапка? Не все ли равно! Когда весна своим теплом, влажным дыханием касается лица, это не имеет значения: уши не мерзнут. И только ботинки, набегавшиеся за день по лужам, промокли, и ногам холодно.

Мальчик думает о высоком, крупном человеке в меховой куртке, сделанной из шкуры черного зверя, и о боевом ордене, и о прокуренной трубке, и о рецепте, выданном санчастью с номером полевой почты. Он думает о человеке,

которого ему недоставало всю жизнь. И теперь этот человек нашелся, но он принадлежит не ему...

На месте Сережи мальчик бросил бы все на свете и примчался к отцу... Нет, он бы вовсе не уезжал от отца ни к какой бабушке, ни в какой Сапожок. Он бы всегда был рядом с ним, чтобы в любую минуту прийти на помощь.

Мальчик не замечает, что справа от него вырастает забор стадиона. На катке уже не звучит музыка, не горят веселые лампочки и не слышно зазывного шороха, который издают коньки, разрезающие лед.

Под единственной лампочкой на воротах висело объявление:

«Ввиду теплой погоды каток закрыт».

Мальчик сжал кулак и почувствовал боль. В руках был зажат осколок, который мог вонзиться в сердце Бахтюкова. Мальчик сжал кулак крепче, и ему стало еще больней.

И вдруг мальчик обрадовался. Он может терпеть боль, и ему наплевать, что каток закрыт. И он смеется над счастливым Сереежкой, хотя у того есть отец. И человек, назвавший его «сынком», будет жить и поправится до зеленых листиков. И хотя ноги мерзнут, это хорошо: значит, в городе много луж, значит, весна спешит и скоро появятся эти самые зеленые листики.

Мальчик расстегнул свое коротенькое пальто, переложил коньки в другую руку и зашагал домой.



Станция Мальчишки

1. ЗАКОПЧЕННОЕ СТЕКЛЫШКО

Вам когда-нибудь приходилось смотреть на солнце через закопченное стеклышко?

Голубое небо становится серым. Белые облака чернеют. А ослепительное солнце превращается в маленький тусклый шарик. Как поплавок, плывет оно в темных волнах. То исчезнет, то появится снова. Говорят, сквозь закопченное стекло видны протуберанцы — огненные языки солнечного пламени...

Почему Алеша вспомнил об этом? Разве ему сейчас до какого-то стеклышка? И причем здесь протуберанцы?

У Алеши горе. Это оно красит в черный цвет и небо, и облака, и ледяную горку. Если бы горе можно было оторвать от глаз, как закопченное стеклышко, и забросить куда-нибудь далеко-далеко!..

На улице морозно. Снег под Алешиными шагами хрустит так громко, будто кто-то рядом грызет пористый сухарь: хруп, хруп, хруп. Но Алеша не слышит своих шагов.

Он идет по бульвару в бурой дубленой шубке, выдавшей виды, в лопухой шапке-ушанке, в шершавых варежках на тесемочках (чтобы не потерялись). Глаза у Алеши большие, серые. Но стоит ему улыбнуться, как они сразу пропадают, и вместо них остаются две узкие щелочки. На скулах у Алеши веснушки, хотя до весны еще далеко. И на порозовевшем от мороза чуть приплюснутом носу тоже примостилось несколько дерзких веснушек. Алеша никогда не обращает на них внимания. Это только мама гладит их пальцами и говорит:

— Если верить твоим веснушкам, то на свете нет ни лета, ни осени, ни зимы. Одна весна.

Бульвар длинный и седой. Нет ему конца, морозному, ледяному, похожему на лесную просеку. Здесь сейчас пустынно, как в лесу, и только краснобокие трамваи, мелькающие за деревьями, напоминают о том, что здесь город. Сегодня воскресенье. Красное число. Но оно для Алеши не красное, а черное.

Вы знаете, что такое горе?

Если вы сломали свой самокат, или набили себе шишку, или у вас не хватило денег на билет в кино, — знайте, это еще не горе. И не стоит из-за этого печалиться.

Горе — это когда не удалась жизнь.

Что значит «не удалась жизнь» и что надо сделать, чтобы она удалась? У кого спросить? Может быть, у этой бабушки — случайной прохожей: ведь бабушка давно живет на свете, ей все должно быть известно.

А может быть, у бабушки у самой не удалась жизнь?

2. ССОРА

Ссора в доме началась утром.

Алеша слышал из-за стенки, как папа крикнул: «Хватит!», а мама сказала: «Нет, изволь выслушать!» И она говорила долго и тихо. Потом они говорили оба, перебивая

друг друга. Алеша не слышал, о чем они говорили, но по голосам он почувствовал, что каждый старается сделать другому больно. До него долетали обрывки обидных слов.

Алеша не видел отца, но он знал, что папа каждое слово сопровождает взмахом руки, словно бросает его, как камень. А мама при каждом слове щурит глаза (как Алеша, когда улыбается), словно ожидает удара.

Алеша встал со стула и подошел к стенке. Нет, нет, не потому, что ему хотелось подслушать разговор родителей, ему не терпелось дожидаться, когда наконец кончится ссора и наступит мир.

Но мир не наступал.

— Ты не думаешь о ребенке. — сказала мать.

— При чем здесь ребенок? — ответил отец. — Ребенок здесь ни при чем.

— Вот-вот, — подхватила мама, — я ни при чем, ребенок ни при чем. Один ты.

А мальчик стоял у стены, словно наказанный, и слушал, и слушал этот резкий разговор. Каждое слово ударяло его по сердцу. А глаза его наполнялись слезами. Ему хотелось открыть дверь, вбежать в комнату и крикнуть:

«Папа! Мама! Я люблю вас обоих. Почему вы ссоритесь? Ведь вы оба хорошие!»

Но он продолжал стоять на месте. Ноги не двигались, будто магнит держал подметки башмаков.

Ему было стыдно, что он подслушивает, и кровь ударила ему в лицо. И от бессилия, от стыда, от горькой обиды слезы накапливались в глазах и текли, текли...

Мама сказала:

— Жизнь не удалась.

И замолчала.

А папа ходил по комнате. Алеша слышал его тяжелые, большие шаги. И ему казалось, что с каждым шагом отец все дальше и дальше уходил от него.

Жизнь не удалась... Что значит «жизнь не удалась»? Алеша стоял перед холодной стеной и слушал шаги отца, словно они могли дать ему ответ на этот тяжелый вопрос. И вдруг Алеша понял, что он виновник ссоры отца с мамой. Ведь его имя так часто доносилось из-за стенки: ребенок, Алеша, сын.

А что, если Алеши не будет? Тогда все в доме будет тихо и мирно: не из-за кого будет ссориться. Разве это не так?

Алеша почувствовал, что невидимый магнит, крепко державший подметки его ботинок, вдруг ослаб. Мальчик отошел от стены и тихо направился к двери.

Шубка-дубленка и шапка-ушанка. Шарф. И варежки на тесемочке, чтобы не потерялись...

Никто не слышал, как дверь тихо закрылась за Алешей. Как негромко щелкнул медный язычок французского замка. Как замерли его шаги на каменных ступеньках лестницы.

3. НА КРАЙ СВЕТА

На улице все люди кажутся счастливыми. Никто не плачет. Никто не вздыхает. Никто не жалуется. И поэтому кажется, что несчастлив ты один и нет у тебя товарищей по несчастью, а от этого несчастье еще тяжелее. И Алеша сердито смотрел на людей, которые попадались ему на встречу.

«Что же это такое получается? — думал он. — Если самые дорогие люди причиняют тебе боль, то чего же ждать от чужих людей?»

Никто не сказал Алеше доброго слова, не потрепал его по плечу, не обратил на него внимания. Ведь на улице все люди кажутся счастливыми. Вероятно, прохожие приняли и Алешу за счастливого.

И тогда мальчику захотелось крикнуть на весь бульвар: «Неправда! Мне плохо! Я навсегда ушел от папы и от мамы!» Пусть все знают, что он несчастливый. И пусть никто не принимает его за счастливого!

Но Алеша не произнес ни слова. Он только ускорил шаги. И от этого снег захрустел еще громче. Алеша старался отвлечься от своих мыслей. Он смотрел по сторонам. Не пропускал ни одной ледяной накатанной дорожки, чтобы не прокатиться на ногах. Поддавал ногой каждую попавшуюся на глаза льдинку, и она летела по дорожке, как самая настоящая хоккейная шайба.

Но тяжелые мысли о доме снова и снова возвращались к Алеше, и он шел, уставясь в одну точку перед собой, шел куда глаза глядят. А куда они глядят?

Папа с мамой думают, что он, Алеша, ничего не замечает, что он маленький. Странные люди! Они забывают, что Алеше уже восемь лет. Он все видит. Все слышит. Все понимает. Он понимает, что жизнь не удалась. Ну и что же, что не удалась? Сегодня не удалась. Завтра не удалась. Может быть, послезавтра удастся? Ведь не все же дается легко. Это Алеша хорошо усвоил. И еще он усвоил, что надо бороться.

И он боролся.

Когда папа звал его в кино, он говорил: «Пусть с нами пойдет мама». Когда мама приглашала его гулять, он обязательно старался, чтобы папа тоже шел на сквер. Он появлялся в комнате, когда чувствовал, что начинается ссора. Он знал, что мама тут же скажет: «Что ты говоришь при ребенке!» — и ссора тухнет. Надолго ли?

Иногда он думал так: если у мамы не будет Алешки, то будет у нее один папа, а у папы будет мама. Не может же человек быть одиноким. И они будут вдвоем. А он, Алешка...

И вот его нет. Он шагает по утреннему морозному городу, по родному городу, который сейчас кажется ему хо-

лодным и чужим. Он ускоряет шаги, словно надеясь на то, что горе не угонится за ним и отстанет. А если уехать куда-нибудь далеко, то оно и вовсе потеряет Алешу из виду.

И он решил уехать.

Куда?

Не все ли равно? Хоть на край света. Чем дальше, тем лучше.

4. ВОКЗАЛ

Если во всем городе снег белый, то у вокзала он всегда черный. Тысячи ботинок, галош, валяных сапог днем и ночью топчут его, оставляя свои большие и маленькие отпечатки. Не успеет метель постелить перед вокзалом свежий половичок, как его тотчас же истопчут. И он будет лежать грязным до следующего снегопада.

Если обычная улица похожа на реку, то привокзальная — на водоворот: здесь люди ходят в два раза быстрее, говорят в три раза громче и носят на своих плечах такие тяжелые тюки и чемоданы, какие в другом месте вряд ли пришлось бы им под силу. Возле вокзала каждый куда-то бежит, что-то ищет, кого-то зовет.

Алеша не заметил, как очутился в этом вокзальном водовороте. Сначала он шел не торопясь. Шел, как человек, которому некуда спешить. Он даже умудрился остановиться, чтобы внимательно осмотреть здание вокзала. Вокзал был похож на старинную крепость с башнями и зубцами. Над входом синел циферблат огромных часов. На нем рядом с цифрами были изображены «знаки зодиака» — различные существа: теленок, скорпион, рак. В древности каждый такой знак имел свой особый смысл. Алеша не успел рассмотреть всех существ, изображенных на вокзальных часах. Над самым ухом прозвучал басистый голос:

— Эй, посторонись!

Алеша едва успел отскочить, как мимо проехала тележка, нагруженная целой горой чемоданов. Алеша посторонился и тут же попал в поток пассажиров. И как нелегко пловцу выбраться из речного водоворота, так непросто противостоять потоку людей у вокзала. Этот поток подхватил Алешу и внес его в здание вокзала.

Вокзал гудел, как улей. Люди плакали и смеялись, кричали и обнимались. Два слова царили под этими сводами: «до свидания» и «здравствуйте».

Но Алеше некому было сказать ни «здравствуй», ни «до свидания». Никто его не встречал и не провожал. Никто не обращал внимания на мальчика в бурой дубленке и лопоухой шапке. Он двигался в потоке людей, как самодельный кораблик с газетным парусом.

Так Алеша очутился у кассы.

Он остановился перед расписанием и, запрокинув голову, стал читать названия городов и станций, куда следуют поезда. «Куда бы это поехать? В Казань или Свердловск? А может быть, еще дальше — в Ташкент?»

И тут Алеша обратил внимание на то, что рядом со станцией назначения стояла цена билета. Билет до Казани стоил восемь рублей, а до Свердловска в два раза дороже. Алеша опустил руку в карман и извлек все свои капиталы — тридцать пять копеек. Куда можно уехать на тридцать пять копеек? На такие деньги далеко не уедешь.

Алеша еще раз поднял глаза на расписание, и тут взгляда его упал на строку, которая была почти на самом верху. Он прочел: «Станция Мальчики, цена билета — тридцать пять копеек».

Алеша прочел это странное название и улыбнулся ему, как старому знакомому. Где находится эта загадочная станция Мальчики? И почему она так называется? Может быть, на этой станции живут одни мальчики и нет ни взрослых, ни девчонок? И может быть, эта незнакомая мальчишеская

станция приютит человека, которому не нашлось места в большом городе? И он не будет несчастным и одиноким?

У Алеши потеплело на душе. Он решительно подошел к маленькому полукруглому окошечку кассы, протянул деньги и сказал:

— Билет до станции Мальчики!

Глухо стукнул компостер, пробивая дырочки, и перед Алешей очутился маленький картонный билет. Алеша приподнялся на цыпочки, взял билет, сжал его в горячий кулак и отошел в сторону. Тут он разжал руку и внимательно посмотрел на билет: это был обычный билет ближнего следования с дырочкой посередине, с указанием цены, числа, зоны. На обороте было написано: «Действителен для выезда в течение трех часов с момента выдачи». Медлить было некогда. Алеша посмотрел на билет, как на путевку в совершенно иную, незнакомую жизнь. От этого билетика зависело, что произойдет с Алешей, какая судьба ждет его.

Он сунул руку в карман и зашагал на перрон.

5. СУДЬБА

Если бы на вокзале было безлюдно и тихо, может статья, Алеша бы еще стал раздумывать, ехать ему или нет. Но человек с билетом, попавший на вокзал, напоминает вагон, стоящий на рельсах. Никакая сила не заставит его изменить решение и сойти с рельсов. И все его колебания имеют не больше веса, чем сомнение вагона, идти ему по рельсам за паровозом или свернуть на лужок.

Алеша стал на невидимые рельсы вокзала и послушно шел по ним туда, куда ему было начертано билетом. А вокруг все кипело, спешило, двигалось.

Пробежала молочница, громяхая пустыми бидонами. Прошла женщина с двумя ребятишками, закутанными по

самые посылы. Три девочки с косичками пронесли на плечах лыжи. Загнутые носики лыж были спрятаны в аккуратные мешочки: иначе не пустят в вагон. За ними прошла продавщица мороженого. Она была круглая, закутанная, от нее веяло летним зноем, ибо продавать мороженое можно только тогда, когда тебе жарко. Поверх сорока одежек на продавщице был белый халат, который выделялся в толпе. Она несла на плече здоровенный деревянный ящик, похожий на футляр от баяна, и жарким, раскатистым голосом распевала стихи о своем несезонном товаре:

Пломбир продаю.
Продаю эскимо!
Жевать не придется —
Растает само!

Никто не хотел покупать мороженого.

Люди шли в пальто и в шубах, в куртках и шинелях. И все спешили, хотя до отхода поезда оставалось десять минут.

Алеша дошел до четвертого вагона и остановился. «Поеду в этом», — подумал он и тут же решил войти в следующий. Но следующий оказался вагоном для пассажиров с детьми, и Алеша, презрительно покосившись на белую табличку, прошел дальше.

Наконец у головного вагона он остановился и оглянулся. Тайная надежда прокралась в его сердце: а вдруг мама и папа помирились и спешат за ним? Он стал жадно всматриваться в лица спешащих пассажиров, привставал на цыпочки, дошел обратно до вагона «Для пассажиров с детьми». Но нигде не было видно ни серой маминой шубки, ни черного папиного пальто. Алеша сжал руки в кулаки, чтобы не заплакать, и тут почувствовал в ладошке жесткий кусочек картона. Это был билет. Это была его судьба.

«Поезд отправляется!» — с расстановкой произнес голос из громкоговорителя.

Перрон опустел. Алеша подбежал к вагону и вошел в тамбур. Еще раз он высунулся, чтобы оглянуться. Перрон был пуст. Поезд медленно поплыл по рельсам на станцию Мальчики.

6. «ВАШИ БИЛЕТКИ!»

Когда Алеша вошел в вагон, свободных мест уже не было.

Пассажиры — вагонные новоселы — быстро обжили свой временный дом на колесах. Кто читал газету, держа ее перед собой на вытянутых руках; кто, сладко посапывая, дремал, упершись в грудь подбородком; кто с удовольствием уписывал эскимо, купленное у круглолицей продавщицы. Трое парнишек в форме ремесленного училища бились в домино с сухим безбородым стариком. Старик поднимал кость над головой, со стуком обрушивал ее на чемоданчик, заменявший стол. При этом приговаривал: «То-то и оно-то! То-то и оно-то!»

Все пассажиры так удобно и основательно устроились в вагоне электрички, словно ехали уже давным-давно.

Алеша прислонился к стенке и расстегнул две пуговицы своего дубленого тулупчика. В вагоне было жарко, и колючий иней тут же стоял с ресниц, с краешка мохнатых ушей шапки, с воротника. Алеша стоял на одной ноге, а вторую слегка подогнул, как аист. Он смотрел в окно. В белом квадрате, как на экране кино, мелькали столбы, светотворы, будки. Город не хотел сдаваться пригороду, и еще долгое время в окне проплывали высокие дома с внушительными вывесками магазинов. У Алеши в первом классе появилась привычка читать вывески. Но сейчас он не замечал привычных слов: «Мебель», «Продмаг», «Домовая кухня». Хотя написаны они были аршинными буквами.

Но вот высоких домов становилось все меньше и меньше.

ше. Владения города кончались. Началось царство белых полей, перелесков, одноэтажных домиков.

Рядом с поездом по шоссе мчался последний представитель города — автобус. Он несся изо всех сил, не желая отставать от поезда, напоминая пассажирам о том, что город еще недалеко. Но вот и он отстал. А вместе с ним оборвалась последняя ниточка, связывавшая Алешу с городом.

С каждым оборотом колес поезд увозил Алешу все дальше и дальше от родного дома. И Алеша был уверен, что уезжает он на всю жизнь. Может быть, он и вернется домой, но через много-много лет: Папа и мама будут уже старенькими, седыми, а он сам превратится в высокого плечистого мужчину. Что он будет делать все эти годы и каким образом он станет самостоятельным, взрослым человеком? Об этом Алеша сейчас не думал.

Говоря по чести, Алеша всю жизнь мечтал о путешествиях. И хотя в наш век парусный флот давно уступил место быстроходным дизель-электроходам, Алеша представлял себе путешествие только на борту белокрылого фрегата. Тяжелые волны разбиваются о форштевень. Скрипят мачты. Хлопает парусина. А он, Алеша, стоит у штурвала в брезентовой куртке с башлыком и вытирает с лица ладонью соленые брызги океана. Пятую ночь не спит команда. Пятые сутки никому не передает штурвала капитан Алеша. Усталость валит его с ног, но он ведет свой сорокапушечный фрегат через шторм к далекому берегу...

О чем говорят колеса? Рассказывают друг другу свои истории или читают скороговорки? Никогда не думал Алеша, что путешествие на простой дачной электричке окажется таким трудным. Куда труднее, чем на воображаемом фрегате. И хотя поезд мчался вперед, мысли мальчика побежали назад в город, к трехэтажному дому, что стоит в переулке, выходящем на бульвар, к двери, которая сама закрывается, к пуговке звонка...

— Приготовьте билетики! Приготовьте билетики!

Алеша оторвался от своих мыслей. И хотя билет был у него в кулаке, он заволновался. Вдруг что-нибудь не так.

Он разжал ладошку, чтобы удостовериться в том, что билет на месте, и в глаза ему бросилась вещая надпись: «Действителен для выезда в течение трех часов с момента выдачи». Алеше казалось, что с того момента, как он пришел на вокзал, прошла целая вечность и билет утратил свою силу.

А контролер шел по вагону с блестящими щипчиками и весело щелкал билеты, как орешки: щелк, щелк, щелк.

— Ваши билетики!

Алеша протянул билет высокому контролеру и с опаской посмотрел на него снизу вверх.

— Один едешь? — спросил контролер, рассматривая Алешин билет.

— Один, — ответил Алеша и заволновался: может быть, что не так?

Но контролер, осмотрев билет, вложил его в никелированные челюсти щипчиков и щелкнул: значит, все в порядке.

Потом он протянул билет маленькому пассажиру и добродушно заметил:

— Как это тебя, такого маленького, родители отпускают?

— Я не маленький, — сказал Алеша.

Контролер пропустил его слова мимо ушей и спросил:

— В гости небось едешь?

Алеша ничего не ответил. Он относился к той породе людей, которые не умеют врать. Такие люди краснеют, переминаются с ноги на ногу и молчат, а против своей совести не пойдут. Объяснять незнакомому контролеру печальную историю своего путешествия на неведомую станцию Мальчики Алеша не хотел, а врать не мог. Поэтому он опустил глаза и молчал.

— Молчун, — сказал контролер и, смерив Алешу строгим взглядом, зашагал дальше. — Приготовьте билеты!

Спящие поднимали головы. Читающие складывали газеты. Любители домино лезли в карман за билетом. И только поезд не обращал ни малейшего внимания на контролера и несся вперед, навстречу станции Мальчики.

7. СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК

На улице люди редко заговаривают друг с другом, а в поезде это в порядке вещей. Будто, очутившись под одной крышей, люди становятся ближе друг другу. И нередко в вагоне происходят такие интересные разговоры, каких не услышишь даже в кругу друзей. И если никакие расстояния не могут оторвать человека от невеселых мыслей, то интересному разговору это под силу.

— Слыхали? Опять обнаружены следы снежного человека!

Человек, произнесший эти слова, сложил вчетверо шуршащий лист газеты, снял очки и осмотрел своих соседей с таким видом, как будто это он, а не кто другой обнаружил следы неведомого существа.

Эта фраза была подобна спичке, брошенной в охапку хвороста, предварительно облитого бензином. Пламя заинтересованности охватило всех. Пассажиры заговорили о снежном человеке.

— Что вы говорите! А я думала, это сказки.

— Сказки? Как бы не так! От сказок следы не остаются!

— А какой он, сердечный, этот снежный? Говорят, зимой босиком бегают и ноги не застужают. Так кто же он: зверь или человек?

— Наука не дала еще точного ответа, ближе он к

обезьянам или к человеческой особи. Идут поиски. Если снежного человека удастся поймать и привезти...

— Его нельзя привозить... Он дышит разреженным воздухом, а у нас он задохнется, как рыба!

Последние слова были произнесены Алешей. Он внимательно прислушивался к разговору о снежном человеке и в тот момент, когда в вагоне электрички решалась судьба неведомого человекоподобного существа, Алеша не выдержал. Он почувствовал, что обязан вступить за незащитного снежного человека. Он продолжал:

— И ловить его нельзя. Ведь если он человек, значит, должен быть свободным.

Алеша замолчал, переводя дыхание. А человек, возвестивший пассажирам о новых следах своего снежного соратника, надел очки и смерил взглядом непрошеного оппонента (этим словом в мире науки заменяют слово «спорщик»).

Молодой человек, оказывается, располагает более точными сведениями о снежном человеке! — произнес он и вновь оглядел всех своих соседей, словно желая убедить в их поддержке. — Тогда, может быть, он сообщит нам, где вообще обитает снежный человек?

— В Тибете! — выпалил Алеша.

— А где находится Тибет?

Алеша знал, где находится этот самый Тибет, знал хорошо, но в эту минуту то ли от волнения, то ли от неожиданности запнулся и умолк. Он почувствовал, как краска разливается по его лицу. И тут он, видимо, потерпел бы великое поражение, если бы не нашел случайной поддержки.

— Зачем малому экзамен устраиваете? Сегодня воскресенье, — сказал молчавший доселе мужчина в шинели железнодорожника (это он дремал, упершись подбородком в грудь). — Раз парень знает про снежного человека, значит, серьезный. Интерес имеет к науке. А к снежному человеку надо бережно относиться.

— Да, да, — подхватил Алеша, с благодарностью глядя на железнодорожника. — А Тибет находится в Китае, на границе с Индией.

— Молодец, внучек! — сказала бабка, которая интересовалась, как это можно по снегу босиком ходить. И тут же воскликнула: — Спутник запускают, на Луну летают, а тут еще снежного человека нашли! Чудеса!

Она порылась у себя в кошелке, достала оттуда свежую булочку и стала энергично жевать ее, продолжая глазами участвовать в ученом разговоре.

А Алеша, хотя и стоял на одной ноге у стенки, мысленно уже перенесся в далекий снежный Тибет. Он видел себя в окружении верных друзей (учеников своего класса), идущим по таинственному следу. Вот он опустился на колени, достал выпуклую лупу и приложил ее к следу: пять корявых пальцев были отпечатаны в сахарном снегу. «Он?» — спросил Алеша. И друзья авторитетно подтвердили: «Он!»

В это время проводник объявил:

— Следующая станция — Мальчики.

Алеша бросился к выходу. Сердце его вдруг застучало так гулко, что, казалось, весь вагон должен слышать его удары. Поезд приближался к заветному рубикону. Алеша вышел на площадку. Луч солнца ударил ему в глаза, и они превратились в две узкие щелочки. Электричка замедляла ход.

8. СТАНЦИЯ МАЛЬЧИКИ

Над землей летят воздушные корабли. Бороздят море пароходы. Выбиваются из сил красные колеса локомотивов. Но их движение не вечно. Рано или поздно они придут к месту следования. Аэродром примет самолет. Пристань окажет гостеприимство кораблю. Поезд остановится у перрона.

Прибыли!

И не имеет никакого значения, проехал ли ты тысячу километров или ехал от дома двадцать минут, — поезд замрет у перрона, чтобы через несколько мгновений умчаться дальше.

Станция Мальчики!

Вагон поравнялся с длинной заснеженной платформой. Сперва он поплыл. Потом пополз. Потом слегка покачнулся и замер. Алеша спрыгнул на платформу и огляделся.

Яркое солнце и ослепительно белый снег, холодящий загородный ветерок и тишина обступили его, закружили и опустили на неведомую землю.

Алеша не заметил, как тихо уплыл поезд, как торопливо сбежали вниз пассажиры. Глаза его сощурились, и было непонятно, жмурится он от солнца или улыбается.

На платформе осталось два человека: дежурная по станции в красной шапочке и старуха в огромном платке, торгующая семечками.

А где же мальчики? Где коренные обитатели страны мальчиков?

Красная шапочка шла по платформе, держа в руке двустольный футляр с флажками. Она шла мелкими шажками, и ее высокие каблочки сопровождали каждый шаг щелчком.

Вероятно, вид у Алеши был очень растерянный, потому что, поравнявшись с ним, красная шапочка посмотрела вопросительно и, не останавливаясь, сказала:

— Что, ошибся станцией?

Вместо ответа Алеша отыскал глазами вывеску с названием станции. На белом щите рослыми черными буквами было написано: «Мальчики». Нет, Алеша не ошибся. Он хотел было сообщить об этом дежурной. Но красная шапочка скрылась в дверях станции.

Напротив Алеши сидела бабка. Перед ней на земле лежало все ее богатство — мешок с жареными семечками. Покупателей не было. И только предприимчивый воробей

прыгнул на отогнутый край мешка и клевал семечки. Он делал это так обстоятельно и неторопливо, будто долго выбирал самые крупные и самые жареные. Сама бабка задумчиво смотрела вдаль и вместе с воробьем щелкала свой товар. Семечки были ей глубоко безразличны, ибо она-то пощелкала их на своем веку вдосталь, и сейчас она почти механически отправляла в рот одно семечко за другим, одно за другим.

Красная шапочка, воробей и бабка с мешком подсолнухов были самыми обычными. Но Алеше они представлялись жителями неведомой страны, и он смотрел на них с нескрываемым почтением.

Наконец, мысленно простившись со всеми тремя, Алеша зашагал по пустой платформе. Ему бы следовало подумать, куда направить свои стопы и что делать в этом незнакомом краю. Но в эту минуту он испытывал чувство первооткрывателя и спокойно шел навстречу судьбе. И только одиночество немного угнетало его.

В это время к Алеше подбежал небольшой добродушный пес. Собаки бывают двух родов: летние и зимние. Зимние — мохнатые, с густой шерстью. В таких шубах им не страшен никакой мороз. Летние — гладкие, короткошерстные. У них вместо шуб легкие куртки. Зимние псы летом страдают от жары (ведь шубу-то не снимешь!), зато зимой такой пес — кум королю. Летним собакам достается в морозы.

Итак, встреченный пес был летним, он должен был чувствовать себя неважно. Но он, видимо, был из породы неунывающих и не поддавался морозу. Ни минуты не стоял он без движения. Его короткий хвост все время ходил ходунком, будто был подвешен на пружинке. Встретив Алешу, пес стал кружиться вокруг него, вставал на задние лапы, а передними упирался в дубленку, — словом, вел себя так, как будто всю жизнь только и мечтал о встрече с Алешей и наконец мечта его сбылась.

Алеша тоже был рад этой неожиданной встрече. Вероятно, в эту минуту он был так же доволен, как Робинзон, встретивший Пятницу. Алеша гладил пса, трепал его по загривку и всячески выказывал ему свое расположение.

Итак, он не одинок. Их двое. Есть у него свой Пятница! Теперь можно смело ступить на неведомую землю. И Алеша в сопровождении безымянного друга быстро сбежал по трем заснеженным ступенькам с платформы.

9. ВДВОЕМ С ПЯТНИЦЕЙ

Путешествие окончилось. Но Алеше казалось, что он продолжает удаляться от дома. И если не поезд, то время уносит его все дальше и дальше от дома.

В какое-то мгновение ему вдруг захотелось дожидаться встречного поезда и, как говорится, повернуть оглобли. Он даже обшарил все карманы в надежде найти денег на обратный билет. Но карманы были пусты. Путь назад был отрезан. Мосты сожжены. Алеша тяжело вздохнул и покорился судьбе.

Он посмотрел на пса со станции Мальчики, и тот поднял правое ухо, выражая этим готовность выслушать своего нового друга. Но Алеша не стал объяснять ему все свои нелегкие переживания. Он только сказал:

— Пошли!

И они тронулись вперед.

У зимы свои дороги. Они хоть и узенькие, но прямые. И куда короче летних. Они не желают обходить ни поля, ни пруды, ни реки, а идут напрямик, проложенные парой торопливых ботинок. По одной из таких тропинок шагал Алеша в сопровождении Пятницы. Если бы Алешу спросили, куда он сейчас направляется, то вряд ли мальчик сумел бы ответить на этот простой вопрос. Он шел куда глаза глядят. И все, что встречалось ему в пути, казалось необычным и удивительным.

На дороге ему попался синий киоск. С крыши киоска свисала целая ледяная челка сосулек. Одни сосульки были длиннее, другие — короче. Алеша был человеком аккуратным, и ему захотелось взять большие ножницы и подровнять сосульки, как парикмахер подравнивает волосы. Но ножниц не было.

За киоском прямо на снегу были сложены кирпичи. Они были такие красные, что казалось, их только что раскалили в печи и если до них дотронуться, то можно обжечь руку. Алеша прошел мимо горячих кирпичей и вышел на какую-то улицу. По обеим сторонам заснеженной мостовой стояли одноэтажные домики. Они были не похожи друг на друга. У одних крыши были красные, у других — зеленые, у третьих — серые, шиферные. С некоторых крыш не успели сбросить снег. И рядом с чистыми крышами они выделялись своей белизной. Казалось, их просто забыли покрасить. На крышах гордо возвышались антенны; похожие на букву «Т».

Алеша шел дальше. А пес послушно ступал за ним, полностью доверяя ему.

В одном из дворов на длинной веревке было развешано белье. И разноцветные рубашки напомнили Алеше морские флаги расцвечивания, какие он видел однажды на военном корабле.

Все, все здесь было незнакомым, непривычным и удивительным. Все было не так, как дома. И Алеше временами казалось, что если он заговорит с местным жителем, то тот даже не поймет его. Поэтому он молчал.

Так Алеша дошел до конца улицы. Улица кончилась — началось поле.

Оно было белое и широкое, как море. Солнце светило очень ярко, и от этого по снегу пробегали яркие разноцветные огоньки. Снег казался живым. Он пах арбузом. Вдоль поля тянулись щиты снегозадержания. Они были похожи на большой забор. Алеша знал, что такой забор ста-

вят в поле зимой, чтобы задержать снег. Снег не умеет перелезать через заборы.

Куда идти? В поле? А что дальше, за полем?

Алеша вопросительно посмотрел на пса, а пес посмотрел на Алешу. И оба решили, что лучше вернуться.

Алеша повернулся спиной к полю и увидел снегиря. Снегирь сидел на ветке, вобрав в себя голову и сердито нахохлившись. Весь он был серый, пепельный, и только грудка его была алой. И поэтому он был похож на уголек. Дунет ветер, затрепещут алые перышки — уголек разгорится сильнее. Снегирь сидел на ветке, а Алеша стоял перед ним.

Снегирь заметил Алешу и вопросительно посмотрел на него: кто такой и зачем пожаловал? Потом снегирь стал переступать с лапки на лапку, словно хотел проверить: не примерз ли он к ветке, сможет ли в нужную минуту улететь. И, видимо, убедившись в безопасности, успокоился.

А наш маленький друг все стоял и стоял перед ним как замороженный, не в силах отвести взгляда от этого живого уголька. И простой снегирь казался ему загадочной заморской птицей. И станция Мальчики нравилась ему все больше.

10. КОСТЕР В СНЕЖНОЙ КРЕПОСТИ

Должны же быть на станции Мальчики мальчишки? Или человек, давший название станции, жестоко подшутил над Алешей? А если они действительно есть, то неужели пес — верный спутник следопытов — не поможет найти их след?

И пес решил помочь. Он побежал впереди. Алеша зашагал следом. Временами пес оглядывался, чтобы удостовериться, поспевает ли за ним Алеша. Они свернули в небольшой переулочек, который так занесло снегом, что он

был похож на гребень снежного хребта. Тропинка то поднималась вверх, то опускалась вниз. Ноги скользили. И один раз Алеша чуть не упал, но все-таки удержал равновесие. Пес Пятница скакал по тропке, как горный козел. Ему все было нипочем.

Наконец хребет окончился, и путешественники спустились в долину — вышли на широкую улицу. Вот тут-то Алеша и встретил истинных аборигенов станции Мальчишки — мальчишек. Их было много: десять, а может быть, двадцать. Ребята соорудили снежную крепость. И когда Алеша со своим верным спутником появился на большой улице, начался снежный штурм. Снежные ядра летели в снежные стены и попадали в снежных ребят. Именно в снежных, потому что все участники боя были с ног до головы облеплены снегом.

Алеше очень захотелось скомкать в ладошках снежок и кинуться в бой. Но, соблюдая этикет, одинаковый для всех мальчишек мира, он терпеливо стоял в сторонке и ждал, когда его заметят.

И его заметили.

Снежный натиск сразу пошел на спад. Ребята стали разглядывать Алешу и перешептываться: «Новенький!» А, как известно, новенький — целое событие в мальчишеской жизни!

Новенького всегда встречают ледяным презрением. Ему приписывают множество отвратительных качеств, хотя на деле он может оказаться очень хорошим малым. Каждый на всякий случай считает его хвастунишкой (хотя он еще не успел раскрыть рта), задирой (хотя он скромно стоит в сторонке), ябедой (хотя он еще не знает ни одного имени), трусом (хотя он еще не ретировался в драке). И нет в мальчишеских душах ни снисхождения, ни сочувствия к новенькому. Ему неизбежно предстоит пройти суровое испытание, прежде чем он будет принят в шумное братство незнакомых мальчишек.

Алеша хорошо знал этот закон, не имеющий исключений, и мужественно приготовился к испытаниям.

После короткого военного совета, который осажденные и нападающие немедленно провели у стен крепости, самый рослый парнишка подошел к Алеше. Он был рыжий, как огонь: челка рыжая, брови рыжие, ресницы рыжие, и глаза тоже были рыжие. Взрослые называют такие глаза светло-карими.

— Ты к кому приехал? — спросил парнишка независимым тоном. Он мог себе позволить так говорить — за его спиной стояло целое войско.

— Ни к кому, — ответил Алеша.

— Рассказывай! — недоверчиво пробурчал рыжий и сдвинул шапку на затылок.

От этого он стал еще рыжей.

Алеша стоял и молчал. Снежная гвардия надвигалась все ближе. И верный Пятница тревожно замахал хвостом. А разговор продолжался.

— Московский?

— Из Москвы.

— Московские все такие надутые.

— Я не надутый.

— Рассказывай!

Было похоже на то, что все эти дипломатические переговоры окончатся дракой. Рыжий только искал повода, чтобы от слов перейти к делу.

И плохо пришлось бы Алеше, если бы не спасительная мысль.

— А я умею костры разжигать, на время, — сказал он.

— Как — на время? — заинтересовались ребята.

— А так, — объяснил Алеша, — вы сосчитаете до ста — костер будет гореть.

Сообщение Алеши произвело на ребят необходимое впечатление. Все сразу забыли о нудном опросе.

— Давай, давай! — закричали они.

Отступать было некуда. И Алеша повелительно сказал:
— Тащите хворост.

Сами не замечая того, ребята сразу подчинились приказу новенького. Все бросились в разные стороны, и не прошло и минуты, как один тащил сломанный ящик из-под печенья, другой — полено, третий — кусок картона. Алеша сделал в снегу ямку и стал складывать в нее весь горючий материал, который натаскали ребята. Он это делал спокойно и уверенно, но в глубине души волновался: а вдруг костер не зажжется, что тогда? Пятница стоял рядом и внимательно наблюдал за тем, что делал его повелитель. Теперь его хвостик на пружинке напоминал стрелку прибора, испытывающего новую машину. Он волновался.

Наконец костер был сложен.

— Готово! Готово! — закричали ребята. — Зажигай!

— Нужны спички, — сказал Алеша и стал шарить в карманах, хотя откуда в них было взяться спичкам...

И вдруг тоненький голосок произнес:

— У меня есть спички. Много!

Это был маленький мальчик, закутанный и круглощекий, как шарик. Казалось, он не пришел сюда, а прикатился, как колобок. Колобок держал в согнутой руке, как дрова, два батона с откусанными горбушками и кирпичик черного хлеба. В другой руке у него была пачка спичек — целых десять коробков! Колобок шел из магазина и свернул с дороги из любопытства.

— Давай! — сказал Алеша и, взяв в руки коробок, опустился на колено. — Считайте до ста!

Раз, два, три, четыре...

Алеша чиркнул спичку, но ветер мгновенно погасил ее, словно специально стоял у него за плечами и ждал удобного момента.

Двенадцать... четырнадцать, пятнадцать...

Теперь Алеша был уже осторожен. Он сложил руки коблочкой и чиркнул вторую спичку. Спичка горела, как

фитилек в фонарике. А ладошки просвечивали насквозь. Две варежки бесполезно болтались на тесемочках, как на привязи. Алеша вспомнил, как вожатый Костя учил старших ребят зажигать костер. И он старался делать все так же, как пионеры в лагере, соревнуясь на лучшего кострового.

Тридцать девять, сорок, сорок один...

Вспыхнула бумага. Алеша лег перед костром и стал дуть на огонек. Щеке было холодно: она касалась снега. Но Алеша терпел.

Пламя было хилым и болезненным. Оно то оживало, то умирало. Если бы можно было, Алеша отдал бы ему все свое тепло, только бы оно не погасло.

Шестьдесят пять, шестьдесят шесть, шестьдесят семь...

Ребята считали очень быстро. И Алеша хотел было сказать: «Не торопитесь, это не по правилам», но для этого нужно было перестать раздувать пламя, оно могло погаснуть.

Восемьдесят девять, девяносто...

«Ну гори же, костер! Очень прошу тебя!» И тут, словно сочувствуя Алеше, пламя окрепло. Запахло дымом. Затрепал ящик из-под печенья.

Девяносто пять, девяносто шесть, девяносто семь!..

— Горит! Горит! — закричали ребята.

А мальчик-колобок тоненьким голоском запел:

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Птички летят,
Колокольчики звенят!

Костер пылал. Он горел щедро, дымно, в полную силу. Ребята потянулись к огню. Каждому хотелось погреть руки, чтобы испытать, настоящий ли это костер.

— Здорово у тебя получается! — сказал молчавший до

этого времени высокий худой мальчик в очках. Он был, как и все, в снегу, и даже очки его были залеплены снегом.

— Могу научить, — сказал Алеша.

— И меня! И меня! — загалдели ребята.

— Меня первого, — сказал Колобок, — ведь я тебе спички дал! — И он откусил последнюю уцелевшую горбушку.

— А как тебя звать? — спросил Алешу парень в очках.

— Алешкой, — ответил он. — А тебя?

— Я Марат.

— Марат, — повторил Алеша. Ему очень понравилось это необычное имя.

В эту минуту Алеша был почти счастлив.

Кто сказал, что звери боятся огня? Хотя пес Пятница и был потомком диких зверей, костер не испугал его. Он протиснулся между ребячьими ногами, которые, как живой забор, окружили костер, и все время норовил сунуть свой черный носик в самое пламя. Пятница вдыхал в себя горьковатый дымок и жмурил глаза от блаженства. Он пожинал лавры своего друга.

Горел костер. Таяли снежинки. А вместе с ними таял лед недоверия.

Алеша был признан полноправным гражданином станции Мальчики.

11. СТАРШИНА СИНЯК

Торжество не бывает вечным. Каждому торжеству приходит конец. Иногда торжество потухает постепенно, как свет в театре. Но порой оно гаснет неожиданно и мгновенно, как свет в квартире, когда перегорают пробки.

Именно так произошло и теперь. Торжество было

неожиданно прервано появлением блюстителя порядка — старшины Синяка. Он незаметно появился за спиной ребят, и верный Пятница не успел тявкнуть, извещая о приближении опасности, а на улице уже зазвучал трубный голос старшины милиции:

— Поселок хотите спалить?

Если бы над тихой станцией Мальчики грянул салют из сорока орудий, он произвел бы на мальчишек, столпившихся у костра, меньшее действие, чем спокойный голос старшины.

Оказалось, что каждый из ребят представляет собой сжатую пружину. Теперь все пружины мгновенно разжались, и огнепоклонники разлетелись в разные стороны.

У костра остались двое: Алеша и Марат. Первый — от неожиданности, второй — из солидарности.

— Поселок хотите спалить? — повторил старшина Синяк, и от его ледяного голоса костер сразу ослаб.

— Нет, не хотим, — сказал Алеша.

— «Не хотим», — повторил старшина так, как будто записал каждое Алешино слово. — А для чего с огнем балуете?

— Мы не балуем, — сказал Марат.

— Помолчи, — растягивая буквы, произнес Синяк, — не тебя спрашиваю.

Он желал говорить только с Алешей, будто его профессиональная проницательность безошибочно определила, кто был создателем этого очага пожара.

Глубоко ошибается тот, кто считает, что ложь является лучшим средством спасения. Нет, чаще простая правда оказывается чудодейственной палочкой-выручалочкой.

— Пионеры в лагере учились костры разжигать на время. Я тоже научился и решил показать ребятам, как это делается, — сказал Алеша.

Он думал, что это правдивое объяснение вряд ли поможет ему, ибо, как он понял, этим костром нарушил какой-то

неведомый закон станции Мальчики и должен за это держать ответ.

Но его слова произвели на старшину Синяка совершенно обратное действие. Во-первых, у старшины изменился голос: из трубного он стал простым, комнатным. Во-вторых, в ледяных глазах блюстителя порядка мелькнули веселые любопытные огоньки.

— Как — на время? Расскажи.

И Алеша рассказал про лагерь, про вожатого Костю, про состязание костровых.

— Вот здорово! — воскликнул Синяк. — А когда я был пионером, нас этому не учили. Другое время было. Слушай, а ты покажи мне, как это делается.

Красные погоны и красные петлицы делали участкового похожим на снегиря. Алеша, подумав об этом, улыбнулся и стал объяснять, как следует разжигать костер, а старшина слушал. И когда Алеша кончил свое объяснение, милиционер сказал:

— В жизни все может пригодиться... А ты приезжий, что ли?

Алеша умолк. Ему опять задали вопрос, на который так трудно было ответить. И тут Марат пришел к нему на помощь. Он сказал:

— Алеша ко мне приехал.

— Друг, значит?

— Друг!

— Ну, пока, — сказал старшина Синяк. — А костер вы погасите: неудобно в поселке огонь жечь. Пожарная инспекция мне всыплет.

Алеша и Марат не представляли себе, что есть на свете такая сила, которая может «всыпать» строгому старшине милиции. И оттого, что она все же есть, старшина показался им еще более симпатичным.

Милиционер ушел. Костер догорел. Ребята не появились. Было время обеда, и все разошлись по домам.

— Мне пора, — сказал Марат.

— Я тебя подожду, — сказал Алеша.

И снова он остался один. Совсем один, если не считать летнего пса, по прозвищу Пятница.

12. ОДИНОЧЕСТВО

Говорят, радость летит на крыльях. У горя нет крыльев. Оно движется медленно, как товарный поезд. Но рано или поздно и товарный поезд дойдет до станции назначения.

Горе отстало от стремительной электрички, на которой Алеша ехал на станцию Мальчики. Оно боялось приблизиться к мальчику, когда Алеша был в окружении ребят. Но теперь, улучив момент, когда Алеша остался один, оно явилось к нему. И снова защемило сердце. Напрасно Пятница с полной готовностью помочь заглядывал в глаза своему другу и повелителю: он не мог вцепиться зубами в горе, ведь оно ходит по свету в шапке-невидимке.

Алеша вспомнил маму, папу, утреннюю ссору. И снова возник неразрешимый вопрос: почему родные, любимые люди нарочно делают друг другу больно? Они считают, что все, что между ними происходит, не касается Алеши. Но это не так: Алеша страдает.

Жизнь в представлении Алеши была разделена на две части: на детскую и взрослую. Детской жизнью была школа, утренние сеансы в кино, «детские» книжки, «детские» коньки, «детские» врачи. У взрослых все было свое: и книжки, и врачи, и кинофильмы. Детей не пускают во взрослую жизнь. На афишах пишут обидные слова: «Детям до шестнадцати лет вход воспрещен». В библиотеках говорят: «Эта книга для взрослых».

Почему же Алешино горе было не из детской жизни? Почему жизнь не защитила его от взрослого горя? Ведь оно Алеше не под силу!

Неподалеку от снежного поля боя, мимо платформы станции Мальчики, с простуженным свистом пробежал паровоз. Он выдохнул огромную порцию жирного дыма. Дым расплылся по голубому небу, вымазал сажей облака, закрыл солнце, и оно сразу стало тусклым и темным шариком, как в закопченном стеклышке. Нет, это было не маленькое стеклышко, которое можно оторвать от глаз. Облако черного дыма расплзлось по небу, закрывая собой полсвета.

И Алеша смотрел на небо в надежде, что ветер развеет дым и солнышко снова прозреет. Но было безветренно. И дым застыл без движения...

Вы знаете, какое самое вкусное кушанье на свете? Печеная утка или котлеты с макаронами? Жареная картошка и сколько хочешь компоту? Нет! Самое вкусное — хлеб. Кусок черного хлеба, даже немного черствого. Это хорошо знает голодный человек. И наш маленький беглец неожиданно почувствовал сильный голод. Он не ел с самого утра: ушел из дому, так и не позавтракав. Самое вкусное, самое лакомое, самое прекрасное — хлеб. Но хлеба не было. Как, впрочем, не было ничего: ни дома, ни тепла, ни скамейки, чтобы присесть.

Молча ходил Алеша по снежной крепости, по опустевшей площади, бывшей веселым бранным полем. И за ним по пятам шагал тоже голодный, но все же не такой несчастный пес Пятница. Оба они чувствовали себя как на необитаемом острове.

Что будет дальше? Через час? Через день? Через год?

Надо куда-то идти, что-то делать. А может быть, просто заплакать? Нет, нет! Покуда есть силы, надо крепиться.

В сказках в такие минуты обычно появляются добрые феи. Фея не пришла к Алеше, потому что станция Мальчики не была сказочной страной, а была самой обычной: с продмагом, со школой, с киоском, обросшим сосульками, и милиционером, по фамилии Синяк.

Но если на свете нет добрых фей, то доброго человека встретить не так уж трудно.

— Алеша!

Мальчик вздрогнул от неожиданности и оглянулся. К нему в пальто нараспашку бежал Марат.

— Алеша! Пойдем к нам, мама зовет.

Алеша стал было бормотать, что это неудобно, что ему и здесь хорошо, но Марат уже тащил его за рукав, а глаза так весело светились из-за стекол очков, что Алеша сдался и послушно пошел за Маратом.

Так он очутился в совершенно незнакомом доме, у совершенно незнакомых людей.

13. ПЕРЕЖИВАНИЯ ПЯТНИЦЫ

На крыльце, на досках, очищенных от снега, сидел пес Пятница. Вид у него был унылый. Уши опущены. Короткий хвостик не вертелся, будто у невидимой пружинки кончился завод. Из-под двери в щелку веяло теплом. Пятница приблизился к этому теплomu течению и лег. Он вытянул лапы, положил на них голову. Он не спал. Он думал.

«Неужели я ошибся в друге? Я его водил по всем знакомым мне тропкам и не бросил в трудную минуту, когда жестокие мальчишки (я-то хорошо знаю их нрав!) устроили ему испытание. А он оставил меня одного. Ему хорошо — он в тепле, а я дрожу в своей легкой шкурке. Он, наверное, грызет кости и ест теплую похлебку, в которую накрошены крупные куски хлеба. А я голоден... А может быть, он сейчас выйдет и вынесет мне мозговую косточку с хрящиками и остатками мяса или целую миску вкусной еды?..»

На этом месте Пятница прервал свои мысли и открыл один глаз, чтобы посмотреть, не идет ли Алеша с костью

или с миской. Но никто не шел. Тогда Пятница жалобно тявкнул: то ли хотел пристыдить друга, то ли позвать его. И снова он закрыл глаза. Он не уходил. Он верил в человека. И твердо решил очоенеть, но дожидаться его. Таким был этот славный бездомный пес, получивший сегодня имя Пятница.

14. ОБЕД

У взрослых есть нехорошая привычка расспрашивать. Стоит маленькому человеку переступить порог незнакомого дома, как ему тут же будет задано по меньшей мере пять вопросов: «Как тебя зовут? Сколько тебе лет? На кого ты похож — на папу или на маму? Как ты учишься? Кем собираешься стать — летчиком или поэтом?»

Большинство взрослых, обращаясь к маленькому человеку с этими вопросами, порой даже не удосужатся выслушать ответы. Задав эти вопросы, они считают, что выполнили долг перед молодым поколением, проявили внимание, заботу, и так далее, и тому подобное.

Когда Алеша, подталкиваемый другом, красный от смущения, вошел в дом, мама Марата не задала ему ни одного вопроса. Она только внимательно посмотрела на него и просто, как будто Алеша каждый день бывает у них в доме, сказала:

— Раздевайся, Алеша. Мойте, ребята, руки, будем обедать.

Алеша покраснел еще больше и, запинаясь, медленно сказал:

— Спасибо... я не хочу.

Он был человеком с характером и считал такой ответ достойным мужчины. Да у него и в самом деле в это мгновение от волнения пропал аппетит.

Но мама Марата с притворной строгостью громко сказала:

— Что?! Без разговоров!

И Алеша сдался.

Мама Марата была высокой, светловолосой. Она, как и Марат, носила очки. Держалась она так прямо, что, казалось, ей никогда не приходилось нагибаться. Движения у нее были широкие, немного резкие. «Строгая», — решил Алеша. Но в это время она сняла очки, и лицо ее сразу стало добродушным и даже немного беспомощным. Казалось, вся ее строгость была в этих очках, как сила Черномора — в борде.

В это время из соседней комнаты вышел папа Марата — тоже высокий и тоже в очках. Лицо у него было такое молодое и глаза такие озорные, будто он был не мужчиной, а очень большим мальчиком. В одной руке он держал раскрытую книгу, в другой — карандаш. Он только что завершил занятия и, как каждый человек, окончивший дело, был в хорошем расположении духа.

— Поторапливайтесь, а то есть хочется! — сказал он и посмотрел на Алешу: — Здравствуй, Алеша!

Алеша открыл рот, чтобы ответить на приветствие, но Марат уже тащил его за рукав в другую комнату. Стягивая с него шубу-дубленку, он говорил:

— Ты не удивляйся, что у нас в семье все в очках. Мы, Карнаковы, все близорукие.

Алеше показалось, что он произнес эти слова с гордостью. А Марат уже тащил его к умывальнику, совал ему в руки мыло, полотенце, торопил, будто не хотел ему дать опомниться.

Когда человек маленький, у него всего одно имя. Когда он немного подрастает, к имени добавляется фамилия. А когда человек становится взрослым, появляется еще отчество. Говорят, в Европе у людей нет отчеств, а на Востоке есть даже старики, носящие одно лишь имя, без отчества и фамилии.

Алеша думал об этом, не решаясь спросить у Марата,

как звать его маму и папу. Но Марат хотя и не был человеком, умеющим читать чужие мысли, вдруг сказал сам:

— Мою маму зовут Ольга Ивановна, а папу — Сергей Владимирович. — И добавил: — Ты не стесняйся. Они хорошие.

Алеша почему-то вспомнил о своих папе и маме, и ему захотелось сказать: «Мои тоже хорошие», будто кто-то ставил это под сомнение.

Хотя семья Карнаковых встретила незнакомого Алешу без обычных вопросов, мальчик понимал, что рано или поздно его спросят, кто он и откуда. И каждый раз, когда кто-нибудь во время обеда обращался к нему, сердце его обрывалось: «Сейчас спросят». Но речь шла о другом.

— Знаете ли вы, что такое ПЭС? — спросил Сергей Владимирович, обращаясь к обоим мальчикам.

Мальчики молчали. Они не знали, что такое ПЭС.

— ПЭС — это приливная электростанция, — говорил папа Марата, и в глазах его вспыхивали огоньки. — Турбины ПЭС приводятся в движение морским приливом. Здорово?

— Здорово! — сказал Марат.

Алеша закивал головой: у него был полон рот.

Сергей Владимирович работал зоотехником в соседнем совхозе, но он был человек увлекающийся, мечтательный. Порой создавалось впечатление, что он даже немного стеснялся своей обыденной специальности — вечно он говорил о плотинах, турбинах, реакторах. Его планы казались бы несбыточными, если бы он по вечерам не сидел за книгами и учебниками: он вдруг стал студентом-заочником энергетического института. А утром он снова спешил к своим телкам, выслушивал их, взвешивал и трепал по холке.

Ольга Ивановна была учительницей. Она относилась к своему мужу немного покровительственно, как обычно относятся к мечтателям. Но где-то в глубине души верила, что рано или поздно он создаст что-то удивительное.

Обед шел полным ходом. Тарелки мелели, как моря во время отлива.

В это время Алеша услышал тихий лай. «Пятница!» — подумал он, и ему стало стыдно, что он обедает в тепле, а его дружок голодает на морозе. И тогда, преодолевая неловкость, он спросил:

— Можно, я отнесу косточку Пятнице?

— Какой Пятнице? — спросил папа Марата и улыбнулся. — Что у тебя за Пятница, товарищ Робинзон?

— Это собачка такая, — сказал Алеша, — она голодная.

— Конечно, можно. — сказала Ольга Ивановна. — Можешь прихватить и мою косточку.

И тут вмешался Марат:

— Мама, давай пустим пса в кухню. Пусть погрется.

Алеша даже не смел мечтать о таком счастье для Пятницы. А Ольга Ивановна посмотрела на него испытующе и, видимо, поняв, что это будет приятно Алеше, сказала:

— Ладно. Только в комнату его не впускай.

Нет, в людей все-таки стоит верить! Недаром Пятница терпеливо поджидал своего друга на морозе. Его страдания вознаградились. И, похрустывая косточками в теплой кухне, он со стыдом думал, что мог хоть на минуту усомниться в своем друге. Откуда только взялся завод у пружинки — хвостик махал легко и безостановочно. Глаза весело поблескивали. А челюсти двигались с такой силой, что могли бы без труда разгрызть даже железяку. И если на свете бывает седьмое небо, то маленький черноносый пес Пятница был именно там — на седьмом небе.

15. ПРИЗНАНИЕ

Обед кончился. Марат стал показывать другу коллекцию марок.

— Самые ценные марки — африканские, — пояснял он Алеше. — Вот марка Танганьики. Видал?

Марки мелькали перед Алешей. А вместе с ними перед его глазами проплывали пальмы, ливанские кедры, египетские пирамиды. И Алеше казалось, что он бредет по этим далеким незнакомым странам и нет ему возврата домой.

И тревожные мысли снова вернулись к нему.

Что будет дальше? Ну посидит он здесь полчасика, а потом надо будет уходить. Куда? Горе вышло из темного угла и вплотную подошло к Алеше.

— У тебя что-нибудь случилось? — спросила Ольга Ивановна. — Ты провинился?

Алеша покачал головой.

И вдруг слезы одна за другой потекли по его широким скулам, по большим веснушкам.

— Они ссорятся... — говорил Алеша. — Все время ругаются из-за меня. Вот я и ушел куда глаза глядят...

И в комнате стало тихо. И было только слышно, как всхлипывает Алеша.

Любовь — это что-то незаметное и необходимое. Алеша очень любил своих родителей, но в обычные, хорошие дни он не замечал этой своей любви. Зато сейчас, далеко от дома, на незнакомой станции Мальчики, он почувствовал эту любовь. Но она не принесла ему радости, а наоборот, причинила страдание. И он сквозь слезы сказал:

— Хочу домой!

Никто не знал, как трудно было ему произнести эти слова. Его гордость была унижена. Он почувствовал себя слабым и беспомощным. Он погибал. Но слова «хочу домой» стали для него тем спасательным кругом, который не дал ему пойти ко дну.

Ольга Ивановна наклонилась к нему и сняла очки. И от этого она стала уютной и родной. И Алеша поднял на нее свои глаза, полные слез.

Ему нужно было сказать, что он знает дорогу, что ему нужно только тридцать пять копеек на билет, а от вокзала он дойдет сам. И что деньги он обязательно отдаст: придет по почте. Но почему-то он не мог произнести ни слова.

А Ольга Ивановна сказала:

— Собирайтесь, мы поедем провожать Алешу!

Она выпрямилась, надела очки и снова стала похожа на строгую полновластную хозяйку дома.

— Вот здорово! — сказал Марат. — В Москву поедем!

— Отлично! — сказал Сергей Владимирович. — Иду натягивать ботинки.

И весь дом пришел в движение. Все собирались в дорогу дружно, без суеты, без споров, не мешая друг другу. Словно в доме, как на хорошем корабле, все знали, что кому надо делать.

Алеша сидел на стуле и наблюдал за приготовлениями. В это время он почувствовал, что кто-то трется о его ногу. Он наклонил голову и увидел Пятницу. Песик смотрел на него глазами, полными счастья, благодаря его за верность и обед. «Не стоит унывать! — говорили его глаза. — Жизнь не так страшна, если смотреть на нее веселее. Слышишь, мой повелитель?»

И Алеша решил, что никогда не расстанется с Пятницей.

16. ПРОЩАЙ, СТАНЦИЯ МАЛЬЧИКИ!

Прощай, станция Мальчики!

До свидания, домики ростом в один этаж, дорожки, проложенные в снегу, киоск с сосульками, похожими на неровную ледяную челку. До свидания, холодные угольки

костра. До свидания, мальчишки, в честь которых названа станция, и старшина милиции Синяк!

Было уже темно, когда Алеша с Маратом, Ольгой Ивановой, Сергеем Владимировичем и неизменным Пятницей поднялись на пустынную платформу станции Мальчишки. Теперь все они, конечно, исключая летнего пса, знали о том, что заставило Алешу пуститься в путь, и семья Карнаковых убедила его, что он не лишний человек в доме, что папа и мама, забыв обо всех своих ссорах и раздорах, наконец сбились с ног, разыскивая сына. Они очень ждут его, и поэтому надо спешить.

Алеша шел впереди со своим новым другом, и они вели разговор.

— А у тебя есть марка со снежным человеком? — спрашивал Алеша.

И Марат отвечал:

— А разве такая марка есть?

— Должна быть! — убежденно говорил Алеша. — Ведь есть марка со спутником, с атомоходом. Все, что открывают люди, рисуют на марках. Мне бы очень хотелось повидать снежного человека, а тебе?

— Где его увидишь? — отвечал Марат.

И друг тут же уточнял:

— В Тибете! Вот бы попасть в Тибет!

— У меня есть тибетская марка, — говорил Марат.

— Я буду присылать тебе письма с красивыми марками, ладно? — откликнулся Алеша.

— Запиши мой адрес, — говорил Марат.

— Мне негде записать, я запомню.

— А не забудешь?

— Нет, никогда не забуду. Говори!

— Станция Мальчишки, улица...

Но тут из-за спины послышался голос Сергея Владимовича:

— Поторапливайтесь! Скоро поезд.

На платформе горел фонарь. Он был похож на перевернутую тарелку. Ветер слегка раскачивал фонарь, и тень от столба ходила по снегу взад-вперед, как маятник.

На платформе было несколько пассажиров и дежурный по станции в красной шапочке. На этот раз он оказался мужчиной с бородой. И Алеше показалось, что это утренняя дежурная ради шутки приклеила себе бороду.

— Четыре билета, — сказал папа Марата, склонившись к сияющему окошечку кассы.

— Я один доеду, спасибо, — сказал Алеша.

Но Марат потянул его за рукав:

— Нет, нет, мы поедем вместе. Поговорим в поезде.

Вдалеке показались огни электрички. Алеша еще раз оглянулся на станцию. На белом щите крупными черными буквами было написано: «Мальчишки». Еще утром это была незнакомая, чужая станция, а сейчас она навсегда вошла в Алешину жизнь. Потому что любой уголок земли, где ты встречаешь друзей, становится родным.

Поезд был уже совсем близко, когда Алеша вспомнил о Пятнице. Маленький песик ни на шаг не отходил от него, полностью доверив ему свою судьбу. Неужели сейчас они расстанутся навсегда?

— А как быть с Пятницей? — спросил Алеша.

Сергей Владимирович покачал головой. Ольга Ивановна сказала:

— Придется оставить его здесь. С собаками в поезд не пускают.

В это время поезд подошел к платформе и затормозил. Все сели в вагон. На перроне остался один только пес Пятница. Он стоял маленький, одинокий и несчастный. У Алешы сжалось сердце. Поезд тронулся.

И тут произошло нечто совсем неожиданное. Пятница побежал вслед за вагоном и с разбегу прыгнул на площадку электрички, где стоял Алеша со своими новыми друзьями.

— Пятница! — крикнул Алеша и, схватив пса, поднял его и прижал к своей бурой дубленке.

Пес хотя с виду был невелик, но оказался тяжелым. Однако Алеша держал его на руках. А Пятница, воспользовавшись моментом, лизнул своего покровителя в щеку.

— Оказывается, пес сам распорядился своей судьбой, — сказал Сергей Владимирович, протирая очки.

— Придется его высадить на следующей станции, — сказала Ольга Ивановна.

Алеша забеспокоился. Но Марат, хорошо знавший свою маму, дернул его за рукав: мол, молчи, все будет в порядке. И действительно, через пять минут Ольга Ивановна уже сидела на корточках перед песиком и, поглаживая его, приговаривала:

— Ишь ты, паршивец! Как это тебя угораздило прыгнуть на ходу? Отвечай!

Но что мог ей ответить Пятница? Он только усиленно крутил своим коротким хвостиком и поглядывал на Алешу.

17. ДОМОЙ

Поезд домой всегда едет недостаточно быстро, тем более если кажется, что ты не был дома целую вечность. Сегодня утром, покидая свой дом, Алеша был уверен, что вернется через много-много лет другим человеком. Но пусть он возвращался в тот же день, возвращался не плечистым, высоким мужчиной, а все таким же Алешей — и старая шубка не стала ему мала, и ботинки не жали, и варежки висели на тесемочках, как будто без них могли убежать, — все же на станции Мальчики с ним, с Алешей, произошло что-то значительное. Это путешествие вернуло ему веру в хороших людей, веру в то, что черная копоть не вечно застилает солнце: проходит время, и оно вновь сияет в голубом

небе без единого пятнышка, хотя кое-кто и говорит, что на солнце есть пятна.

Поезд мчался, подгоняемый Алешиным нетерпением. За окном ничего не было видно. Только огни — много огней — на земле и в небе светили, мерцали, указывали путь людям и поездам.

Алеша представлял себе, как он взбежит по крутой лестнице на третий этаж, как, не снимая варежки, нажмет на кнопку звонка. Как мама и папа будут обнимать его, тискать, словно желая убедиться, что это он, Алеша. живой и невредимый. И как они в честь счастливого возвращения разрешат ему оставить пса, по имени Пятница. Правда, в этой картине возвращения, нарисованной Алешиным воображением, не нашлось места для трех незнакомых жителей станции Мальчики. Но зачем было их включать в воображаемую картину, когда они сидели рядом с ним, спокойные, доброжелательные, все трое в очках? И оттого, что они были рядом, что они встретились в трудную минуту, Алеша почувствовал, как что-то теплое и покойное обволокло его сердце.

Папа с мамой никогда больше не будут ссориться, и он никогда больше не уйдет из дому. И все будет хорошо.

А поезд мчался вперед, оставляя где-то во тьме мерцающие огоньки станции Мальчики.



Тайна ФЕНИМОРА

Я расскажу вам о Фениморе, хотя многие считают, что это легенда и никакого Фенимора на самом деле не существует.

Лагерь, окруженный дубами и потому названный «Дубки», существует. Озеро Нарыч, чем-то напоминающее море, можно найти на карте. А Фенимор? О нем говорят как о таинственном существе, которое якобы завелось в английском озере Лох-Несс и которое окрестные жители ласково называют Несси.

Фенимор действительно появлялся и исчезал, словно жил на дне озера Нарыч. Он входил по ночам в спальню мальчиков третьего отряда в белой маске с черными полосами, напоминающей маску хоккейного вратаря или же скафандр инопланетянина, прилетевшего на землю. А что за лицо было под маской, никто не знал. Голос у Фенимора глухой и низкий, не похожий ни на взрослый, ни на детский. Может быть, он из-за маски звучал глухо, но,

возможно, Фенимор изменял голос, словно и на голос тоже надевал маску.

Когда появлялся Фенимор, жизнь становилась тревожной и удивительной. Каждый чувствовал прилив отваги и острое желание совершить что-то необычайное. Может быть, даже подвиг.

Я не знаю, какая вода в озере Лох-Несс. Наверное, серая, холодная и в морщинах от долгих северных ветров. У нас на Нарычи вода светлая, серебристая, и над ней по утрам стелется мягкий невысокий туман, как пар над молоком. И никаких чудес в нашем озере нет.

— Ребята, сегодня мы должны выбрать совет отряда и председателя совета отряда. Подумайте хорошенько. Во главе отряда должны быть лучшие из лучших.

Это говорила Ира Привалова — вожатая третьего отряда, девушка тихая, худенькая, скорее похожая на девочку, чем на вожатую. Прямые брови. Короткие желтые волосы. Загорелые ноги.

Ребята сидели на футбольном поле, и со стороны можно было подумать, что они выбирают капитана команды.

— Что же вы молчите? — волновалась Ира Привалова. — Разве вы не знаете, кто из вас самый достойный, самый лучший?

— Не знаем! — весело выкрикнул кто-то.

— Очень жаль. Кто из вас был во второй смене?

— Я, — отозвалась Лидка Белова, девочка рослая и полная.

— А кто у вас был председателем совета отряда?

— Я, — поспешно ответила Лидка.

Ира Привалова искоса посмотрела на Лидку и неуверенно спросила ребят:

— Может быть, мы и теперь выберем Лиду?.. У нее опыт.

Ребята молчали.

— Что же вы молчите? Разве вам все равно? — спросила Ира Привалова.

И тут поднялся высокий, улыбающийся мальчик — бывают на свете такие вечно улыбающиеся, — поднялся и сказал:

— Почему же все равно? Нам не все равно. Валю Зернову надо выбрать.

Все сидящие на футбольном поле одобительно зашумели:

— Валю Зернову! Валю Зернову!

— Хорошо! Хорошо! — вожатая замахала руками. — Давайте Валю. Есть какие-нибудь вопросы к Вале Зерновой?

— Не-ет! — загудел отряд.

Только Лидка Белова подняла руку.

— У меня вопрос. Может ли Валя Зернова зажечь костер за две минуты?

— Не пробовала, — призналась Валя. — Но костер я разжигать умею.

— Председатель отряда должен показывать пример, — холодно сказала Лидка и опустилась на траву.

— Должен, — согласилась с ней Ира Привалова.

И снова наступила неловкая пауза. Вожатая не знала, как быть, совсем растерялась.

— Должен показывать пример, — повторила она, — и я надеюсь, что Валя Зернова будет... показывать.

— Будет, — зашумели ребята.

Улыбающийся мальчик снова поднял руку.

— Можно задать вопрос?.. Только не Вале, а Лиде.

— Конечно, можно. Все могут друг другу задавать вопросы... только по существу.

— Послушай, — заулыбался мальчик, — тебе очень хотелось, чтобы тебя выбрали?

— И вовсе нет, — сердито сказала Лидка. — И нечего смеяться. Прямо не сбор, а цирк какой-то!

Все зашумели. Замахали руками. Ребята стали кувыркаться на траве футбольного поля.

— Тише! Тише! — заволновалась Ира Привалова. — Сбор не кончен. Кто за Валю Зернову, поднимите руки.

Все охотно подняли руку. Некоторые даже две руки.

— Очень хорошо, — сказала Ира Привалова, — единогласно. А теперь выберем членов совета. Я предлагаю Лиду Белову... У нее опыт... И Женю Рыжова. А то он все улыбается, пусть поработает.

— Пусть поработает! Рыжик! Ура! — закричали ребята.

— Поздравляю вас с избранием, — сквозь крик пролепетала вожатая.

Это случилось в середине третьей смены, стало быть, в августе.

Вожатая третьего отряда Ира Привалова вбежала в кабинет начальника лагеря растерянная и встревоженная, словно за ней кто-то гнался и она искала защиту.

— Владимир... Викторович... они все спят. А может быть, они отравились... может быть, умерли?!

Прерывистое дыхание мешало ей говорить.

Владимир Викторович, или, как его называли в лагере, Ве Ве, большой грузный мужчина с густыми рыжими бровями, шумно отодвинул стул и подошел к вожатой.

— Они дышат? — спросил он.

— Кажется... дышат. Мои мальчики...

— Мальчики, — буркнул Ве Ве и заходил по комнате.

Комната была маленькая, а начальник был большой и тяжелый. Пол потрескивал под его ногами, словно собирался провалиться.

Ира Привалова не дыша стояла на пороге, провожая Ве Ве широко раскрытыми глазами. Теперь вся надежда была на этого взрослого самостоятельного человека.

Некоторое время Ве Ве думал — он всегда думал прежде чем принять решение, — потом посмотрел на вожатую, которая показалась ему маленькой и беспомощной, и скомандовал:

— Пошли!

И направился к двери. Ира Привалова пропустила его и зашагала рядом. Время от времени она забегала вперед и заглядывала в его лицо. Но лицо Ве Ве было непроницаемым.

Когда они вошли в палату третьего отряда, мальчики действительно лежали в постелях с закрытыми глазами. За окном светило солнце, щебетали птицы и сводный лагерный хор разучивал новую песню. Но песня не будила мальчиков третьего отряда, напротив, укачивала, как колыбельная.

— Спят, — констатировал Ве Ве. — Крепко спят.

Он прошел вдоль рядов кроватей, словно производил ночной осмотр спящего отряда.

— Не похожи на отравленных, — вслух рассуждал Ве Ве, — вполне здоровый вид.

Однако в голосе его не было уверенности.

— Почему же они спят? — тихо спросила вожатая Ира Привалова.

Вот на этот-то вопрос Ве Ве и не мог ответить.

— Может быть, съели каких-нибудь ягод... снотворных? Ели они ягоды?

Не знала Ира Привалова — ели или не ели.

— Сбегать за врачом? — предложила она.

Ве Ве одобрительно кивнул.

Ира Привалова исчезла и вскоре появилась в сопровождении длинного остроносого молодого человека в белом халате.

Врач осмотрел ребят. У одного из спящих проверил пульс. И в раздумье стал пощипывать подбородок.

— Доктор, что с ними? — опасливо спросила Ира Привалова. — Они будут... жить?

— Может быть, госпитализировать? — предложил Ве Ве.

Он тоже был растерян.

Врач с укором посмотрел на вожатую и громко, не боясь разбудить спящих, спросил:

— Вы лучше ответьте, что ваши ребята делают по ночам?

— Спят, — сказала Ира, — спят.

Но ее ответ не убедил врача.

— Позвольте с вами не согласиться, — он покачал головой. — Если бы они ночью спали, их среди бела дня никакая сила не уложила бы в постель. Не спят они у вас ночью.

— Что же они делают? — спросила Ира.

— Вот именно! — воскликнул Ве Ве, левой рукой потирая правое плечо.

— Это вам лучше знать, — врач укоризненно посмотрел на Иру Привалову. — Вы ведь вожатая отряда.

Так никто и не смог ответить на вопрос, почему целый отряд среди бела дня очутился в постели и уснул.

— Надо проверить, что они делают по ночам, — наконец вымолвил Ве Ве. — Придется тебе, Ирина, несколько ночей не поспать.

— Я согласна. Лишь бы они были живы и здоровы.

— Они живы и здоровы, потому и спят, — авторитетно подтвердил врач. — Здоровый детский сон.

В это время один из мальчиков повернулся на спину, и с его губ во сне сорвалось странное слово:

— Фенимор.

Все трое повернулись и прислушались. Но таинственное слово замерло и больше не повторялось.

— Что?.. Что он сказал? — переспросил Ве Ве.

— Фенимор, — ответила Ира Привалова.

— Что еще за Фенимор? — нахмурился Ве Ве. — На- читались небось Фенимора Купера, даже бредят. «Зверо- бой», «Кожаный Чулок»... Я тоже увлекался в детстве.

— Может быть, попробовать разбудить их? — предло- жила Ира Привалова, кивая на своих спящих богатырей. Она все еще до конца не была уверена, что это обыкновен- ный здоровый сон.

— Пусть спят, — сказал врач. — Пусть отоспятся.

— Пойдемте, — скомандовал Ве Ве.

Все трое решительно вышли из палаты.

А лагерный хор все пел.

В тот же день перед ужином состоялось заседание совета третьего отряда. Председатель совета отряда Валя Зернова объявила:

— Заседание совета отряда объявляю открытым. На повестке дня один вопрос...

Тут Валя запнулась и посмотрела на вожатую Иру Привалову, так как сама не знала, какой вопрос на повест- ке дня.

— На повестке дня один вопрос, — решительно ска- зала Ира Привалова. — Чем занимаются наши мальчики ночью?

Все члены совета, а их было трое, переглянулись. Очень странно звучал вопрос, который предстояло обсудить совету отряда. Но Валя Зернова сразу нашлась и, обра- щаясь к Жене Рыжику, представителю мужской части отряда, сказала:

— Рыжик, расскажи, чем занимаются мальчики ночью?

Женя не был рыжим, это из-за фамилии Рыжов его звали Рыжиком.

Женя Рыжик непонимающе посмотрел на Валю и, не переставая улыбаться, сказал:

— Спят... мальчики ночью.

— Как же спят, — вмешалась в разговор Лидка Бело- ва, — ночью спят, днем спят... Вы куда-то ходите по ночам. Яблони трясете?

Чувствовалось, что ей самой было крайне любопытно узнать, куда ходят мальчики ночью.

— Никуда мы не ходим, — заулыбался Рыжик. — И яб- лони не трясем.

— Что же вы уснули днем? — строго спросила Ира Привалова. У нее перед глазами еще стояла залитая солн- цем палата и — спящие мальчики.

Женя Рыжик подумал, потом сказал:

— Ночью комары не дают спать. А днем нет комари- ков.

— Еще вопросы есть? — спросила Валя Зернова со- бравшихся.

Все молчали. Тогда заговорила Валя:

— Очень плохо, что наши мальчики такие безвольные. Даже если всю ночь их грызли комары, они не должны были засыпать среди бела дня. Предлагаю осудить их и предложить им пользоваться жидкостью «Тайга» от кома- ров. Другие предложения есть?

Не было других предложений, все были согласны с Валею Зерновой.

Но неожиданно Ира Привалова спросила Женю Ры- жика:

— А кто такой Фенимор?

— Не знаю... — неуверенно сказал мальчик и тут же поправился: — Писатель такой... Фенимор... Купер.

— Странно, — сказала вожатая, — сегодня во сне ты произносил это имя. Может быть, тебе приснился Фенимор Купер?.. Писатель?

— Не знаю. Может быть, и приснился. Какое это имеет значение.

Ира Привалова сурово посмотрела на Женю Рыжика.

— Штабс-капитан Рыбников во сне заговорил на род-

ном японском языке, и это выдало его как японского шпиона. Во сне человек может открыть свою тайну.

С этими словами она встала и пошла прочь.

— Нет у меня никаких тайн! — вслед ей крикнул Рыжик.

Когда она ушла, Лидка обратилась к Жене:

— Рыжик, расскажи про Фенимора. Так интересно!

— Никакого Фенимора нет! — резко сказал Женья Рыжик и сбежал с крыльца, перепрыгивая через две ступеньки.

— Имя есть, а Фенимора нет, — задумчиво сказала Лидка. — Дела!

Так в лагере «Дубки» впервые прозвучало таинственное имя Фенимор. Но прозвучало оно так тихо и невнятно, что о нем тут же забыли. И только отряду, уснувшему среди бела дня, ребята присвоили звание «непобедимый, спящий».

Казалось, история со спящими мальчиками тут же забылась. Но Ира Привалова не утратила к ней интерес. И каждый вечер, когда лагерь засыпал, вожатая появлялась за кустом сирени, что рос напротив дачи мальчиков. Ира заступала на свой пост и не сводила глаз с дверей и с окон, ожидая каких-то необычайных происшествий. Иногда ей становилось страшно, иногда она, сморенная усталостью, засыпала в траве под кустом. В палате было тихо. Никто не читал книжек. Никто никуда не уходил. И вожатая уже начинала склоняться к тому, что в происшествии со спящими ребятами были действительно виновны свирепые комары — эти маленькие вампиры пионерских лагерьей.

Но на четвертую ночь, когда лагерь погрузился в сон, на крыльце дачи третьего отряда возник и скрылся за дверью таинственный незнакомец.

Ира Привалова затаила дыхание и стала ждать.

В комнате было темно, и потому невозможно было определить, много ли в ней народу. Слышно было, что кто-то сопит. Порой дыхание и сопение пропадали. И тогда в темноте звучал голос. Низкий, приглушенный голос:

— Вчера к исходу дня на волчьей тропе нашли убитого индейца. Он лежал, раскинув руки, лицом к небу. Глаза его были открыты, а на губах застыла улыбка. Из-за этой улыбки не верилось, что он мертв. Может быть, он просто затаился? Ветер шевелил пепельные перья его убора, а по бизоньей коже грубых мокасин безбоязненно ползали термиты. Рядом пронзительно скрипела древесная лягушка. И казалось, индеец слушает ее. затаив дыхание. Но дыхание он затаил навсегда: в груди у него торчала стрела...

В комнате кто-то вскрикнул и тут же умолк: видимо, сосед закрыл ему рот ладонью.

— Кто убил индейца? — спросил в темноте низкий голос рассказчика. Спросил и сам себе ответил: — Белый человек не стал бы стрелять из лука. У белого всегда за спиной болтается дробовик. Белый не пожалел бы заряда. Значит, в индейца стрелял краснокожий. Может быть, гурон из соседнего племени? Спустился на пироге по реке Святого Лаврентия... Но неподалеку от убитого на раскинутой траве был обнаружен след сапога: ямка побольше — от подметки и ямка поменьше — от каблука. А индейцы ходят в мокасинах, и след от них сплошной, лодочкой.

— Значит, стрелял белый! — послышался в темноте чей-то голос, тонкий и отчаянный.

— Индеец мог надеть сапоги! — возразили ему из другого угла комнаты.

И стало ясно, что комната большая и народу в ней немало.

— Индеец никогда не наденет обувь с ноги белого, — ответил из темноты низкий голос рассказчика. — Кроме

того, должен добавить, что отпечаток сапога был маленьким. Похоже, что ботинок принадлежал ребенку.

— Тогда все ясно, — слышалось из темноты, — белый пацан убил индейца. Индеец улыбался ему, а тот всадил в него стрелу.

— Зачем пацану убивать индейца? — возразил тоненький, отчаянный голос.

— Он мстил за друга, — ответили из дальнего угла.

— Фенимор, рассказывай скорее, — нетерпеливо попросил кто-то невидимый, сидевший рядом с рассказчиком.

И тогда Фенимор, так, судя по всему, звали рассказчика, сказал:

— Тише, братья! Убитого индейца звали Олений Рог, и у него на шее, на сухой бычьей жиле, висел кончик оленьего рога. А вы знаете историю Оленьего Рога?

— Нет! — дружно выдохнула темнота.

— Говори! — взмолился сосед.

— Олений Рог убил Седого Джона. Но он убил его в честном бою. А за это не мстят.

В палате установилась напряженная тишина. И снова стало слышно, как кто-то посапывал. И тогда из темноты спросили:

— Фенимор, а ты-то знаешь, кто убил Оленьего Рога?

— Я все знаю, — прозвучал в ответ глухой голос рассказчика.

— Чего же тянешь?

— Я не тяну. Я рассказываю. Слушайте, братья, — торжественно произнес невидимый Фенимор. — На стреле, которая торчала из груди убитого, была красная ленточка. А стрелы с красной ленточкой были только у одинокого гуруна по имени Озерный Глаз.

— Значит, Озерный Глаз и убил Оленьего Рога?

— Замечу, что Озерный Глаз уже три года не появлялся на берегах реки Святого Лаврентия. И он бы скорее дал

с себя снять скальп, чем надел бы сапоги белого человека. Думайте, братья. А я ухожу. Пропел петух.

— Расскажи еще, — попросил кто-то. — Еще рано.

— Спите, друзья мои. Крепко спите, а то опять уснете среди бела дня и ваша вожатая решит, что вы отравились.

В темноте слышался смех.

Фенимор зашагал к двери. И тут его нагнал Женья Рыжик. Он подошел к Фенимору в маленькой прихожей.

— Подожди, Фенимор. Мне надо тебе кое-что сказать.

— Говори, — разрешил Фенимор, держась от мальчика на некотором расстоянии.

Рыжик замер на месте.

— Послушай, Фенимор, твоя тайна под угрозой. Взрослые могут догадаться о твоём существовании. Они знают твоё имя.

— Откуда им знать моё имя? — спросил Фенимор.

— Это я виноват. Я прошептал его во сне.

— Во сне? — удивился Фенимор. — Значит, я приснился тебе, Рыжик?

— Ты приснился мне, Фенимор.

— Это хорошо, — сказал Фенимор.

— Но они могут тебя поймать, — отчаянно сказал Рыжик.

— Они не поймают меня, — ответил таинственный ночной гость. — Если ребята будут верны мне, никто меня не поймает. Я могу стать невидимым. Я исчезну.

— Подожди, не исчезай, — попросил Женья Рыжик. — Я хочу дружить с тобой. Я тебя познакомлю с Валею Зерновой, она мировая... хотя и девчонка. Нам будет весело вдвоём.

— Нам будет весело, — повторил Фенимор своим глухим странным голосом. — Можешь считать меня своим другом. Вот моя рука.

— Я буду помогать тебе, а когда-нибудь ты снимешь маску...

— Когда-нибудь, — неопределенно сказал Фенимор и отступил во тьму.

И тут же скрипнула дверь. Рыжику показалось, что Фенимор не ушел, а исчез, растворился в ночном мраке, как призрак.

Когда таинственный Фенимор вышел на крыльцо, от кустов сирени отделилась тень и устремилась к нему. Фенимор повернулся. Тень замерла: белая маска с темными полосами как бы приказала тени замереть. Но тень — а это была вожатая третьего отряда Ира Привалова — ненадолго подчинилась бессловесному приказу Фенимора. Преодолев удивление и страх, она снова устремилась к таинственному нарушителю ночного покоя. Но Фенимор был не из тех, кого возьмешь голыми руками. Он резко метнулся в сторону и забежал за дом. Полная решимости, Ира Привалова бросилась за ним. Когда же она обежала дом, там никого не было.

Может быть, таинственный незнакомец в белой маске спрятался в спальне девочек?

Ира Привалова вбежала в спальню. Там было тихо. Девочки спали. При свете луны вожатая обошла комнату. Все были на месте. Никого постороннего не было.

Одна из девочек проснулась и удивилась, увидев вожатую.

— Что-нибудь случилось? — Девочка не могла взять в толк, видит ли она вожатую во сне или наяву.

— Сюда никто не забегал? — тихо спросила Ира.

— Не-ет... мы же спим.

Девочка откинулась на подушку и тут же уснула.

В эту ночь ребята долго не могли уснуть. Кто-то кашлял, кто-то тихо переговаривался, кто-то ворочался с боку на бок. И в мыслях ребят еще долго, сменяя друг друга, возникал индеец, с улыбкой принявший смерть от стре-

лы, красная ленточка на стреле, след детского ботинка — одна ямочка побольше, другая — поменьше. И Фенимор — таинственный, манящий, властный.

Утром Ира прибежала к Ве Ве в полном смятении.

— Я видела его... Белая маска, черные полосы. Горящие глаза. Он появился и... исчез.

— Кто он? — недоверчиво глядя на вожатую спросил Ве Ве.

— Не... не знаю. Он вошел в спальню к мальчикам, а потом... вышел. Белая маска, черные полосы.

— Слушай, девушка, а тебе, часом, не приснилась белая маска с черными полосами?

— Нет, — убежденно ответила Ира Привалова. — В том-то и дело, что не приснилась. Я бросилась за ним, но он исчез.

— Чудеса! — вздохнул начальник лагеря. — Ты веришь в призраки?

— Я?! — испуганно воскликнула Ира. — Я не верю! Но он... в маске... исчез. Что же делать, Владимир Викторович?

Но Владимир Викторович сам не знал, что делать. Никогда не сталкивался с подобными случаями. А в призраки и привидения он, естественно, тоже не верил.

Он сказал:

— Иди! Будем думать. Что-нибудь придумаем. Чудеса!

А на другой день Ира Привалова снова появилась у Ве Ве. На этот раз девушка ничего не сказала начальнику лагеря, не сетовала и не просила помощи. Она положила перед ним клочок бумаги, на котором крупными буквами было написано: «Ждите ночью. Фенимор».

Она положила записку и ушла, не сказав ни слова.

— Фенимор, — твердо произнес Ве Ве, оставшись один. — Значит, Фенимор.

Так было установлено, что нарушителя ночного покоя звали Фенимор.

Тем временем пилотки мальчиков третьего отряда украсили перья: черные — вороньи, светлые — гусиные и в крапинку — принадлежащие кукушкам или иным лесным пернатым. Из можжевельника были сделаны большие добротные луки и несметное количество стрел. Появились круглые мишени. И началась стрельба. Стрелы летели в мишень и мимо, взвивались в облака и впились в землю.

Ребята не просто стреляли. Они повторяли рассказ таинственного Фенимора.

— Вчера к исходу дня на волчьей тропе нашли убитого индейца... Ветер шевелил перья его убора... В груди у него торчала стрела... Белый не стал бы стрелять из лука...

Ребята были «индейцами» — они стреляли из луков. У некоторых дело пошло сразу, другие, впервые державшие в руках оружие гуронов и ацтеков, стреляли вкривь и вкось. Их стрелы ломались, терялись, плыли по озеру, как обыкновенные лучинки.

— Что это значит? — спросила Ира Привалова.

Ее сразу же окружила толпа «краснокожих» с перьями на пилотках. Женя Рыжик улыбался.

— Белый не стал бы стрелять из лука, — таинственно сказал он.

Ира Привалова чуть не заплакала.

— Вы попадете в глаз, — сетовала она. — Вы побьете стекла во всех дачах. Это не пионерское занятие — лук и стрелы! Гоша, почему ты снял кеды?

— Индеец никогда не наденет обувь с ноги белого, — ответил коренастый Гоша.

— Куда ты девал обувь с «ноги белого»?

— Валяется под кроватью в вигваме... Нам нужны мокасины.

— Мокасы, что ли? — Ира перевела слово мокасины на язык своего времени. — Где я вам достану мокасы?

А вокруг свистели стрелы, как струна пела тетива и от луков пахло смолой.

Вожатая третьего отряда отправилась к Гурию.

— Они прикрепили к пилоткам вороньи перья, они стреляют из луков, они ходят босые, потому что нет мокасов.

Старший вожатый внимательно выслушал ее и авторитетно произнес:

— Фенимор!

Потом он сдвинул белую кепочку на затылок и, мобилизовав всю свою пионерскую мудрость, сказал:

— Я знаю, что делать! Надо завтра же организовать секцию стрельбы из лука!

— Я не умею, — взмолилась Ира.

— И я не умею. Но завтра же я буду уметь. На то я и старший вожатый.

Ира Привалова с завистью посмотрела на Гурия и пошла прочь.

В тот же день, неподалеку от лагеря, в хвойном лесу появился плечистый загорелый индеец. Может быть, это был одинокий гурон, приплывший по реке Святого Лаврентия, а может быть, некто иной. На голове у него была белая шапочка, в руках же он сжимал лук. Свистели стрелы, впинаясь в стволы деревьев. Трещали сучья. По всему было видно, что гурон не умел стрелять из лука, но был преисполнен стремлением научиться и притом в самый короткий срок.

Когда начальник лагеря под вечер зашел в комнату старшего вожатого, он застал «индейца» склонившимся над книгой. Книга называлась «Руководство по стрельбе из лука».

На постели у Гурия лежал лук и несколько стрел.

— Очень кстати! Очень кстати! — сказал большой рыжебровый Владимир Викторович, глядя на «Руководство» и лук. И поднял над головой руку с клочком бумаги.

Он держал этот клочок над головой, как будто это была не безобидная бумажка, а граната, готовая взорваться.

— Сегодня ночью Фенимор будет наш,— пробасил он с победной улыбкой и протянул бумажку Гурию, который сидел на кровати в трусах и в пионерском галстуке, повязанном прямо на шее.

Гурий принял бумажку и прочитал:

— «Ждите ночью. Фенимор».

— Что ты скажешь на это, брат Гурий? — спросил Ве Ве, и его маленькие серые глазки, слишком маленькие для такого гиганта, весело заблестели.

— Я скажу,— ответил Гурий, возвращая записку,— что эту бумажку надо немедленно положить туда, откуда вы ее взяли.

— Ира Привалова нашла ее в спальне мальчиков.

— Значит, туда и надо ее вернуть. Но чтоб никто не заметил. Как это сделал Фенимор. Может быть, придется залезть в окно.

— Но, но, но, брат Гурий! — запротестовал Ве Ве.— В окно полезешь ты.

— Хорошо. Я полезу. Я ваш верный козел отпущения,— пробурчал Гурий и, быстро поднявшись с постели, стал натягивать тренировочный костюм.

— Теперь слушай, что будет дальше,— начал было Ве Ве, но вместо него, что будет дальше, сказал «брат Гурий».

— Дальше мы соберем лагерь на линейку и предложим Фенимору обнаружить себя.

— Зачем?

— Я знаю, что Фенимор не сознается,— сказал Гурий, зашнуровывая кеды,— но мы должны предоставить ему возможность обнаружить себя. Мы обязаны вести себя крайне благородно и корректно. Наша педагогическая совесть должна быть чиста. Давайте записку, я полезу в окно.

Гурий взял записку и исчез. Ве Ве, не ожидавший такого исхода дела, несколько разочарованный, почесал затылок и пошел прочь.

— Пусть лезет в окно, если это ему нравится,— пробормотал начальник вслед старшему вожатому.

В тот же день в лесу появился еще один стрелок из лука.

Лук у него был сделан из простой березовой ветки и не обладал ни точностью боя, ни дальностью. А стрелы, пролетев несколько метров, безжизненно падали на землю.

Это Ира Привалова решила научиться стрелять из лука, чтобы не плестись в хвосте, а идти во главе своего отряда.

Женя Рыжик встретил Вальку Зернову под старой развесистой ивой. Он улыбнулся и сказал:

— Валя, ты должна научиться стрелять из лука.

— Зачем? — спросила Валя.

— Чтобы дружить с Фенимором,— ответил мальчик.

Валя внимательно посмотрела на него.

— Разве для того, чтобы дружить с Фенимором, надо стрелять из лука?

— Надо! Надо стрелять из лука, под дождем разводить костры и грести одним веслом.

Валя молчала. Она внимательно смотрела на Женю Рыжика, и мальчику казалось, что Валя относится к его словам то ли с недоверием, то ли с усмешкой.

— Тебе смешно? — вдруг спросил он.

Девочка покачала головой.

— Просто я не умею стрелять из лука.

— Я научу тебя. Это очень просто.

— Научи,— решительно сказала Валя.

— Ты не знаешь, почему Фенимор не приходит к девочкам? — спросил Женя Рыжик.

— Может быть, он не любит девчонок? — ответила Валя.

— Может быть...

— А ты? Ты тоже не любишь девчонок?

Женя Рыжик отвел глаза и вместо ответа протянул девочке записку, на которой было написано: «Ждите ночью. Фенимор».

— Приходи к нам сегодня ночью... слушать Фенимора.

— Приду... может быть, — отозвалась Валя.

— Хочешь, я тебе свистну, когда он появится?

— Не надо. Я сама... Если надумаю.

Они стояли под большой, развесистой ивой. Дул ветер, и светило солнце, и узкие серебристые листья бились как рыбки. И тени от «рыбок» тоже трепетали, словно их, «рыбок», выбросили на берег. А в небе пеной белели облака.

Запел горн, собирая ребят на линейку.

Наш лагерь славился горнистом. Горнист выходил на крыльцо, поднимал трубу, и солнце ложилось на раструб, словно наш горнист был стеклодувом, а солнце — огненным стеклянным шаром. Горнист делал вдох — горн вздыхал. Горнист делал выдох — горн начинал петь. Эта песня-сигнал вливалась не в уши, а проникала в сердце. Сердце начинало замирать от радостной тревоги, как будто горн звал не на завтрак, не на линейку, а на подвиг.

Такой был у нас горнист.

Вся жизнь лагеря подчинялась горну. Горн будил нас утром и укладывал спать вечером. По его сигналу загорались звезды. Словно каждый звук превращался в серебристую звездочку. А может быть, наш горнист играл по звездам, как по нотам. И созвездия обозначали аккорды.

В день, когда было обнаружено послание Фенимора, горнист сыграл «сбор» не обычно, а тревожно и взволнованно. Его сигнал сумел заронить в сердце каждого из ребят предчувствие необычайного.

«Что-то будет! Что-то случится! Что-то произойдет!» — пел горн, и ребята, побросав дела, бежали на линейку, чтобы поскорее узнать, что же будет.

Когда лагерь построился, как полк перед боем, начальник лагеря Ве Ве посмотрел на ребят из-под густых тяжелых бровей, откашлялся, хотя не был простужен, и сказал:

— Третью смену лихорадит! Третья смена идет не в ногу! И в этом виноват Фенимор!

По линейке прошел тихий, похожий на шорох шумок. Прошел и стих.

— Кто он? — продолжал Ве Ве. — Может быть, писатель Фенимор Купер встал из могилы и устраивает ночью читательские конференции?

Ве Ве кашлянул в кулак и оглядел строй.

Где-то раздался одинокий смешок и погас, словно его задули.

— Мы, вожатые и педагоги, его не видим, — продолжал Ве Ве, — мы его не знаем, но он где-то близко. Как человек-невидимка стоит он в этом строю. Но ведь кто-то видит его, знает, кто есть Фенимор?

Никто не ответил: «Я знаю». Все стояли, задержав дыхание, ожидая, что же будет дальше.

— А может быть, и вы не знаете? — голос Ве Ве звучал с волнением. — Может быть, он является к вам ночью в маске? В таком случае я обращаюсь к самому Фенимору. Послушай, таинственный нарушитель спокойствия, сделай милость — шагни вперед. Всего один шаг. Торжественно обещаю, что тебя не ждет наказание...

Ве Ве надеялся, что сумеет растрогать Фенимора и тот выйдет из строя и сразу станет видимым и известным. Но вместо этого откуда-то из второго ряда раздался тонкий голос:

— Раз наказывать не будут, зачем же шагать?

Тихий, похожий на шорох смех пронесся по линейке.

Вроде бы никто не смеялся, а смех прокатился. Словно невидимый Фенимор бросил вызов самому Ве Ве.

Ве Ве махнул рукой и отошел в сторону. Его место занял Гурий. Смуглый от загара, в галстук, повязанном прямо на шею как платок, он надвинул на глаза маленькую белую кепочку и сказал:

— Будем дружно молчать? Будем думать? Будем продолжать веселую игру в Фенимора?

Может быть, он задал бы ребятам еще много, много вопросов, но тут над линейкой появился воздушный шарик. Самый обыкновенный, кисельного цвета, с веревочкой. На веревочке белела какая-то бумажка. Шарик плыл медленно, и его провожали десятки глаз. Гурий, ловкий атлет, сделал два волейбольных прыжка и поймал шарик за веревочку. Бумажка оказалась запиской. Гурий поднес ее к глазам.

— «Привет от Фенимора», — вслух прочел он и оглянулся, словно за его спиной должен был стоять Фенимор. Но вместо Фенимора увидел Ве Ве.

Когда наш прославленный горнист сыграл отбой и лагерь свернулся калачиком, натянул на плечи байковое одеяло и закрыл глаза, взрослое население собралось на тайное совещание.

— Что же, начнем нашу «тайную вечерю», — сказал Ве Ве и кашлянул в кулак. — На повестке дня, то есть уже вечера, один вопрос: Фенимор.

И тут в разговор вступила библиотекарьша, Нина Ильинична. Она сказала:

— Товарищи, мы совсем не тем занимаемся. Давайте проанализируем причину появления Фенимора. Причина ясна как божий день. В нашей библиотеке нет хороших книг. Ребятам нечего читать. Фенимор с его устными рассказами мог возникнуть на почве нехватки книг.

— Допустим, — сухо сказал Ве Ве. — Что вы предлагаете?

— Я предлагаю поехать в город, собрать, где можно, побольше хороших книг и привезти в лагерь.

— Ударим книгой по Фенимору! — обобщил мысль Нины Ильиничны Гурий.

На какое-то время в собрании установилась тишина. Все обдумывали предложение библиотекарьши.

Все ждали, что скажет Ве Ве, человек бывалый, опытный, авторитетный. Среди молодых пионерских вождей — старейший.

Ве Ве сказал вот что:

— Книги — книгами, а поиски — поисками. Сегодня ночью мы раскроем тайну Фенимора. Подождем немного и пойдем. Прошу всех присутствующих ознакомиться с планом операции.

С этими словами он положил на стол план лагеря. И сразу комната Ве Ве стала похожа на знаменитую филевскую избу, в которой Михаил Илларионович Кутузов проводил свой исторический военный совет.

— Вот дача третьего отряда.

Палец Ве Ве, толстый, поросший золотым пушком, так твердо уткнулся в квадрат на плане, изображающий дачу третьего отряда, словно хотел раздавить его.

Склонившиеся над столом вожатые и педагоги образовали шатер. Из этого шатра доносились слова военного характера:

— Вышлем дозор... Затаимся... Окружим...

Крикнула ночная птица. По небу скользнула звезда, не смогла удержаться, упала. Лагерь спал и не спал. Спали все отряды, кроме третьего. И взрослая половина лагеря тоже бодрствовала.

Фенимор обещал прийти в третий отряд. И он сдержал

свое слово. Сдержал, несмотря на предчувствие опасности. Он был бесстрашным человеком, этот Фенимор.

— Вы спрашиваете, кто убил Оленьего Рога? Прежде чем ответить на этот вопрос, надо выяснить, за что убили. Может быть, он повадился очищать чужие капканы и западни. Или нарушил один из священных законов предков. А может быть, Олений Рог встал у кого-нибудь на пути?

Фенимор говорил, а все ребята напряженно слушали его.

— У кого он встал на пути? — спросил кто-то из ребят.

— Конечно, гурон Озерный Глаз недолюбливал молодого Оленьего Рога. Он вообще мало кого любил. Был нелюдимым и мрачным. Но давайте вспомним, что плохого сделал Олений Рог старому гурону? Вы помните?

Фенимор как бы обратился не к ребятам из третьего отряда, а к индейцам, собравшимся на тайный ночной совет.

И совет индейцев ответил:

— Мы не помним.

— Значит, можно точно утверждать, что стрела, посланная в грудь Оленьему Рогу, принадлежала не старому гурону Озерному Глазу.

— Чья же это была стрела? — слышался из темноты нетерпеливый голос.

— В этих местах охотился Зверобой. Тут он обходил свои капканы и изредка пулял из своего огромного дробовика, оглушая дикие лесные дебри. Но стрелял он редко. А с Оленьим Рогом всегда вел себя почтительно. И тот платил ему тем же. Однажды, когда дикая кошка прокусила Зверобою ладонь, Олений Рог предложил ему свой тайный бальзам. И рана зажила к концу второй недели.

— Значит, не Зверобой! — решили ребята.

— Кто же, говори скорей, Фенимор!

Фенимор посмотрел в сторону, откуда донесся голос,

и при мерцающем свете луны темные полосы задвигались и маска как бы улыбнулась.

— В таких делах не должно быть спешки, — рассудительно ответил он. — Такие дела решаются неторопливо и разумно, потому что ошибка может привести к большим неприятностям.

— Ой-ей-ей! — слышалось из темноты.

— Перебирая всех, кого Олений Рог мог встретить на звериной тропе, я невольно вспоминаю о Джоне по кличке Дилижанс. Этот Джон похаживал сюда из форта «Божий уголок». А там, в форте, одинаково платили за волчьи уши и за кожу с человеческими волосами.

— За скальп? — тревожно спросила темнота.

— За скальп, — подтвердил Фенимор. — Этот Дилижанс был темным человеком. Он вечно или ругался, или произносил клятву. Он путал клятвы с руганью. Он мог подстрелить из засады индейца.

— Разве у него не было ружья?

— Он стрелял в упор, а не из засады.

— Неужели у Дилижанса была такая маленькая нога?

Десятки вопросов обрушились на Фенимора. И он замолчал. И все подумали, что он растерялся. Но Фенимор выжидал, чтобы ответить сразу на все вопросы решительно и точно.

— Должен успокоить вас, — заговорил он ровным низким голосом. — Олений Рог погиб не от руки Дилижанса. Его убил другой. И, судя по отпечатку сапога, это был маленький капитан из форта «Божий уголок».

— Капитаны не стреляют из лука, — донеслось из темноты.

И одновременно с этим прозвучал голос наблюдателя:

— Сюда идут, Фенимор! Мы окружены! Что делать?

В это время раздался голос Ве Ве. Чтобы устроить неуловимого Фенимора, он говорил в мегафон, и в ночной тишине его голос гремел грозно и оглушительно:

— Фенимор! Дача третьего отряда окружена! Тебе не выйти из кольца окружения. Предлагаем открыть дверь, а всем мальчикам лечь в постели. На размышление дается три минуты.

Ве Ве действовал по всем военным правилам. Он предъявил ультиматум и ждал ответа. Казалось, если ответа не будет, то есть Фенимор не выйдет из двери, по даче будет открыт огонь.

Словно под стенами крепости, стояли вожатые. Под окнами замер Гурий, готовый схватить любого, кто выпрыгнет из окна. У дверей, держа в руке мегафон, как оружие, стоял Ве Ве.

Наступила томительная минута ожидания.

А что в это время происходило в даче третьего отряда?

— Фенимор, прячься! — сказал тонкий голос.

— Мы не выдадим тебя, Фенимор!

— Лезь в шкаф!

Каждый давал советы. Каждый хотел помочь Фенимору.

Но Фенимор, бесстрашный невидимый Фенимор, сказал, вернее, скомандовал:

— Всем лечь и закрыться с головой одеялом. За меня не волнуйтесь, ребята.

Ребята кинулись к койкам, а Фенимор... Фенимор исчез, растворился, как будто его и не было. Все закрылись с головой и ждали штурма.

В это время кто-то потряс за плечо Рыжика. Он спустил одеяло и увидел Валю. Она наклонилась к нему, и две косички свесились с ее плеч.

— Валя! — удивленно воскликнул Рыжик.

— Ты звал меня, и я... пришла. Я слушала Фенимора. Но теперь сюда войдут вожатые, и ты должен спрятать меня.

— Как — спрятать?

— Уступи мне свою постель, — решительно сказала девочка. — Иначе, знаешь как мне нагорит.

Некоторое время Рыжик моргал глазами. Потом сказал:

— Хорошо. Ложись. Что делать мне?

— Выйди к ним и скажи, что Фенимор исчез. Вот и все дела.

Рыжик думал несколько мгновений. Потом решительно соскочил с постели, а Валя нырнула под одеяло и закрылась с головой.

Время ультиматума истекло. Окружавшие дачу с томительным напряжением ждали разгадки тайны Фенимора, не спуская глаз с дверей. Дверь скрипнула. Открылась. Из нее вышел Женья Рыжик.

— Рыжов? — Ве Ве кинулся к нему. — Где Фенимор?

— Фенимор исчез! — ответил мальчик. Он, как всегда, улыбался.

— Может быть, он и есть Фенимор? — сказал кто-то из вожатых.

Гурий засмеялся.

— Какой он Фенимор! Двух слов сказать не может. Молчун!

— Точно, молчун, — продолжая улыбаться, подтвердил Рыжик.

Тогда все забыли про Рыжика. Все устремились в спальню, но там Фенимора не оказалось.

Когда тревога улеглась, Валя Зернова выскользнула из дверей палаты мальчиков и, скрываясь в тени дома, бесшумно добралась до своей двери. Она сняла у порога кеды и прошла между рядами спящих подруг. Валя была уверена, что никто не видит ее возвращения. Но едва она добралась до своей постели, как Лидка Белова окликнула ее:

— Где была?

— Нигде я не была. Спи, — отозвалась Валя.

— Врешь. Твоя кровать давно пустая. Я не сплю.

Валя бросила на пол кеды и стала снимать шорты.
— Выходила подышать воздухом,— небрежно сказала она.— Над озером туман.

— «Над озером туман»,— усмехнулась Лидка и вдруг повернулась спиной к соседке.— Часто ты выходишь подышать... ночью.

Валя ничего не ответила. Она скользнула под одеяло и крепко зажмурила глаза.

Ей хотелось сказать Лидке что-то резкое, из ряда вон выходящее, поразить ее неожиданным. Она привсталала на локте, повернулась к соседке и произнесла очень спокойно, обыденно:

— Я на свидание ходила!

Но на Лидку ее слова никак не повлияли.

— Рассказывай сказки! — буркнула она.— Может быть, твоя любовь — Фенимор?

— Может быть, Фенимор,— отозвалась Валя и притихла.

А звезды поднялись так высоко, что их вообще не стало видно. Родилось утро.

Библиотекаряша Нина Ильинична не случайно верила в силу литературы. Когда весть о том, что в библиотеку привезли много интересных книг — про индейцев, про рыцарей, про шпионов,— дошла до ребят, у библиотеки выстроилась очередь.

Так был нанесен удар по Фенимору.

Кроме того, стала работать секция спортивной стрельбы из лука. И это оказалось вторым ударом.

Под мощью этих ударов Фенимор отступил. Исчез. Белая с черными полосами маска больше не появлялась в спальне мальчиков третьего отряда. Ве Ве, Гурий и Нина Ильинична праздновали победу.

Третью смену перестало лихорадить.

Только Женья Рыжик не верил в исчезновение Фенимора.

— Фенимор вернется,— говорил он своей подруге Вале.— Он настоящий друг. Он не может нас бросить.

— Я тоже так думаю,— сказала Валя.

— Я дам тебе знать, когда он придет.

— Хорошо. Сегодня у нас занятия на байдарках. Ведь каждый индеец должен владеть веслом.

— Я приду,— ответил Женья Рыжик,— и все ребята придут. Ведь байдарка похожа на пирогу. Правда?

Этой же ночью к ребятам третьего отряда пришел Фенимор.

Он молча прошел по палате, опуская руку на спинку каждой койки, словно испытывал ее прочность. Потом он спросил:

— Кто из вас летал на космическом корабле?

Кто-то усмехнулся. Кто-то кашлянул. Женья Рыжик ответил за всех:

— Не летали мы... Где нам летать!

— Кто из вас наблюдал, как бьется Солнце? — В ответ — тишина.— Солнце бьется как сердце. Только медленно: каждые два часа сорок минут — удар... А когда смотришь с космического корабля на Землю, можно увидеть то, что на Земле никогда не увидишь. Сквозь леса и кусты проступают старые разломы. Они похожи на шрамы. Вблизи их не видно, а из космоса они открываются глазу. Вы мне верите?

— Верим,— выдохнули из темноты.

Некоторое время Фенимор молчал, словно прислушивался к ударам сердца своих друзей. Потом он заговорил:

— Братья мои, хватит прицеплять к пилоткам перья и раскрашивать лица зубной пастой. Расстаемся с томагав-

ками, луками и стрелами. Мы — индейцы, живущие на плоскогорьях Мексики. Мы по ночам выходим на край каньона встречать космические корабли с инопланетянами. В этом каньоне знаки — огромные, различные только с птичьего полета. Эти знаки указывают космическим кораблям, где можно совершить посадку...

Вздых удивления пронесся по палате. Пронесся и замер. Ребята ждали, что будет дальше.

— Тысячу лет назад, — звучал глухой голос Фенимора, — космические корабли прилетали в Мексику. Там сохранились следы их пребывания. Но почему инопланетяне прилетали только туда? Разве они не направляли свои корабли в наши края? Я знаю за озером поляну, где сохранились следы костров. Их много, и все вместе они составляли огромную огненную стрелу. Если вы пожелаете, мы переплывем через озеро на байдарках, а потом я проведу вас к той поляне тайной тропой. Мы зажжем костры. И может быть, космический корабль с планеты Гера опустится на нашу Землю по сигналу пылающей стрелы. Согласны ли вы отправиться со мной?

— Согласны! — выдохнула тьма.

— Мы умеем быстро зажигать костры, — сказал Женья Рыжик. — И на байдарках мы тоже умеем... Сегодня тренировались...

— Тогда ждите меня. Я скоро приду за вами. Я сообщу...

Скрипнула дверь. И Фенимор исчез, растворился в туманной ночной мгле.

Ах, эта Лидка Белова! Ее глаза недобро смотрели на Валию, встречали и провожали недобро. Она не могла простить девочке, что ту выбрали председателем совета отряда, а она, Лидка, как бы осталась не у дел. Лидка любила командовать, подчинять других своей воле. Такой она была рождена, эта Лидка.

Даже ночью она следила за Валией, а когда однажды

обнаружила, что постель ее пуста, насторожилась и стала следить с удвоенной энергией. Валина радость огорчала ее. Она ждала Валиной неудачи.

Однажды Лидка вошла в палату девочек, когда там никого не было. Она осмотрелась, подошла к дверям и прислушалась — не идет ли кто. Никто не шел. Девочкам нечего было делать в палате.

Тогда Лидка подошла к Валиной постели и подняла матрас. И в то же мгновение на нее глянул Фенимор. Вернее, не сам Фенимор, а его маска: белая с черными полосами.

Сперва Лидка смотрела на маску с некоторым испугом. Потом протянула руку, взяла маску и подошла к зеркалу. Она приложила маску к своему лицу и сразу превратилась в Фенимора.

Лидка засмеялась от радости. Но ее радость не отразилась на маске — радость не коснулась Фенимора. Лидка опустила руку с маской и увидела свое лицо — красное от возбуждения.

Она повернулась к зеркалу спиной и решительно зашагала к Валиной кровати. Подняла матрас и швырнула маску на железную сетку. И тут за ее спиной послышался Валин голос:

— Что ты здесь делаешь?

— Я?! Ничего не делаю! Поправила твою постель.

— Отойди, — тихо сказала Валя. — Я знала, что ты дряннь, но считала тебя честной.

— Я только посмотрела...

Тогда Валя Зернова решительно подняла матрас, быстро взяла маску Фенимора и, прижимая ее к себе, побежала прочь. Она бежала долго, сама не зная, куда бежит. Над ней большими синекрылыми птицами проплывали кроны сосен. А стволы с шуршащими на ветру чешуйками мелькали над плечами.

И вдруг она увидела Рыжика. Он шел по тропинке

и палочкой ударял по стволам. Валя скрылась за деревьями.

Вскоре Женья Рыжик услышал свист, огляделся. Никого рядом не было, и он зашагал дальше. Свист повторился. Нет, это свистела не птица, птицы так не свистят. Женья Рыжик пошел на звук. Он раздвинул куст орешника и увидел Фенимора.

— Фенимор!

— Тише, друг! Нас никто не должен видеть. Иди за мной.

Фенимор стал отступать, пятиться. Он не хотел поворачиваться спиной к Рыжику. Он зашел в густые заросли орешника и очутился на небольшой лужайке, куда едва проникал солнечный свет.

Здесь он остановился и жестом велел остановиться Жене Рыжику.

— Рыжик, я хочу открыть тебе тайну. Я прилетел сюда с другой планеты. На моей родной планете красная земля и два солнца: одно побольше, другое поменьше. А Луны у нас нет совсем. Зато звезды светят так ярко, что ночью, если облака не очень плотные, можно различать предметы. И можно почувствовать щекой тепло звезды.

— Как называется твоя планета?

— Гера, — тихо произнес Фенимор.

— Ты собираешься вернуться на свою Геру?

Фенимор кивнул головой.

— Рыжик, мне тяжело здесь. Я чувствую себя одиноким. Я совсем один.

— Ты не один, Фенимор! Я — твой друг. И Валя Зернова... она тоже будет твоим другом.

— Расскажи мне про Валью Зернову, — неожиданно попросил Фенимор.

Рыжик поднял глаза на Фенимора. Бесстрастная белая маска смотрела на него узкими, продолговатыми глазами.

Рыжик всмотрелся в них и почувствовал — да, не увидел, а почувствовал — живой свет глаз, устремленный на него откуда-то изнутри.

Он сказал:

— Когда Валя рядом, трудное кажется легким.

— Ты ей говорил об этом? — спросил Фенимор.

Рыжик покачал головой.

— Почему на вашей планете люди не говорят друг другу то, что чувствуют? — спросил Фенимор. — Мне ты говоришь то, что должен сказать Вале.

— Я не могу этого сказать Вале. Она посмеется над моими словами.

— На планете Гера люди говорят все, что думают. И никто не смеется.

Фенимор помолчал. Потом снова обернулся к Рыжику и сказал:

— Может быть, сегодня ночью за мной прилетят... Может быть.

— Не улетай! — Рыжик сжал руку своему таинственному другу. — Я буду скучать без тебя.

— И я тоже, — отозвался Фенимор и зашагал прочь. Потом остановился и сказал: — Когда настанет час отлета, я приду, и мы все вместе отправимся к поляне. Когда прилетит корабль... Нам понадобятся лодки. Раздобудь ключ от лодочного сарая.

Фенимор повернулся и, не прощаясь, пошел прочь.

И пока он шел, пробираясь в частых кустах орешника, Женья Рыжик глядел ему вслед и улыбался. Он улыбался и не видел, что у плеч Фенимора болтались две коротенькие косички, стянутые на концах резинками. Он видел уверенную походку бесстрашного инопланетянина, прилетевшего с загадочной Геры, где люди говорят все, что думают, и никто над ними не смеется.

Через три дня в палате мальчиков появилась записка: «Буду ночью. Готовьтесь к походу. Фенимор».

Первой эту записку увидела Ира Привалова. Она прочла две короткие фразы и почувствовала легкий озноб. Ей захотелось схватить эту записку и разорвать ее на мелкие клочки. словно с исчезновением этой бумажки исчезнет и сам Фенимор.

Но она даже не притронулась к записке, а сразу побежала к Ве Ве.

— Владимир Викторович, он есть... он существует... он будет сегодня ночью!

Она так стремительно выпалила это сообщение, что Ве Ве не сразу сообразил, что произошло.

— Фенимор? — спросил начальник лагеря.

— Фенимор, — упавшим голосом подтвердила девушка. Ве Ве потер левой рукой правое плечо и сказал:

— Сегодня или никогда!

— Сегодня или никогда! — повторила за ним Ира Привалова.

Уверенность начальника передалась ей, и она почувствовала прилив сил.

Фенимор вышел из-за угла дома, и луна на мгновение осветила его маску. Белый цвет флуоресцировал, а черные полосы оттеняли белизну, и казалось, что это не маска, а лицо пришельца с далекой планеты, где у всех лица белые с черными полосами. И никого они не страшат и не удивляют.

Фенимор огляделся и тут же шагнул в тень. Прижимаясь к стене дома, он стал пробираться к крыльцу. Его уже не было видно, только белое пятно двигалось по стене, как мутный солнечный, вернее, лунный, зайчик.

Послышалось три условных удара в окно. скрипнула дверь. И белое пятно погасло.

Когда Фенимор вошел в палату, никто не спал. Все сидели на кроватях, натянув одеяло до подбородка.

— Готовы ли вы в путь, братья? — спросил Фенимор.

Вместо ответа одеяла полетели в стороны, и оказалось, что все, как один, одеты. Оставалось только натянуть кеды.

— Это хорошо, что вы готовы, — глухо произнес Фенимор. — Нам предстоит дальняя дорога. Мы пересечем озеро на пирогах и, хорошо спрятав их в камышах, отправимся на поляну, где приземляются корабли с далекой планеты Гера. Мы зажжем костры и затаимся. И стрела, составленная из костров, укажет космическому кораблю, где его ждут, где ему будут рады.

— Наш отряд занял первое место по кострам, — сказал кто-то из темноты. — Мы зажжем костры на посадочной площадке.

— Это хорошо, что первое место, — сказал Фенимор. — Теперь самое важное — переплыть через озеро быстро и незаметно.

— Мы по байдаркам тоже... впереди, — сказал стоящий рядом Гоша. — Только байдарки заперты в сарае...

Тогда Женя Рыжик поднял руку, и все увидели в ней ключи.

— В путь, братья! — тихо скомандовал Фенимор.

И ребятам показалось, что белая маска улыбается.

А в это время в комнате начальника лагеря, могучего Ве Ве, шли последние приготовления к штурму дачи третьего отряда и пленению таинственного Фенимора. Нарушитель спокойствия должен быть пойман, если он, конечно, не призрак и не привидение. Но поскольку никто из собравшихся в привидения не верил, сомнений насчет поимки Фенимора не было.

Ве Ве — вождь и полководец — сказал:

— Никаких переговоров. Никаких ультиматумов. Окружаем дачу. Решительно входим внутрь. Если дверь окажется закрытой, Гурий полезет в окно.

— Неловко старшему вожатому лазить по окнам, — пробурчал Гурий. Но он понимал, что, кроме него, никто

это сделать не сможет, и добавил: — Но если надо для дела...

— Надо, брат Гурий! Надо для дела! — твердо заключил Ве Ве.

Он был возбужден и левой рукой гладил правое плечо.

Ве Ве со своей штурмовой группой вышел на улицу. Стояла тихая звездная ночь. Звезды были крупными и яркими, словно приблизились к земле и увеличились в своем размере. Иногда звезда как бы срывалась с места и стремительно скользила по темному бездонному небу. Это межзвездная метеоритная частица врывалась в нашу галактику из области созвездия Ориона или Стрельца.

Но этот фантастический полет не привлекал внимания Ве Ве и его спутников. Их мысли были обращены к Фенимору, и никакие сигналы космоса не могли отвлечь их от земных дел.

Не проронив ни слова, они дошли до куста сирени. От группы отделились две фигуры — большая, грузная и невысокая, стройная. Ве Ве и Гурий.

Так началась операция «Фенимор».

Две фигуры крадучись направились к даче третьего отряда. Дойдя до конца, они остановились и стали прислушиваться. Но ни один звук не долетел до их слуха. Голос Фенимора не звучал за закрытыми окнами.

— Фенимора нет! — неуверенно произнес Гурий.

— Фенимор есть! — отозвался Ве Ве, и глаза его лукаво заблестели. — Он хитрый, этот Фенимор. Но мы тоже не лыком шиты.

Ве Ве направился к двери. Гурий же, ловко подпрыгнув, зацепился руками за край подоконника, подтянулся — физкультурник, атлет! — и в следующее мгновение распахнул окно. Одновременно с ним Ве Ве со всего размаха ударил плечом в дверь и чуть не упал внутрь, так как дверь оказалась незапертой.

Их соратники вышли из-за кустов и стали тихо окру-

жать дом, готовые в любую минуту броситься на помощь товарищам.

Но ничего не нарушило тишину глубокой ночи. Темный дом как бы поглотил двух человек. Настоящий дом с привидениями.

И вдруг в окнах дома вспыхнул свет, резкий и неожиданный, как взрыв.

Ве Ве стоял посреди комнаты и, жмурясь, смотрел по сторонам. Никакого Фенимора не было. Ребята спали, закрывшись с головами одеялами.

— Пойдемте, — упавшим голосом сказал Гурий. — Ложная тревога.

Но Ве Ве был не из тех, кто так легко покидает поле боя. Он подошел к первой койке и осторожно приподнял со спящего одеяло. И... никакого спящего не обнаружил. Тогда он подошел к следующей койке. Она оказалась пуста. Ве Ве побагровел. Он шел по палате и одно за другим срывал одеяла. Все койки оказались пустыми.

— Где же Фенимор? — с унылой безнадежностью спросил Гурий.

Сам не знал, зачем спросил.

— Где отряд?! — прогремел Ве Ве.

Так они стояли посреди палаты, в которой простыни и одеяла были сдунуты с кроватей ураганом.

— Где отряд?!

— Его... увел... Фенимор, — упавшим голосом отозвался Гурий.

В палату стали входить вожатые, бойцы штурмовой группы. Они смотрели на пустые койки, на разбросанные одеяла и молча опускали глаза.

— Где же они?! — воскликнула Ира Привалова и беззвучно заплакала, уткнувшись в плечо Нины Ильиничны. — Не-на-вижу Фенимора!

Этот крик отчаяния, вырвавшийся из груди девушки, вернул к действительности растерянного Ве Ве.

Он шагнул вперед, уперся руками в спинку кровати и торжественно, словно на площади, произнес:

— Товарищи! У нас чрезвычайное происшествие. Пропадал целый отряд. Мы все немедленно отправляемся на поиски.

Так штурмовая группа неожиданно превратилась в поисковую.

По озеру, рассекая ровную гладь тяжелой, темной воды, плыли байдарки. Их низкие борта как бы сливались с поверхностью озера, а мокрые лопатки весел поблескивали, отражая неяркий лунный свет. Их было десять — легких, остроносых суденышек, десять байдарок, двадцать гребцов. На передней — командир таинственного флота — Фенимор. За его спиной — Женья Рыжик.

— Сколько времени на звездном небе? — сам себя спросил Фенимор и сам себе ответил: — Ручка ковша Большой Медведицы дрогнула и стала клониться к горизонту. Значит, перешло за полночь.

Рыжик не видел лица, то есть маски Фенимора, — он видел только его спину, тонкую шею. Плечи опускались и поднимались. А голову Фенимор держал прямо.

— Ты всегда можешь определить время по звездам? — спросил Рыжик.

— Когда нет туч и небо чистое, — был ответ.

И снова тишина. Только всплески воды и время от времени сухой стук весла о борт лодки.

— Послушай, Фенимор, — вдруг спросил Женья Рыжик. — Они и в самом деле могут прилететь?

— Могут.

— Этой ночью?

— Этой ночью, если им ничего не мешает... Но могут прилететь через год или через десять. Их всегда надо ждать.

— Их всегда надо ждать, — повторил мальчик. — А вдруг они совсем не прилетят?

Фенимор ответил не сразу. Он сильнее заработал веслом. Лишь спустя некоторое время заговорил:

— Они прилетят. Они уже в полете... где-то в межзвездном пространстве... Оглянись и посмотри — никто не отстал?

Женья Рыжик оглянулся. Байдарки плыли ровно, образуя нечто вроде журавлиного клина.

— Видишь впереди мыс? — спросил Фенимор. — Там начинаются заросли камыша, и мы сможем спрятать лодки.

— Вижу, — отозвался Женья Рыжик, загребая веслом воду. — А тебе сколько лет?

— Может быть, мне тысяча, а может быть, две тысячи, — не сразу ответил Фенимор. — Можно измерять время летящей звездой, а можно кольцами деревьев. Я измеряю время полетом мысли.

Рыжик ничего не ответил. Он восторженно смотрел в затылок Фенимору и изо всех сил нажимал на весла. «Я измеряю время полетом мысли», — повторил он про себя и вдруг спросил:

— А на вашей планете Гера может мальчишка обрадоваться, когда приходит девчонка, одна девчонка из всех девчонок планеты?

— Он может снять маску, и она, если пожелает, тоже снимает маску. И они увидят красоту друг друга. Но сперва они должны полюбить... не за красоту.

И снова плеск воды и стук весла о борт лодки. И гортанный крик ночной птицы.

Ве Ве и его младшие друзья — вожатые превратились в следопытов. Они молча бегали по лагерю, стараясь определить, в каком направлении ушел Фенимор, который увел за собой целый отряд.

Наконец Гурий — незаменимый Гурий! — обнаружил следы на берегу озера. Следы вели к лодочному сараю. Но на воротах сарая висел замок.

— Странно,— пробормотал Гурий,— сарай на замке. Значит, лодки заперты. Как же они поплыли по озеру? В одежде? Вода ледяная.

Полный решимости Ве Ве скомандовал:

— Ломайте замок!

Но когда замок был сбит тяжелым камнем и ворота сарая распахнулись, оказалось, что байдарок нет на месте.

— Они уплыли на лодках! — воскликнул Гурий, и в голосе его прозвучало отчаяние.

— Ой! — пролепетала Ира Привалова.— Что теперь будет?

— Очень хорошо,— с какой-то нарочитой бодростью произнес Ве Ве. И поскольку никто не понял, что хорошего в том, что ребята уплыли на байдарках, он пояснил: — Теперь мы знаем, где их искать. Они, конечно, на том берегу.

— Но как мы попадем на тот берег? — спросил Гурий.

— Пойдем в обход.

А в это время байдарка, на которой сидели Фенимор и Женья Рыжик, подплыла к темной стене камышей и, острым носом раздвигая высокие стебли, стала углубляться в заросли, прокладывая путь остальным лодкам. Они поплыли гуськом по образовавшемуся каналу.

— Тише, тише! — предупреждал ребят Женья Рыжик. — Никто не должен слышать, никто не должен видеть. Возможна погоня.

Потом, спрятав лодки в камышах, ребята выбрались на берег и вошли в лес. Фенимор вел их уверенно по узкой петляющей тропке. Их лиц касались холодные ветки, а под ногами потрескивал валежник. Иногда, шумно хлопая

крыльями, вылетала испуганная неожиданными гостями ночная птица. Где-то вдали недовольно ухал филин.

Ручка ковша Большой Медведицы еще ниже склонилась к горизонту.

Ребята шли до тех пор, пока лес неожиданно не расступился и перед ними не возникла большая, залитая мягким светом луны поляна.

— Стойте! — скомандовал Фенимор.

Ребята остановились.

Фенимор огляделся. Он к чему-то присматривался, что-то искал. Потом тихо сказал:

— Вот, смотрите!

Фенимор сел на корточки и провел рукой по краям круглой ямки. Ямка была неглубокой и заросла травой, но ее очертания составляли ровный круг, словно кто-то провел по земле большим циркулем.

— Если копнуть лопатой, можно обнаружить угольки костра.

— Ты это наверняка знаешь? — не выдержал Женья Рыжик.

— Знаю... Если идти на восток, то через сто шагов будет еще одна ямка.

Он знал удивительные вещи, этот Фенимор.

— Гоша, готовь костер, а мы пойдем дальше.

И все, кроме Гоши, двинулись дальше, стараясь делать большие, взрослые шаги.

Через сто шагов действительно была обнаружена другая ямка.

— Ямки рыли глубокие, чтобы свет костра был виден на большой высоте. Из костров складывается большая стрела. Это космический знак: здесь можно приземляться, здесь ждут.

Фенимор говорил тихим, глухим голосом, а его маска таинственно мерцала во тьме, и ребятам казалось, что это не маска, а лицо пришельца с далекой планеты, где

у всех лица белые с черными полосами. И это никого не удивляет и не страшит.

Он рассказывал и шагал к новой ямке. И каждый раз, несмотря на тьму, безошибочно находил след костра, словно обладал свойством видеть в темноте.

И тогда Рыжик, который не отставая шел рядом с ним, спросил:

— Как же так, в древние времена электричества не было, а космические корабли были?

— Электричества не было,— согласился Фенимор, глядя в сторону,— но были обсерватории, водяные мельницы, был водопровод, были замечательные книги, были лекарства, которые не давали умереть тяжелобольным...

Фенимор рассказывал об этом, как очевидец. А Женья Рыжик смотрел на него с восторгом и опаской. И его влекло к этому удивительному существу в белой маске.

Когда все ямки были обнаружены и заполнены валежником, Фенимор скомандовал:

— Зажечь костры!

Вот когда мальчикам третьего отряда пригодилось их умение быстро зажигать костры. На полянке запахло дымком, и в разных местах один за другим оживало, поднималось над землей пламя, образуя огромную стрелу — знак, видимый из космоса.

Острое чувство ожидания чего-то необычайного охватило ребят. Все почему-то поверили, что космический корабль с другой планеты прилетит именно сегодня, увидит их костры и прилетит. Мягко опустится в ночную, покрытую росой траву, и из распахнувшихся дверей выйдут инопланетяне в белых масках с черными полосами — в таких, как у Фенимора. Они узнают его, своего брата, и крикнут на своем языке:

«Здравствуй, Фенимор!»

Звездное небо распростерло над ребятами таинственные глубины. И звезды, бесчисленные крупные звезды,

казались сложными сигнальными огнями, помогающими космическому кораблю прокладывать трудный путь от далекой Геры к Земле.

И вдруг кто-то крикнул:

— Летит!

И все увидели, как по небу чиркнул короткой вспышкой падающий метеорит. А может быть, это был космический корабль, который не заметил гостеприимных сигнальных костров третьего отряда и пролетел мимо?

...Восточный край неба посветлел. И на всем огромном куполе звезды стали бледными и мелкими, словно наступающий рассвет отодвинул их далеко-далеко от Земли. Над влажной травой стелились белые волокна тумана.

Сигнальные костры погасли. И только слабые дымки еще отрывались от присыпанных пеплом углей. И по этим дымкам угадывалась погасшая огненная стрела, которая приглашала корабль инопланетян совершить посадку на нашей родной Земле.

— Они были здесь! — воскликнул старший вожатый Гурий, наклоняясь над крайней ямкой, от которой веяло горьковатым теплом.— Зола еще теплая.

Он присел на корточки и стал осторожно дуть. Пепел отлетел в сторону, а на обнажившихся черных головнях замерцали красные прожилки. Головни ожили, и слабое, прозрачное пламя забило легким лоскутком.

А вокруг стояли вожатые, мокрые, усталые, с ввалившимися глазами. И среди них Ве Ве — большой, коренастый, с всклокоченными густыми бровями. Левой рукой он энергично тер правое плечо.

— Они были здесь совсем недавно,— сказала Ира Привалова.— Надо торопиться. Они не могли далеко уйти.

— Торопиться не надо,— неожиданно сказал Ве Ве.— Торопиться некуда. Они уже в постелях вместе со своим Фенимором.

Больше он не произнес ни слова, отошел от ожившего

костра и стал ходить по голубоватой полянке от одного погасшего костра к другому. А Гурий с товарищами сели на корточки вокруг огня и с удовольствием грелись и вдыхали в себя теплый, горьковатый дух костра, сушили намокшие от росы кеды.

— Что он там ходит? — спросила Ира Привалова, косясь на могучую фигуру Ве Ве, пересекавшую поляну. — Неужели не намаялся?

— Не знаю, — пожал плечами Гурий. — Видно, не намаялся.

Потом Ве Ве подошел к костру и, добыв себе огоньку — веточку с раскаленным кончиком, закурил.

— Я знаю это место, — вдруг сказал он, хотя никто его ни о чем не спрашивал. — И эти костры в ямах мне тоже хорошо известны.

Молодые вожатые удивленно посмотрели на начальника лагеря, словно он был связан с Фенимором и мальчишками третьего отряда.

Валя Зернова на пороге расшнуровала и скинула мокрые кеды. Мягко ступая по половицам босыми ногами, она направилась к своей постели. Вдруг в молочном свете рождающегося утра девочка увидела, что Лидка Белова лежит с открытыми глазами и смотрит на нее внимательно и насмешливо.

На другой день никто не вспомнил о ночном происшествии. Все вели себя так, будто ничего не случилось, и мальчики третьего отряда провели ночь в постелях.

Даже Ира Привалова изо всех сил старалась держаться так, словно в отряде все было как полагается. И только зевота, которую девушка никак не могла побороть, выдавала то, что она провела тревожную, бессонную ночь.

Несколько раз в палату третьего отряда заглядывал старший вожатый Гурий. Но палата была пуста, кровати заправлены, никто не спал. Да и спать ребятам было

некогда — до обеда они работали в колхозе на уборке моркови. Они дергали морковь и старались побольше грызть, чтобы разогнать сон... Никто не уснул, все держались молодцом. Грызли и держались. К обеду морковь так опротивела, что они не могли на нее смотреть.

Весь день Ве Ве был молчалив и задумчив. Никто не знал, о чем он думает и что собирается предпринять. Каждый раз, когда к нему приходил Гурий, он махал рукой: делай как знаешь, а меня сегодня не тронь.

А где же Фенимор? Может быть, он умчался на космическом корабле к далекой и таинственной планете Гера? По крайней мере в лагере его не было. И вместе с тем не было ни одного человека, который бы не думал о Фениморе. Одни восхищались им, другие сердились на него, третьим его не доставало...

Рыжик отвел в сторону свою подругу и грустно сообщил ей:

— Мне кажется, Фенимор больше не вернется. Когда мы возвращались с ночной вылазки, он не произнес ни слова.

— Зачем тебе Фенимор, Рыжик? Ведь жил же ты без Фенимора?

— Жил, — согласился Рыжик. — Но с ним жить интересней. Мир становится шире, понимаешь? Он измеряет возраст полетом мысли.

— Где же он, Фенимор? — вдруг спросила Валя.

— Не... не знаю. Мне кажется, что Фенимор улетел на свою планету Гера, где земля красная и одновременно светят два солнца. Надо будет вернуться ночью на поляну за озером и зажечь огненную стрелу, чтобы было видно из космоса. Пусть Фенимор знает, что мы не забыли его, что мы ждем.

И вдруг Валя положила руку на плечо друга и внимательно посмотрела ему в глаза, словно что-то хотела рассмотреть в его глазах.

— Послушай, Рыжик,— заговорила она,— ты на самом деле веришь в Фенимора?

— Если не верить, тогда не интересно,— ответил мальчик.

И тут над лагерем запел горн. Он не просто подавал сигнал, а как бы взволнованно рассказывал о чем-то, звал в дальнюю дорогу. Он звал, и сердца ребят откликались ему.

В этот вечер, как и каждый вечер всех трех смен лагерной жизни, дружина построилась на вечернюю линейку для спуска флага. И когда прозвучали рапорты и команды, заговорил Ве Ве.

Он потер левой рукой правое плечо и сказал:

— Сегодня ночью мальчики третьего отряда отсутствовали в лагере. Мы искали их целую ночь, но так и не нашли. Они сами вернулись на рассвете. Переплыли озеро на байдарках.— Ве Ве перевел дух, его густые брови поднялись, и от этого глаза стали больше, круглее.— Но мы знаем, где они были и чем занимались,— продолжал начальник лагеря.— Они занимались хорошим делом, прямо-таки благородным.

По строю пронесся гул удивления. Гурий и Ира Привалова переглянулись. Женья Рыжик загадочно улыбался. Валя Зернова даже не шевельнулась, словно слова Ве Ве не удивили ее.

Владимир Викторович дождался, когда ребята утихли, и продолжал:

— Мальчики третьего отряда отыскивали старую посадочную площадку, где в годы войны тайно приземлялись самолеты. Они прилетали к партизанам с Большой земли. Ребята удивительно точно отыскивали ямки, в которых мы зажигали костры, чтобы помочь летчику ночью посадить машину. Ребята зажгли, оживили старые партизанские костры, и огненная стрела озарила ночь. Когда мы пришли на поляну, зола еще была теплой.

Ве Ве замолчал. Весь лагерь притих, затаил дыхание, слушая эту удивительную историю.

А начальник лагеря продолжал:

— Это все очень хорошо. Но меня интересует, кто поднял отряд и повел его ночью по тайным тропам, о существовании которых знали только немногие бойцы. Я думаю, это сделал Фенимор. Кто же ты, таинственный Фенимор? Отзовись! Я хочу пожать тебе руку.

Наступили тягостные минуты ожидания: все ждали, что Фенимор сейчас появится. По крайней мере подаст сигнал.

И вдруг из строя вышла Лидка Белова и сказала: — Фенимор здесь. Я знаю... я могу...

Гурий не дал ей договорить:

— Белова, встань на место. Владимир Викторович спрашивает Фенимора, а не тебя.

— Пожалуйста,— обиженно сказала Лидка и вернулась на свое место.

Ребята неодобрительно загудели.

Ве Ве кивнул Гурию.

Тогда Гурий поправил на голове свою маленькую белую кепочку и сказал:

— Смелый, благородный Фенимор! — Он оглядел ребят, стоящих в строю, словно собирался угадать, кто есть Фенимор.— Смелый, таинственный Фенимор, три шага вперед.

И тут произошло то, чего никто не ожидал. Все мальчики третьего отряда сделали три шага вперед. Дружно, как по команде. Потому что каждый готов был прикрыть собой Фенимора.

Ира Привалова прямо-таки вскрикнула от удивления.

— Они врут! — крикнула Лидка.

— Молчи! — строго оборвал ее Гурий.

И потом все долго молчали. Ребята и взрослые. Они

понимали, что здесь, на лагерной линейке под мачтой, на которой вьется алый флаг лагеря, похожий на флаг корабля, сейчас происходит что-то важное и благородное, что нельзя разрушить.

Ве Ве тихо, словно разговаривая с другом, произнес:

— Фенимор, считай, что я пожал тебе руку... Линейка окончена. Спокойной ночи. По палатам шагом марш!

Когда третий отряд проходил мимо Ве Ве, тот поманил пальцем Лидку Белову.

Девочка нехотя подошла к начальнику.

— Что ж ты, Белова! — глухо сказал Ве Ве.

— Вы же сами искали Фенимора. Вы же просили...

— Я не тебя просил, — сердито сказал Ве Ве, и брови его поползли на лоб. — Я просил Фенимора. Ты же не Фенимор.

Лидка пожала плечами.

— Я не Фенимор. Но я знаю. Сказать?

И тогда Ве Ве — сильный, взрослый Ве Ве — почти испуганно крикнул:

— Молчи!

Он закричал так, как кричат в последнее мгновение, чтобы успеть спасти человека, который находится на краю гибели.

— Иди отсюда, Белова, — сказал Гурий.

— Куда идти?

— Спать, — уже спокойно ответил Ве Ве и, обращаясь к Гурию, добавил: — Проводи ее, Гурий. И объясни ребятам, что Белова ничего не сказала и... не собиралась говорить. Она понятия не имеет о тайне Фенимора.

Когда они ушли, Владимир Викторович тяжелым шагом подошел к мачте и медленно стал спускать флаг, который забыли спустить на линейке. Ему казалось, что это не лоскут кумача, а какое-то огненное живое существо спускается с героических высот на землю.

...Фенимор исчез. Но огненная стрела, составленная из горящих костров, еще раз вспыхнула на холодной ночной земле. На этот раз весь лагерь собрался на затерянной в чаще поляне, и привел его не Фенимор, а Ве Ве, начальник лагеря, бывший когда-то юным разведчиком партизанского отряда.

Ве Ве сказал:

— И ничего страшного, что костры партизанского аэродрома вы приняли за сигналы инопланетян. Ведь те и другие огни зажигали люди мужественные и благородные, любящие свою землю, свое небо, свою Вселенную.

И хотя этой ночью никто не видел белой маски с черными полосами и рядом не звучал знакомый глуховатый голос таинственного друга, ребята чувствовали, что Фенимор где-то близко.



СОДЕРЖАНИЕ

Ю. Яковлев. <i>Немного о себе</i>	3
---	---

РАССКАЗЫ

Багульник	13
Рыцарь Вася	23
Где начинается небо	31
Друг капитана Гастелло	35
Часовой Петров	43
Где стояла батарея	48
Он убил мою собаку	53
Собирающий облака	59
А Воробьев стекло не выбивал	69
Скрипка	77
Учитель истории	82
Девочки с Васильевского острова	91
Бамбус	97
Забор с голубым глазом	110
Салют	115
Реликвия	119
Сыновья Пешеходова	126
Разбуженный соловьями	130
Письмо Марине	142
Вратарь	149
Последний фейерверк	157
Цветок хлеба	171
Сапер	176
Баваклава	181
Всадник, скачущий над городом	206
Умка	218
Я иду за носорогом	225
Мой знакомый бегемот	248

Семен-полосатый	254
Продается старая лошадь	266
В гостях у собаки	271

ПОВЕСТИ

Был настоящим трубачом	283
Непослушный мальчик Икар	340
Мальчик с коньками	373
Станция Мальчики	406
Тайна Фенимора	446

Для
младшего и среднего школьного возраста

Юрий Яковлевич Яковлев

ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ НЕБО

Рассказы и повести

ИБ № 5823

Ответственный редактор

Л. П. Серебрякова

Художественный редактор

А. Б. Сапрыгина

Технический редактор

Е. М. Захарова

Корректоры

Ю. В. Дубовицкая и Ж. Ю. Румянцева

Сдано в набор 01.09.81. Подписано к печати 29.03.82. Формат 84×108¹/₃₂. Бум. типогр. № 1. Шрифт обыкновенный. Печать высокая. Усл. печ. л. 26,15. Усл. кр.-отт. 26,93. Уч.-изд. л. 21,87+1 вкл.=21,92. Тираж 100 000 экз. Заказ № 4173. Цена 95 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Рославлополиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Москва, Суцевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

Яковлев Ю. Я.

Я47 Где начинается небо: Рассказы и повести/
Оформл. Б. Кыштымова. — М.: Дет. лит., 1982. — 495 с.

В пер.: 95 к.

В книгу избранных произведений входят повести: «Был настоящим трубачом», «Мальчик с коньками» и другие, а также рассказы разных лет.

Я 4083010102—290
М101(03)82 544—82

P2